

180933

ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

10

ГИЗ

ГОСЛИТИЗДАТ

1946

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

Праздник

Над опустевшей хатой — дым,
Поникший сад за тыном...
Так с сыном встретила родным
Родная Украина.

Ой, сын мой, память о былом
В нас никогда не сгинет!
Исклесь кудри над челом
В печали и кручине.

Как тосковала твоя мать,
Как билась у порога,
Когда пришлось ей провожать
Твоих сестер в дорогу.

Одна погибла на пути,
Зарыта в чистом поле.
А старшей удалось уйти
Из вражеской неволи.

Она тропинкой снеговой
Пробралась к партизанам.
В лесную чапу, в дым седой,
В яруги и туманы.

Темна в лесу глухая ночь!
Нелзя с врагом расплата!
И к матери вернулась дочь,
Брат повстречался с братом.

Как часто сквозь огонь и мрак
Я на восток глядела,
Где бился ты и твой земляк
За праведное дело.

Там не один мой сын полег,
Чтоб побороть проклятых.
Ты — возвратился на порог
Родной отцовской хаты.

Умершим — слава и почет!
Живым — почет и слава,
За то, что снова мать жемет,
Что огинул враг кровавый.

Входи, мой сын! Здесь, за столом,
Друзья собрались вместе.
Входи скорее в отчий дом,
Сядь на почетном месте!

И сын с порога ей в ответ
Слова такие скажет:
«Горит огнем победный свет
И гибнет сила вражья».

Идет святой и правый суд,
Все ближе час расплаты.
И крылья славы нас несут
За сине Карпаты.

И Киев рад смывает след
Живительной водою,
И утренней заре рассвет
Плывет Днепром-рекою.

И море Черное шумит,
В Балтийском — отзвук слышен.
И в хате вновь очаг дымит,
И вьется дым над зрышей.

И колос на ролной земле,
И воды в наших реках
Все славят — первого в Кремле
И в мире — Человека!»

И все салятся у стола —
От стара и до мала.
И стол у красного угла
Покрит скатеркой алой.

Сегодня — праздник. Завтра — труд.
Такой, что нету краше!
«За братьев, за свободный люд,
Друзья, подыдем чаши!»

Греми наш клич по всей земле —
От века и до века
Во славу первого в Кремле
И в мире — Человека! »

*Перевела с украинского
Екатерина ШУМСКАЯ*

Жар-птица

Повесть

★

Был прохладный майский вечер. Земля и воздух благоухали. Только что приготовился Андрей сорваться с места и пуститься бежать, играя в горелки, как его кликнул к себе с крыльца отец. Спугнутая этим вскриком лягушка на пруду оборвала высокую трель и бутыхнулась в черную тень ветлы.

Андрей всегда ждал от жизни только любопытного и хорошего. Он поднялся на крыльцо, готовый услышать радостное. Лицо его горело возбуждением.

За столом с отцом рядом сидел приезжий. Б отцу как председателю колхоза часто заезжали люди из района.

Приезжий залмхивал бумаги в коленкорый портфель, придерживая локотом те, что на столе, чтоб не разлетелись. Отец зашмыгал огонек свечи пальцами, снял очки. Лицо его было усталое и строгое, но глаза улыбались, ему правился сын:

— Вот, пожалуйста, он самый.

Приезжий оглядел Андрея, но торопясь и раздумчиво сказал:

— Мы тут прикидываем насчет ремесленных училищ... кого послать осенью в Москву... Понятно, дело-то какое? Дороги во все стороны открыты.

Андрею давно мечталось повидать Москву. О ремесленных школах он слышал, но, правда, к себе этого дела не примерял.

— Так ты скажи, Андрюша, хочешь? Дело хорошее.

Андрей испытующе посмотрел на отца и на гостя. Затем повернулся, но отневив. И рысью побежал прочь с крыльца.

— Это он такой-то у тебя! Хвалился сыном, а он личок.

— Андрей у меня застенчив до смерти. Он сразу ничего о себе не выдаст. Такой характер!

Андрей вернулся играть в горелки. И никому не хотел показать и даже самому себе признаться, что глубоко взбудоражен.

Было у Андрея любимое местечко над рекою, где на горе стояла старая ветла. На другой день после разговора с отцом Андрей прибежал к ветле, вскарабкался на толстый облезлый сук, лег и долго висел неподвижный и в молчании. И казалось Андрею, что он повис в бескрайнем воздушном пространстве, может быть, в самом небе. Где-то стрекотали кузнечики, слылись голоса птиц, вели ветры, и журчала река.

Андрею шел пятнадцатый год. Он давно решил, что все знает, ничего нового для него нет и никто его больше ничем не удивит. Но со вчерашнего вечера, с той минуты, как сказал гость об отъезде в Москву, Андрей почувствовал, что в нем поднимается любопытство, как в сухом костре сразу вспыхивает и взвивается столбом в высоту клубящаяся плямя. Страсть попытаться себя, сорваться с места и пуститься в бег охватила Андрея, и он поплыл в мечтах, сочиняя приключения, какие его ждут на неизвестных дорогах. И вдруг, оборвав мечтания, весь разгоревшись, он скатился с ветлы и бегом пустился к дому.

— Еду, отец, еду!

— Куда едешь?

— Как куда? А вчера-то? Забыл!

— Забыл. Ей-богу, забыл.

— Ты нарочно... Ты надо мной смеешься... А в школу-то! А в Москву-то!

— Ах,— это-то! Ну, это еще не к спеху! Успеем и решить, успеем и перерешить, до осени еще далеко, мало ли чего еще случится,— ты живи, гуляй, пока твое время.

Андрей опешил. Его, как коня, на всем скаку сильная рука осадила и пригнула к земле. Он вздыбился и возмущился. Но по гордости смолчал и сделал вид, что тоже может спокойно ждать. Про себя же положил, что будет так, как он хочет.

★

На деревне уже пошел слух, что Андрея с осени ушлют в Москву. И оттого его стали принимать к себе в компанию большие ребята, семнадцати — девятнадцатилетние. Но его тянуло теперь водиться и с маленькими мальчишками. Андрея бросало из крайности в крайность. С большими он был, подражая, жмуи на слова, напускал на себя нарочитую медлительность, — а с маленькими резвился, прыгал, по полдня не вылезал из речки, плескаясь и ныряя; в поле под жарким солнцем переключался с чибисами, передразнивая их пенье: чья вы, чья вы? и кричал в небесную голубизну: мы — здешние, а вы чья? Он возбужденно прощался с детством и как будто делал первые, шаткие шаги в новую пору своей жизни.

Если бы Андрей знал, что такое счастье, он сказал бы, что он счастлив. Жизнь, — его собственная жизнь, то есть, рослые, резвые зори по утрам, длинные жаркие дни, прохладные темные вечера, полные аромата трав и цветов, — жизнь так сладка была Андрею, такая радость заливала все его существо, что его сердце ныло от непонятной грусти. Просыпаясь по утрам, он думал: как хорошо, что впереди долгий неторопливый день, а засыпая по вечерам, думал: как хорошо, что будет ночь. Все радовало и все как будто выдвигалось в первый раз.

Андрей был мечтатель. Он любил вообразить себя в опасных положениях, представлять, как он попадает на край гибели, как со всех сторон появляются против него враги и как он выходит победителем, когда всем уже казалось, что выхода никакого быть не может.

Теперь мечта его привязалась к московской ремесленной школе. Андрей рассказывал маленьким мальчишкам: «Там всему, чему хочешь, научиться могут... Как машины разные выдумывать... Вот, например, я выдумала такую: бежишь, устал, — привязал к подошвам колесики с моторчиком и лупи дальше, моторчики будут тебе ноги переставлять». — «Иматься будут колесики-то», — возражал один из мальчишек. — «Ну, а ты починаешь», — ответил за Андрея другой из его слушателей. — «велика важность, чипить-то тебя тоже научат». — «Чинить-то? Ну, еще бы! Любую машину!»

Теперь Андрей часто бегал к околице, где у леса строилась новая машинно-тракторная станция. Там полотлу стоял он, недвижимый, любуясь машинами.

★

У Андрея было еще одно любимое место для уединенных дум — это на чердаке, за

нечным боровом, у самого слухового окна. Там, среди сваленных в кучу разорванных книг, купленных когда-то отцом у проезжего старичка, Андрей из хлама и тряпья устроил себе ложе, поставил треногую табуретку, выброшенную из горницы, и проводил в тишине долгие часы за чтением разрозненных страничек из поведомых повестей, рассказов, путешествий, слушая, как однообразно шумит по крыше дождь.

Однажды Андрей нашел истрепанную книжку, и вдруг как будто голос какой сказал, что тут-то вот и есть очень важное. Но было начало рассказа, и оттого, что уголки странички были оторваны, смысл иногда совсем ускользал, но Андрей все-таки поймал самое важное: какой-то мальчик в Англии, из простой семьи, начав с обыкновенных житейских наблюдений, заинтересовался, как прыгает крышка над кипящим чайником, — додумался до изобретения такой машинки, которая во всей жизни всего мира произвела большие изменения.

Андрей взволновался. Он решил, что и ему предназначено стать изобретателем.

Андрей хотел узнать больше об английском мальчишке: как тот дошел до своей машинки? Учился? Или в мастерской приглядывался, прилаживал, прикидывал полеможку?

Но чем больше разжигалась в Андрее мечта о московской школе, тем больше тревожило его поведение отца. Как ни испросит его Андрей об отъезде, отец отвечает всегда одно и то же:

— Успейся. Решим. Не бляско время.

★

Отцу не хотелось отпустить Андрея. Не хотелось еще при первом разговоре о ремесленной школе с приезжим из района. Но тогда отец хотел дать свободу слышу репить, как подсказет ему его собственное влечение. Он надеялся, что Андрей сам не пожелает идти в ремесленное училище.

В глубине души Михаил Акимыч знал, что у него нет деловых оснований удерживать Андрея. «И верно ведь, — думал он наедине с собой, — из ремесленной школы дороги во все стороны открыты, будет талант — в инженеры прямой и короткой путем, приложит руки к мастерству — почтенным рабочим будет, захочет на родную деревенскую землю вернуться — и здесь пужный человек будет при таком огромном машинном деле в чинешней-то нашей деревне. Выходит, возражений нет».

Но Михаил Акимыч против своей воли искал «возражений». Разлука с младшим сыном была тяжела Михаилу Акимычу.

★

В воскресенье было чистое синее утро. Деревня стояла недвижна и тиха. На проезжей дороге куры, зарывшись в мягкую горячую пыль, дремали, ливнем по тревожимые. Мать послала Андрея на другой конец улицы звать па пироги к чаю семейство сваты Аксеньи. Накануне к сватке издалека приехала погостить старшая дочь Симочка, жена Андреева брата Константина, работавшего на военном заводе.

Перехода дорогу, Андрей журавлиным шагом перешагнул через кур. Когда он резким прыжком перескочил через канаву, собака, лежавшая у дороги, встрепенулась от неожиданности, открыла глаза, хотела залаять, но, передумав, зевнула и ушла в теплое место.

В палисаднике, на скамейке под акацией, сидела младшая сестра Симочки — Лина. На ней было белое шелковое платье, розовые банты в косах.

Андрею Лина была милее и загадочнее всех людей, каких он знал. Она ему казалась такой далекой и непонятной, как звезда в пугающем небесном просторе.

Увидев Лину, он смешался. Чтобы побороть свое смущенье, он похвалился:

— Вчера я ни разу не горел. А захочу, и никогда водить не буду. Меня никто не поймает.

Потом, после большого напряжения, добавила:

— А тебе бы поддался, — отчего не лопнула?

Лина оглядела его.

— Очень мне надо тебя ловить.

Отворщилась и тряслупла косичками так, что розовые банты запрыгали.

Андрей не знал, о чем ему говорить дальше. И сразу забыл о поручении матери. Он смотрел, как качаются банты по спине Линочки, и ему захотелось дернуть ее за косичку. Он, пожалуй, не знал, зачем, — может быть, чтобы проверить, такой же она человек, как все, или она только так кажется, как все. Он дернул. Лина вскочила, назвала его дураком. Но, видно, не обиделась, а сейчас же пожалела. Она перевела разговор на другое:

— По радио только что объявили, что война.

Андрей не мог сразу понять значенья того, что услышал.

На обратном пути к дому Андрей снова услышал о войне. Говорили два старика. Один сказал:

— Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. Говорится — в какой ступене воюют, в той и горюют.

Другой покачал головой:

— Посмотрим, что судьба. В поле две воли — чья сильнее.

Они замолчали и пошли к избам. Один из них замахнулся палкой на кур, кушавшихся в горлячей пыли, и проворчал:

— Чего разлеглись? Пашли, дуры, время неслиться.

Дома уже знали о войне. И теперь, кто ни приходил, все только об этом и говорили.

Приехал из района Матвей Матвейч — тот самый, что в майский вечер поманил Андрея поездкой в Москву в ремесленное училище. Отец с присосжик отправлялся немедля на машинно-тракторную станцию, к директору; затем они обходили колхозный конный двор и совещались с бригадирами. Андрей видел, как, выслушав отца, бригадир Егор Вытряхай, вспрыгнул на неседланную лошадь и покатился вскачь из деревни, сопровождаемый лаем собак. Вскоре и отец уехал, не сказав домашним, зачем и скоро ли вернется.

Казалось, что за несколько мгновений вся жизнь куда-то ушла, а вместо жизни наступило тревожное ожидание чего-то неизвестного, по распоряжающегося людьми по своему жестокому произволу.

Война теперь заняла все воображение Андрея. Он представлял, как во главе лихого отряда он обрушивается на врагов из засады, гонит их, окружает и берет в плен. Размечтавшись, он изрубил палкой крапиву вдоль рва у машинно-тракторной станции. «Тебе, мужичок, не семь уж лет, а четырнадцать», — постыдил он сам себя и решил, что в ремесленной школе он будет учиться делать ружья, пушки, танки.

Но сильнее всего в этот день было его потрясение от того нового, что он узнал от Симочки за чаем.

Мать Андрея беспокоилась и расспрашивала Симочку о старшем сыне Константине.

— Костя наш теперь работает испытателем танков. Как раз сейчас танк новый изобретается, и Костя пробует его. Костя — смельчак. Костя ничего не боится. Ужас берет, что он проделывает на танке: влезает на горы, в реку бросается, а один раз через такой широкий ров и такой глубокой с разбегу перескочил, что башина танка оторвалась и улетела далеко вперед, а сам танк опрокинулся в ров. Ну, тут все так и решили: конец нашему Константину Михайловичу! А Костя вылез, подбегает к Холодову Алексею Алексеевичу — это знаменитый конструктор, который сейчас самый лучший танк изобретает, — подбегает Костя к Холодову, а Холодов бледный: за Костю испугался, — а

Бостя ему: «Дайте шампирку, мой портсигар выскочил, потерялся». — И тут же стал объяснять Холодову, почему не перепрыгнул и чего в машине пехватает и что надо в ней доделать. У них это всегда только и разговору, даже когда Холодов в гости к нам заходит, только разговору, как сделать танк, что бы он был самый лучший на свете. Соберутся и все обдумывают, и все прикидывают до последнего винтика, и все мечтают.

Для Андрея этот рассказ был новым озарением. Теперь изобретатель, английский мальчик, отошел в его воображении назад. Его место занял образ Холодова, живого, близкого русского изобретателя. Андрею его собственная дорога стала казаться теперь совершенно ясной. И он сказал Симочке, что тоже будет учиться изобретать танки. Липа при этих словах посмотрела на него с восхищением; мать и Акулиня улыбнулись, а Симочка пожалела:

— Да разве это так просто, Андриша, из ремесленной школы да в изобретатели, в конструкторы. У нас есть на заводе ученики из ремесленного, но не в конструкторском бюро, а в цехах мелких деталей. Но и то сказать, сам Холодов начал таким же мальчишечьим учеником на заводе.

И теперь у Андрея не шло из ума, что знаменитый Холодов, тот, который изобрел самый лучший танк во всем мире, пришел на завод мальчишкой из заводской школы.

Ночь настала бледная; она как будто боялась погрузиться в темноту, прислушиваясь к чему-то дальнему. И ветры не веяли. Все насторожилось.

Андрею, перед тем, как заснуть, виделся мстучий танк его изобретения, огромная мастерская, где он делает много-много танков и как он на танках громит немцев.

★

Лето текло уже к своему концу. На земляни садов заиграли румянец рябины. Узкие листья ветел начали слетать на землю первыми вестниками осенней поры. Солнце же казалось еще горячее, небо еще выше, еще синей.

Война все больше входила в жизнь. Стало известно, что Константин уже ушел в сражающиеся части. Михаил Акимыч не спал ночей и не знал отдыха среди дня — он спешил закончить уборку полей, а мужичины каждый день все уходили и уходили из деревни, призываемые на другое дело, грозное и великое.

Наконец пришел и для Андрея большой день. Отец сообщил, что получено распоряжение немедленно отправить намеченных «ре-

месленников» и что в ночь Андрей выедет в Москву.

Вечером, перед отправкой, Акулиня привела Липочку, тоже уезжающую в ремесленное.

Когда сидели за столом, Андрею хотелось плакать, но присутствие Липочки мешало. Мать и бабушка плакали. А он должен был напрягать всю свою суровость, чтобы удержаться от слез, и ему было жаль, что он холоден с матерью.

Только на улице, в темноте, перед тем, как садиться в телегу, Андрей бросился к матери на шею с внезапным судорожным рыданьем, которое он тут же оборвал. С отцом он не обнялся, убежав и быстро вспрыгнув на край телеги, как будто ехать было недалеко, вроде в соседнее поле и вернуться.

★

До станции ехали проселком. В лесу на корнях деревьев телега подпрыгивала. Андрею ударял в бедро взятый зачем-то в дорогу топор в мешке; внизу под телегой гремела лагушка с дятлом. Андрей сидел, свесив ноги через край телеги; было больно под коленками и все время тело свисало назад. И за стуком телеги и болью в коленках Андрей забыл все остальное.

Когда въехали в самую чащу леса, дядя Семен Хромой сказал:

— Ну и леса наши, Матвей Матвейч! Как ты об этом рассуждаешь?

Матвей Матвейч долго не отвечал ничего, как будто ответ на вопрос дяди Семена оказался для него очень сложен. И потом уж, когда никто больше не ждал ответа, Матвей Матвейч с непоколебимой убежденностью накепощ, выговорил:

— Что и говорить, леса большие!

— По-моему, не то что поля, а, скажем, целую армию в наших лесах, как иглоу, спрятать можно. Как ты об этом?

Матвей Матвейч молчал. Дядя Семен спросил:

— А неужели, Матвей Матвейч, скоро и нам придется уходить?

Матвей Матвейч опять не ответил. Возница донбывал его:

— Как ты об этом рассуждаешь?

Матвей Матвейч отозвался сердито:

— Нешто можно знать, как дело повернется... На то война.

— Бескашние, Матвей Матвейч, льют, что оп через неделю до нас дойти может... Как ты об этом?

— А ты мели больше, язык-то без костей...

Лес кругом стоял такой темный и непроглядный, что казалось, будто весь мир

поглощен и навсегда исчез и померк без надежды на свет. Андрею было страшно от мыслей, что немцы могут притти в деревню, где прошло его детство и вся его жизнь, где будет ему всегда помниться речка, сверкающая блестящими под солнечными лучами, костры почного и сильные перелетывающие сугробы при свете морозной луны. Но эти мысли были для него невероятны, и страх от них был для него условный, нарочный страх, как страх от страшной сказки, в которую по произволу можно верить, можно и не верить. А потом пришла и дремота, такая же сказочная, полная неопределенной тревоги и вместе какой-то надежды. Дремота то накрывала Андрея, как шапкой-новидимкой, то соскакивала прочь от удара ветвей по лицу, когда телега забирала близко к кромке просеки.

Приехали на станцию и саднулись в поезд в предраусветном сумраке. Андрею показалось, что в вагоне холодней, чем в лесу. Он ожил и дрожал мелкой дрожью.

Близко к Москве народу набивалось в вагон все больше. Все лица были озабочены. Как гомон листьев на ветвях в лесу при ветре, так волною шелестело от людей к людям слово — война.

В Москву приехали в сумерки.

В школу попали после санобработки только к позднему вечеру.

★

Едва успели ребята оглядеться, как громкоговоритель в передней объявил: «Граждане, воздушная тревога».

В убежище спускались по узкой и темной лестнице. Где-то внизу впереди горела под потолком грустная желтая лампочка.

С той минуты еще, как попали в Москву и вышли из вагона на платформу с овальной стеклянной крышей, Андрею все казалось кругом волшебным.

Ему понравилось даже долгое, но веселое ожидание на пропускном санитарном пункте, громыханье шаек, скользкий пол, брызги горячего душа и взвизгиванье ребят.

Но теперь, при спуске в полутьму глубоко вниз, все стало досадным. Больше всего раздражал все один и тот же голос, раздававшийся то впереди колонны, то позади, то с боков: «Ребята, спокойней, спокойней. Не сбивайте ряды!» И вдруг в сознании Андрея мелькнуло, что его насильно заставляли уйти от опасности в то время, как другие какие-то люди, наоборот, бегут, торопятся навстречу этой опасности.

Внизу в зале предложили дремать тем, кто устал. Андрей сел на краю койки растеря-

нный: казалось, что война пришла ему навстречу, а он спрятался от войны. И в первый раз ему подумалось: а нужно ли ему учиться в такое время? Он ведь сильный, выносливый, он умеет стрелять и никогда не робел, ни один в лесу, даже по ночам, ни перед змеей, ни на глубине, когда приходилось зашвырять в омут и пырять... что же он испугался бы разве немца?.. И ему стало досадно на себя, что обо всем этом, таком простом и очевидном, он не подумал еще в деревне, до отъезда.

Спустя короткое время объявили отбой. Тревога была учебная. Все сразу оживились. Голоса зазвенели звонче. Сознание, что опасность прошла, всегда веселит.

Поднимаясь из подземелья по лестнице наверх, Андрей чувствовал себя обиженным и тем, что его берегли от опасности и тем, что опасности не было, а особенно тем, что он потерял свободу ходить и бегать, куза ему хочется и когда ему вздумается, и теперь должен быть постоянно на чеку и прислушиваться — не пропустить бы, что велит все тот же досадный голос: «Ребята, не спешите, не забегайте вперед, не толкайтесь».

Когда шли по улице в общежитие, над головой бежали обрывки туч, и небо поднялось так высоко, как будто оно дразнило громады домов, взвивавшиеся, чтобы дотянуться до него. Тихий спящий город казался могучим и таинственным.

В смутном, тревожно-напряженном состоянии пришел Андрей в общежитие. Его клонило ко сну. В полудремоте ему казалось, что он сейчас пройдет за перегородку горницы, поднимется и уляжется на полати, сделанные отцом специально для Андрея и забранные по краю — чтоб Андрей во сне не упал — точеными столбиками, выкрашенными самим Андреем в голубую поднебесную краску.

★

В общежитии приезжих очень быстро распределили и развели по спальням.

Случилась какая-то непредвиденность, и Андрей поместили с мальчишками, которые обучались в школе уже второй год.

Жильцы комнаты тоже только что пришли. Всего их было в комнате восемь, Андрей прибавлялся девятым.

Был поздний час. Ребята — усталые — встретили повичка молча, иные даже отвернулись. Но мальчишечье любопытство быстро прорвалось. Андрей стоял и не знал, что ему делать. К нему подошел веснушчатый паренек по прозвищу Толстый и спросил:

— Ты куришь трубку или папиросы?

— Не курю никак.

— Ага, значит водку пьешь? С перцем или без перца?

— Совсем не пью.

Ребята засмеялись:

— Во дурак-то ввалился,—сказал веселушатаый.— Тебя нарочно разыгрывают, а ты взаправду бухаешь, как тетерев.

Андрей ожесточился мгновенно и осмотрел его с ног до головы, примеряя, мог бы он с ним в случае нужды справиться или пот. Тот понял его взгляд и объявил:

— Кусаться хочет.

Тогда вскочил и подбежал к ним обитатель переднего угла комнаты.

— Нашел на кого павалиться! Как тебя зовут? Андреем? Яблоновым? Меня — Николай Потехин.

Как только Николай подошел к Андрею и напряжение, грозившее дракой, разрядилось. Тепленький и другие стали укладываться в постели.

Андрей приободрился. Он не любил быть предметом общего внимания. Но все-таки он оставался настороже, ожидая и от Потехина коварства и западни.

Андрей вытаскил огромный посовой платок и обтер им мокрый лоб. Из кармана высыпалась на пол рябина. Потехин спросил:

— Чего это у тебя в кармане?

Андрей достал из кармана гвоздь и показал Потехину:

— Четырехдюймовый. Вчера подобрал у изгороди. Забыл отцу отдать.

— Я не про гвоздь, про ягоды.

— Это-то? Рябина. Хочешь?

— Нет, горькая.

Потехин машинально взял гвоздь из рук Андрея и согнул его пальцами.

— Зачем согнул?

— А так, у меня пальцы железные.

Андрей отобрал согнутый гвоздь у Потехина.

— Не надо гнуть гвоздя.

— Почему не надо?

— Пригодиться может.

— Чудак.

Потехин посмотрел на Андрея с любопытством и заговорил с ним ласково:

— Ты по мобилизации?

— Нет, я по своей охоте, сам просился.

— Чудак. Ты из деревни? Я люблю деревню. Но только там почти не был. Я в пионерских лагерях бывал. У меня и отец городской, и дедушка, до революции оба работали у Гужона на заводе с самых мальчишеских. У меня и мать московская. Тоже на заводе работает. Я не буду работать на заводе. А ты хочешь на завод? Ты за этим и просился учиться в ремесленное? И для того

ты променял деревню на эту чепуху? Это ты дурака свалил.

Андрей решил, что его опять разыгрывают, и не отвечал на расспросы Потехина.

Но долго отмахиваться Андрею показаться нелюбезным и, главное, неосторожным. Для поддержания разговора он спросил о том, что ему было совсем неинтересно, но о чем, он знал, обыкновенно спрашивают деловые люди, попадая в новые места:

— А кормят здесь как?

— Где, в школе-то? Это ты сам увидишь. Чудак. Вот в школу-то ты попал в плохую и неприятную. Завтра тебе утром, как проснешься, ордерок дадут на склад и получишь форму. И будет уже поздно каяться и поворачивать оглобли назад.

— А я все-таки хочу работать на заводе. И буду!

Потехин спросил:

— А зачем?

Потехин знал, что Андрей не сумеет ответить на этот вопрос.

— На заводе-то, ты знаешь, заставят тебя подсовывать какую-нибудь птучку в машину, чтобы машина ее обтачивала, вот она и будет обтачивать, а ты как дурак все время будешь только подсовывать и подсовывать. Что ж тут интересного-то?

Андрей посмотрел на Кольку, и ему захотелось ударить его. Просто размалютаться и «дать раза, чтоб он меня не мучил, как котенка». Но Андрей знал, что этого делать нельзя, и боялся, что он испортит себе здесь всю жизнь, если в первый же день выдерется. Он спросил Кольку:

— А зачем ты сам попал в эту школу?

Колька промолчал и загадочно улыбнулся.

— Что же ты думаешь теперь делать-то?

Колька и на это не отвечал ничего, продолжая улыбаться.

— Убежишь, что ль?

Колька на это отозвался очень живо:

— Ну, это ты уж дурак. А я не такой, чтоб бежать или, как бывают тамне, что выкинут в школу и в первый же вечер начинают расспрашивать и охать да ахать, да что, да как, да хорошо ли кормят.

Андрей вскочил:

— Ты чего это выдумываешь! Кто это тебя просил про это рассказывать? Ты же сам ко мне пристал и сам навязался с рассказами. Я тебя спрашиваю: что ты будешь желать, если ты не хочешь учиться в школе?... Раз я спрашиваю, ты отвечай!

— А если я не хочу?

Андрей вдруг стал очень спокоен. И

очень спокойным, почти равнодушным голосом спросил:

— Значит, ты отвечать мне не хочешь?

Колька, убежденный, что новичок уже сдаст и ищет отступления, рассмеялся:

— А ты гусиного чаю хочешь?

Тогда Андрей размахнулся и изо всей силы ударил Кольку по лицу кулаком.

И в то же самое мгновение получил от Кольки ответный удар. Андрей бросился на своего противника. Но не успел даже размахнуться, как Колька стал наносить ему удар за ударом, не подпуская близко к себе.

Тогда вмешался староста комнаты Гаврюшин. Он схватил Потехина сзади поперек туловища и оттащил от Андрея.

— Все ясно,— сказал Гаврюшин.— Первая встреча выиграна Колькой.

Потехин удовлетворился этим приговором. Но Андрей попытался оттолкнуть Гаврюшину. Вспушенный паренек, по прозвищу Топленый закричал из дальнего угла комнаты:

— Дурак, он хочет спорить с Гаврюшиным!

Авторитет Гаврюшина для обитателей комнаты был непререкаем. Гаврюшин был тих, сдержан, любил порядок. К нему крепко прилепилось прозвище, данное Потехиным: «Земляничка». Он никогда не оставался без дела. В общежитии он чинил электроустановки, водопроводные краны, табуретки, подоконники, полы, дверные косяки, замки и прочее. Большую часть заработанных денег Гаврюшин тратил на покупку всяких инструментов хозяйственного обихода. Он составил себе коллекцию молоточков, пилок, подпилков, шпателей, плоскозубцов, сверл и хранил эту коллекцию у мастера Егора Николаевича Силантьева.

Гаврюшин спокойно осадил еще бушевавшего Андрея.

Потехин, отходя, посмотрел с презрением на Андрея:

— Увалень, на силу вздумал меня взять. Где тебе, неотесанному полосу.

У Потехина шла носом кровь, но он сказал:

— Это у меня в драке часто носом кровь идет — на нервной почве.

Потехин вытащил из кармана маленькое зеркальце, посмотрелся в него. Вспушенный добавил:

— И губа припухает тоже... на нервной почве?

Потехин ответил:

— А что же ты думаешь? Честное слово, доктор сказал.

После этого Колька подошел к умывальнику, помыл с мылом руки и лицо, достал из столика у кровати одеколон, протер пораненные места, взял из аптечного шкафчика ватку, вод и смазал рассеченную губу. Затем достал гребелочку и снова зеркальце и заботливо наладил проборчик. Все это Потехин проделал машинально, очевидно, невиннось привычке, как будто он после работы привел в порядок рабочий инструмент, почистив его, обтерев и положив все что надо на свое место.

Андрей же сидел мрачный, всклокоченный, на развороченной, смятой постели и с ненавистью глядел, как спокойно и хладнокровно проделал все это над собой Колька. И чем больше росла его злость и негодование на колькино холодное спокойствие, тем яснее к ненависти примешивалась непонятная самому Андрею зависть... и даже, пожалуй, какое-то восхищение Колькой. Андрей смутно сознавал, что Колька хоть и слабей его, хоть и не так, как он, смел и отважен, но чем-то превосходит его. И, не смотря на то, что Колька хулил школу, он стал казаться теперь Андрею олицетворением каких-то свойств и добродетелей самой школы.

А ребята тем временем с такой же автоматичностью, как Колька прибрал себя, устранили беспорядок в комнате, вызванный возней и дракой.

★

На шум пришла в комнату молодая женщина со строгим, несколько упылым лицом и с резкими, размашистыми и самоуверенными движениями. Она была заместителем директора школы и в эту ночь дескурила в общежитии по случаю прибытия новичков. Ее звали Клеопатра Кирилловна Ржанова, но Потехин дал ей прозвище Пшеничная.

Все встали, из тех, кто еще не улегся спать. А Андрей остался сидеть на кровати, потому что не знал, как надо поступать в таких случаях. Ржанова сказала ему, что нужно встать. Он спросил:

— А зачем?

Ржанова объяснила.

Пшеничная, но с подчеркнутой деловитостью, Ржанова постаралась объяснить, что случилось.

— Кто вас обидел? — спросила она Андрея, — один Потехин или все они вместе?

Но вопрос Ржановой рассердил Андрея. «Напшла, тоже, одного такого, который ей все будет рассказывать». Он потупился и ничего не ответил.

Когда она ушла, Топленый сказал:

— Побрызгала из пультверизатора и ажрылась!

Андрею показалось странным, что Ржанава не только не наложила на него никакого наказания, но даже и не произнесла никакой угрозы. Ему казалось, что он запутывается в какую-то паутину и бессилем разгадать злую игру, которую затеяли с ним в этом новом месте, куда его завлекла его собственная мечта.

Андрей поспешил скорее улечься и закрыться с головой одеялом, чтобы отделиться от окружавшего его неспокойного и, казалось ему, враждебного мира.

Засыпая, он слышал, как далеко лаяли на деревянные собаки, как рядом за переборкой грустно вздыхала мать и совсем у изголовья веяли ветры над его любимой ветлой. Но над всем было одно неутрачиваемое сознание: он только что провел самый несчастный день в своей жизни.

★

Подъем был ранний, в шесть утра. Преснулся Андрей бодрым и, как всегда, в ожидании только хорошего от наступающего дня.

За завтраком Андрею очень понравилась посуда из пластмассы. Поправилось также, что каждому были даны отдельные порции. Когда подали горячую картошку с жареной говядиной, Андрей подумал, что это обед, и удивился, зачем в такой ранний час дают жареное, — очевидно, они заготавливают печку на рассвете и томят один раз в день. И это почему-то заставило его насторожиться.

После завтрака повичков стали вызывать к коменданту общежития. Возвращались они оттуда в новой форме с сияющими от удовольствия глазами. Андрей мысленно представил себе, каким он будет в форме.

Но вот уже вызвали всех, а Андрея не звали. Уже выстроили всех в коридоре, а Андрею так и не дали формы. Спросить он не решился.

— Ты чего так, не в форме? — спросил, проходя, спешивший в школу Толпешный.

— А тебя что за дело? — ответил Андрей. — Но липо его было так убито, что Толпешный не обратил внимания на тон. Он позвал Гаврюшина:

— Дело-то плохо, повичку формы не дадут; неужели выгонят?

Комендант, когда его спросили: почему же Яблоневу форму не выдали, ответил Гаврюшину:

— Нет распоряжения, его к директору вызывают.

— Это называется: обувайся, я за тобой еду, — сообщил ребятам Толпешный, — но иначе как выгонят Яблонева.

Колька при этом покраснел так, что стал красней конопатого Толпешного. Он подошел к Андрею и сказал:

— Ничего, я все устрою. Пойдем с нами. Сказал устрою, и устрою.

Андрей не хотел идти с Колькой. Но в это время колонна новичков тронулась к выходу, и Андрей пошел, делая вид, что идет не с Колькой.

Колька удалось провести Андрея в общей колонне через пост охраны в здание училища. Там ребята привели его на второй этаж.

— Ты тут постой, подожди, а мы все подготовим. Он тебя позовет потом и будет спрашивать, а ты отвечай.

— А кто это позовет меня?

— Ну, наш мастер, начальник нашего цеха слесарей-сборщиков, Егор Николаевич Сялантаев. Если он будет тебя спрашивать, то ты отвечай, что любишь чертежи читать и что для тебя деталь сама по себе ничего не значит. Запомни: деталь сама по себе ничего не значит, а надо, по-моему, — это ты ему будешь говорить: папа, мол, по-моему, знать, что деталь с другой деталью образует.

Ошеломленный Андрей повторял: «Для меня деталь ничего не значит, а я люблю чертежи читать».

— Ты только говори так, — настаивал Потехин, — а все остальное мы устроим. И тебя оставят в школе.

Потехин с товарищами ушел, а Андрей прижался в темноватом уголке коридора, слушая, как Гаверу и внизу по мастерскому оживал дневной гул.

★

Егор Николаевич, как всегда, был в цехе раньше ребят. До работы оставалось еще четверть часа. И потому Егор Николаевич разрешил ребятам поговорить с ним.

— Нам, Егор Николаевич, по очень важному делу, — сказал Колька. — Понедельника вчера вечером, Егор Николаевич, приехали в общежитие. И мы для вас уж постарались, выспрашивали, прикидывали, кто для нашего цеха годился бы...

— И что же нашли подходящие?

— Мы ведь со строгим разбором, Егор Николаевич... и по тому только одного нашли... как раз то, что надо для нашего цеха... чертежи читать любит и разбирается, и говорит — деталь для него сама по себе ничего не значит, ей-богу, Егор Нико-

завяч, а интересно знать, говорят, что она с другою вместе образует...

Егор Николаевич усмехнулся. Он видел, что ребята повторяют его собственные слова, часто им приносимые. Однако, видя взволнованных ребят, он насторожился, ожидая по опыту встал за таким началом какой-нибудь просьбы. И он строго оборвал ребят, пахмуря брöбя:

— А время другое не нашли для разговору? С новеньким дело не к спеху. Сколько раз вам объяснять, что перед началом работы человек должен быть свежий и умытый и с незасоренной головой. Работа требует вольготной души. Учитесь заводить себя с утра на ровный ход, не огорчайтесь, не волнуйтесь. Придешь с работы, ляжешь, тогда огорчайся, сколько хочешь, твое дело, а в мастерской будь веселый, спокойный и розный. Вот главное правило внутреннего распорядка.

Егор Николаевич был костляв, сутужават, с длинными, как сы высохшими руками, кисти которых казались тяжелыми гирями, подвязанными к жилистым плетям. Рыжеватые брови были под цвет всему лицу, прокопченному табачным дымом, и нависали так густо, что глаза казались маленькими, а взгляд острым, холодным, недоверчивым. Концы пальцев были почерневшие и ногти желтые от табаку и дыма. И какие бы слова ни говорил Егор Николаевич, все чудилось, что он ворчит и недоволен. Привлекало к нему только светившееся из самой глубины глаз живое ожидание, любопытство к словам собеседника.

— Как раз дело-то к спеху, Егор Николаевич, — загорчился Болька. — Новенький совсем уплыть от нашего цеха может.

Колька затронул большую струну. Егор Николаевич огорчался, что в его цех слесарей-сборщиков набираются ребята помимо его вливания, а чаще даже и без его ведома.

— Пойми же, Егор Николаевич, — объяснял ему не раз директор Сергей Никифорович Веселов, — не могу же я новичка сразу послать к тебе в сборочный. Да я не возьмешь ты сам неумеющего. Должен я его сначала научить самым основным, простым работам слесарного дела — пилить, рубить, сверлить, делать парезы, шабровки и так далее.

Новички попадали в цех Егора Николаевича только пройдя предварительную подготовку в общем слесарном цехе месяц, два-три, в зависимости от способностей.

— А я вас спрашиваю, Сергей Никифорович, какою же мастер отдаст хорошего ученика в чужой цех? Мы ведь не на буб-

но играем, как бы погромче, а фронтные заказы выполняем, нам, мастерам, хочется получить ученика с золотыми руками. Вот и получается у нас, что Силантьев всегда с посом.

Потому Егор Николаевич и просил ребят своего цеха: «Как заметите новичка помысленней, тащите ко мне знакомиться. Наш цех — вершина всего. Значит, нашему цеху пужлы люди поголовастей».

— А отчето же этот новичек совсем уплыть от меня может? — спросил Егор Николаевич Кольку.

— А оттого, Егор Николаевич, что он совсем в слесари может не попасть.

— Выходит, значит, что я хлопочи для слесарного, я жуй, а глотать будут другие?

Егор Николаевич посмотрел на часы: время еще есть. — Где же этот новичек?

— Здесь, в коридоре, Егор Николаевич.

— Ну, давай его сейчас же!

★

Андрей, ожидая, уже стал тревожиться. Чем больше он вслушивался в начинающуюся утреннюю жизнь цехов, тем сильнее в нем становилось желание скорее влиться частью в это маячащее и таинственное движение. Было стыдно стоять здесь, прячась, — бездельным и чужим. И страшно, что вдруг увидят и спросят, и он не будет знать, что ему надо ответить. И он внутренне торопил Кольку и медлительное время. В конце коридора с лестницы вдруг появилась Ржанова. И не успел Андрей ничего предпринять, как Ржанова заметила его; скрыться уже никуда нельзя было.

— А я вас ищу. Сказали, что вы самостоятельно вошли в мастерские. Идите. Вас требуют к директору.

Андрей пошел было за исю, но остановился.

— Мне надо только предупредить...

— Ничего, ничего не надо предупреждать. Идите.

★

Выбежавший в коридор Колька был потрясен исчезновением Андрея. Он не хотел уходить с места, где поставил Андрея у стены коридора. Он даже потрогал стену, как будто хотел проверить, не вошел ли Андрей в казень. И вдруг нечистая колыбельная совесть подсказала ему разгадку: новичек выбросился в окно с отчаяния. Колька бросился к окну, вскопил га подоконник и посмотрел вниз: было, собственно, не так высоко.

— Эй, слушайте! — крикнул Болька

проходившему дворнику. Он хотел спросить, но ушел ли человек, не разбился ли и что с ним сделали, куда увезли. Но дворник зевнул так безмятежно и так откликнулся «любезно»: «Чегой-то вам?» — что Колька стало стыдно. И он спрятался за косяк, сразу ощутив неосновательность своих страхов. Однако, выглянув, Колька увидел, что дворник остановился под окном, внимательно посмотрел на асфальт и стал тщательно сметать и разтирать какое-то пятнышко.

Веря ли не веря своим страхам, Колька прибежал смятенный к Егору Николаевичу. — Егор Николаевич, Егор Николаевич! помогите!

— Кому, в чем дело? А где же повичок?

— Он... Егор Николаевич... он... я не знаю, что с ним, он исчез.

— Ну, значки, он из этих... которые... Марш к работе, скоро начашо! А я об этом невичке и слышать не хочу... терпешня у него, видите ли, обидать не стало... а у нас все па терпешье в сборке...

Увлекаемый отчаянием, Колька признался Егору Николаевичу, что повичка могут не принять в училище: он подрался, этот повичок, в общежитии в первый же вечер по приезде. И сам уж не соображая в волнении, почему он это делает, Колька признался, как он подучал повичка просить Егора Николаевича заступиться перед директором и подучал, как говорить с Егором Николаевичем и уверять, что любит читать и разбирать чертежи и что для него деталь сама по себе ничего не значит, а все дело, как она с другой что в сборке образует...

И сердце Егора Николаевича тронулось. В нем шевельнулась нежность к правдивости и горячности Кольки. Ему подумалось: «А, собственно, ребята обо мне хорошо понимают, хоть чуть и подсмеиваются, курящие дети». На мольбе Кольки он спросил:

— Но чем же он для цеха-то нашего приманчив, если я загляну Сергею Никифоровичу, чтоб его держали для меня?

Колька обрадовался: значит, уговаривал. Но в это время продребезжал звонок к началу работы.

— К сталкам, — отдал команду Егор Николаевич, — включай. Потехил, к сталку. Извольте на ваше место, живо!

Направляясь к своему рабочему месту, Колька, торопливо бормоча, признался в самом главном, что он, именно он, Колька, виновник всех бед повичка. Но Егор Николаевич больше уже не слушал Кольку.

— Работа началась! Работа требует аккуратности и точности!

И Колька знал, что теперь всякое слово о чем бы оно ни было, только будет вызывать гнев мастера.

★

Андрею всели войти в кабинет директора как раз в ту минуту, когда дребезжащий звонок возвестил начало работы.

— Закройте за собою дверь, — сказал директор. И Андрей очень обрадовался, что дребезжанья стало почти не слышно. Закрывая дверь, он подумал: «Вот сейчас все решится. А дверь-то не по шпнтолоке, легкая дверь, стены же толстые и крепкие, видно, дверь после приделана, и делал плотник неумелый».

Комната директора была почти пустая: стоя и три стула с соломенными сиденьями. Она была темна и показалась Андрею черной. Директор сидел неподвижно. Он был стрижен наголо, побрит; в блузе военного покроя, на груди не было никаких значков, а в верхних боковых карманах — ни одного карандаша. Андрей подумал: «Аккуратный и строгий. Ну и пусть»: Директор подождал, не глядя ни в какие бумаги и не скрывая, что рассматривает Андрея. Андрей невольно оглядел себя и не то, чтоб заметил — очень смотреть-то на себя под взглядом директора он боялся, — а скорее вспомнил, что у него торчало из голенища длинное, матрадного тика ушко. Но поправлять было некогда.

— Что же не говорите мне «здравствуйте»? Ведь вы ко мне пришли, а не я к вам; надо приветствовать.

— Здравствуйте, — сказал Андрей.

— Дрался? — спросил директор.

— Дрался, — ответил Андрей.

— А вы знаете, куда вы пришли? Мы готовим здесь солдат великой рабочей армии нашей страны. Вы знаете, почему я вам формы не выдал? Я хочу посмотреть, достойны ли вы нашего училища. За что вы бросились на Потехина?

Андрей молчал.

— Подождите сюда поближе... Так... Теперь расскажите мне, почему вы стали драться... Это, что же, у вас такая привычка? Правило такое себе взяла? Отвечайте.

Андрей подумал: «Рассказать, как Потехин плохо говорил о школе и смеялся над ним, Андреем, что он поступил в эту школу?.. Нет... Это мне не оправдание... Я сам должен понимать о школе, что мне надо понимать...»

И он продолжал стоять перед директором молча, убежденный, что тот видит и понимает, что происходит в нем.

— Ну, говорите, — поторопился его директор.

— Я не знаю, что говорить...

— Объясните ваше поведение... Я должен решить — оставить вас в школе или отозвать обратно в деревню...

Андрей подумал: «От этой минуты зависит вся жизнь...» Кровь прихлынула к шее, к ушам, разлилась по щекам и опять отхлынула, и стало холодно. Губы, не пошевеливаясь, сами сказали что-то.

— Громче. Я не слышу. Что? Не буду? Что не буду? Громче. Ничего не разбираю. Ну вот, опять замолчал.

Андрей посмотрел директору в глаза, и ему вдруг стало стыдно своей минутой слабости. Он упрекнул себя за то, что хотел оштрафываться. Ему захотелось при взгляде на спокойное лицо директора быть таким же спокойным.

— Значит, вы не хотите мне ничего сказать. А что вы будете делать, если я вас отпустил домой? Какое занятие себе выберете?

Андрей опустил голову и глухо ответил:

— А я не уйду.

— Откуда не уйдете? Из школы?

— Ни за что не уйду!

— Что ж, вы успели так полюбить школу?

— Я не знаю...

Директор велел Андрею выйти из кабинета и подождать в приемной. Андрей вышел, сел у двери в кабинет и решил про себя: «Что бы они ни делали, я из школы не уйду, ни за что не уйду».

Директор вызвал к себе секретаршу:

— Пожалуйста, велите проводить вновь принятого ученика на склад. Пусть ему выдадут форму и пусть товарищ Ржанова поставит его на работу в слесарно-инструментальный цех. Хороший мальчик. Ни на кого не сваливал собственную вину, не искал пустых оправданий. Видно, умеет нести ответственность за то, что делает.

★

Андрею сразу понравился цех — небольшая комната с пеньбесовым потолком, с серыми от пыжи оконными стеклами, с запахом масла и металлических стружек. Ему показалось приятным и как будто давно знакомым его рабочее место — вытертый до блеска металл наиболее употребляемых частей станка, лоснящиеся деревянные опилки. Его веселил то замораживающий, то возникающий в разных углах комнаты шелест станков, постоянно то включаемых, то вы-

ключаемых по мере того, как мастер объясняет ученику или предоставляет ему работать самостоятельно.

Стоял ли Андрей у станка, детрагивался ли до инструментов, приходил ли в общепитие, ложился ли спать, он все не верил, он все сомневался, так ли все это, с ним ли все это происходит или он грезит.

Его радовала новизна места, куда перенеслась теперь его жизнь. Все окружающие предметы возбуждали любопытство, как неожиданное открытие.

Впервые открылось ему наслаждение узнавать новое. Ему нравилось встречать новые слова, которых он никогда не слышал, и доискиваться до их смысла. Его радовало, что каждый день прибавляет ему какое-нибудь новое умение, — то он узнавал, как резать металл, то научился делать из жести ложку, ведро. Когда он сделал водопроводный кран в мастерской, он ходил несколько дней по общепитию, пробуя и осматривая края умывальников: так ли сделаны, как сделал бы он сам.

Но, может быть, еще больше, чем новизна школьной обстановки, нравилось ему однообразие дневного кругооборота, в который он был вовлечен и который совершался в неизменном порядке, независимо от его вли и желаний. Ему мила была сложность и разнообразие создаваемых впечатлений, что он во власти какого-то могучего, идущего в неизвестную даль потока.

В шесть утра его будил звонок, гремевший по всем коридорам общепития настойчиво и нетерпеливо. Андрей вскакивал с постели не мешкая, хотя и хотелось в это время немного потянуться и пораздумать о предстоящем дне. Но что же было раздумывать — ведь всякий наступающий день был заранее размерен и определен.

Первые дни Андрея очень тяготила уборка постели. Ему не удавалось расстелить одеяло так, чтобы концы его висели ровно. Но, наконец, вышло как-то, что одеяло само по себе послушно легло, как надо, не образуя ни складочки и нигде не свисая, нигде не задираясь наверх. И с той поры пошло все хорошо. Андрей посоветовал одному из мальчиков:

— Ты только не показывай одеялу, что ты стараешься, оно парочно будет топорщиться. А ты делай вид, что тебе все равно, как бы оно ни легло.

В половине седьмого спускали на завтрак в столовую. К этому времени уже убирались с окон плиты, служившие для за-

темнения — деревянные рамы с натянутой на них синей плотной бумагой. Электричество выключалось. От сероватого низкого осеннего неба веяло холодком и бодростью. И тут же Андрея охватывало первое волнение перед предстоящей дневной работой. От боязни, что он не сумеет сделать работу, которую даст ему мастер, он ел, не замечая, что он ест. Его думножко лихорадило в эти минуты, сердце сжимала тоска, хотелось бежать далеко от Москвы, у себя в деревенском приволье встать где-нибудь без забот над рекой, качаясь на ветвях старой ветлы. Однажды ему сделалось от этих воспоминаний так тяжело, что он, не допив налитого в блюдце чая, не проглотив куска, вскочил, выбежал из-за стола, помчался по коридору и там в темном углу вытер скатившиеся на щеки тяжелые, горькие слезинки.

К семи часам отправлялись в цехи.

Андрей начинал работу всегда весело, и ему казалось, что все у него идет ладно. Но подходил мастер, проверял, объяснял, и оказывалось, что делает все Андрей хуже других.

Отчего это так случалось, Андрей не мог сказать. Иногда Андрею думалось, что мастер несправедлив к нему и напрасно придирается. И Колька уверял, что это так: «Какой интерес мастеру слесарного цеха в Яблонева, раз Егор Николаевич сказал, что переведет его к себе в сборочный».

Во время объяснений мастера Андрей против своей воли следил за тем, как мастер старается и принуждает себя быть ровней и терпеливей. Следя за этим, Андрей упускал то одно, то другое из объяснений, переспрашивал и вынуждал мастера срыватьсь со спокойного и ровного тона.

Однажды директор Веселов зашел в слесарный цех. При приходе директора никто не оторвался от своей работы. Только мастер подошел было к Сергею Никифоровичу и начал докладывать: «Идет выполнение полученного заказа...» — но директор сделал ему знак продолжать работу.

Веселов долго молча наблюдал, как работают ученики, останавливаясь около каждого из них. К Андрею он подошел после других. Здесь он стоял несколько дольше. Когда Андрей кончил помилку и отложил напильник, Сергей Никифорович взял напильник, осмотрел его со всех сторон и попросил в деле. Так он перепробовал почти все инструменты, которыми работал Андрей: как только освободится у Андрея какой инструмент и он отложит его, так Сергей Никифорович возьмет этот инстру-

мент, осмотрит, попробует и вернет на место. Затем директор подзвал мастера:

— У Яблонева весь набор инструмента очень плох, слошен, сбит, не отточен, как надо. Посмотрите сами, как с этим инструментом можно хорошо работать. Я вас прошу, обновите инструмент и тщательней проверяйте условия работы раньше, чем делать выводы... Кстати, поставьте Яблонева к другому свободному станку... чтоб было у него впечатление полной перемены в обстановке.

Мастер вспыхнул:

— Это мой педосмотр, Сергей Никифорович. Может быть, вы сочтете нужным перевести Яблонева теперь же к Егору Николаевичу?

Веселов поймал умоляющий взгляд Андрея, которому давно мечталось, что если только его переведут в сборочный, то та же работа у него пойдет, как нельзя лучше.

— Нет, — ответил Веселов. — От перемена ничего хорошего не прибавится для Яблонева. Он должен научиться у вас работать, как надо. Вам повезло, Яблонев, вы обучаетесь у одного из лучших мастеров-слесарей столицы. Покажите хорошую дисциплинированность, выдержку, умение справиться с теми условиями, которые вам кажутся тяжелыми, заставьте себя стать сильнее этих условий и любейтесь, чтоб они стали казаться вам легкими. Пока не победите тех условий, в какие попали, до тех пор в них и будете работать. Неудачи пройдут, а умение побеждать их останется.

Огорчения Андрея на работе в цехе восполнялись его успехами в классах. Здесь Андрей чувствовал свое превосходство перед всеми другими новичками. Многие ученики не любили «классы» и считали их принудительным и скучным привеском к настоящей работе, за которую начислялась плата.

Узнавая законы физики и механики, Андрей то проникался уважением и интересом к мелким отдельным деталям, над которыми ему приходилось работать в цехе, то вдруг испытывал досаду и скуку, что ему приходится в цехе заниматься однообразными, ограниченными мелкими операциями над мелкими и мельчайшими частями каких-то крупных механизмов и не удается ощутить под своими руками цельную сделанную вещь. В классах Андрей понял, почему говорит Егор Николаевич, что деталь сама по себе не интересна, а интересно ее сочетание с другой в цельном механизме. Он начал понимать, что такое сборка. И его потянуло в сборочный цех уже не потому, что хотелось уйти из цеха, где у него было столько

неудач в работе, а потому, что сборка целостного механизма из разрозненных деталей стала казаться ему очень заманчивой. Тут он узнал подробности и научные объяснения об английском мальчишке, о котором читал в разорванной книжке на чердаке своего деревенского дома, — о мальчишке, которого озаарило наблюдение над крышечкой зайчика, прыгающей под напором поднимающегося пара. Андрей стал внимательно присматриваться ко всему окружающему, особенно во время работы, постоянно ожидая, что какая-нибудь мелочь принесет ему озарение и даст ему толчок к какому-нибудь изобретению.

К половине третьего класса заканчивался, и с ними заканчивался деловой день, если не считать короткой общеучилищной линейки, где старосты рапортовали, как прошли занятия и работы. Андрей не любил линейки. Когда на них говорили о разных недостатках, ему всегда казалось, что все обращено против него и все думают в том, какой он плохой и как плохо он работал в течение протекшего дня. В мечтах же о своих успехах ему нравилось чаще и больше всего представлять в воображении линейку, но такую, где говорят только о нем и об его изобретениях. Самым сладостным торжеством ему представлялось открытое признание на линейке его заслуг.

После линейки и ужина наступали часы кружков, развлечений, игр, отдыха. Это были тягостные для Андрея часы. Торопливый бег дня приостанавливался, и тогда Андрею, так же, как и по утрам, вспоминались деревня, поля, ветла над рекой...

Но вот однажды во всех ощущениях Андрея произошел крутой и внезапный сдвиг.

В это утро мастер поручил ему мелкую, но самостоятельную работу — сделать гаечный ключ к стандартным гайкам. Андрей осмотрел перед работой инструмент. Все оказалось в порядке.

Брошенная на станок шершавая пластинка из грубого металла сразу легла под руку, как влитая, не качаясь, не шевелясь, и ни разу не сдвинулась с места, пока Андрей очерчивал с образца форму ключа.

Когда он зубилом стал обрубать край, все обрубилось так удачно, что осталось очень немного работы для опилки напильником.

Так же удачно и легко вышло с вырубкой зева с обеих сторон ключа под размер гаек. Андрей сразу точно выверил размер зева. Потом вырубил зев грубо и на черنو, но опять вышло так, что для точной подгонки под размер осталось мало работы напильником, и он быстро прошерсея лангль-

никами, сначала четырехугольным, потом круглым.

Когда он перешел к шлифовке, он вдруг почувствовал радость, что его руки сделали вещь. Он прошерсея шкуркой, потом стеклянным порошком, оглядел ключ со всех сторон, и ему показалось, что вещь еще недостаточно блестит и есть еще кое-где маленькие царапинки. Правда, еле заметные. Тогда он обработал ключ венской извесью. После этого ключ заблестел, как серебряный, и поверхность его сделалась такой гладкой, как у зеркала. Андрей еще и еще раз пригляделся и искал на ней царапинок и не мог найти.

Потом он снова проверил размеры зевов, все было точно. Он взял ключ в руки, взвесил его на ладони, сдул пылинки, попробовал захватить первую попавшуюся гайку на всем рабочем месте, гайка послушно поддалась ключу. Андрей снова со всех сторон пообдул ключ. Он взглянул в окно на небо и улыбнулся: приятно сделать вещь! И как она блестит и какая ладная. Какое это удовольствие делать вещи своими руками.

К нему подошел мастер. Посмотрев на ключ, мастер оглядел Андрея с ног до головы с удивлением и как будто увидел его в первый раз. Мастер ничего не сказал, но Андрей понял, что мастер доволен. Андрею хотелось спросить: «Ну, как?», но гордость мешала. За него спросил сосед. Мастер ответил: «Получается».

Это был действительно счастливый день, потому что, пока мастер стоял около Андрея и рассматривал ключ, вопли Веселов и Ржанова. Мастер показал им ключ.

— Будете стараться, будет хорошо получаться, — сказал Сергей Никифорович. — Сразу видно, что ученик шобыгаш в руках у вас. Семен Иванович.

Мастер улыбнулся, довольный.

★

На другой день было воскресенье, уже четвертое воскресенье Андрея в Москве. Первые три он провел, подчиняясь ходу жизни, завещанному в училище. Он машинально ходил, куда его со всеми вместе водили — на осмотр города, в музей, на концерт. Его занимала тогда только одна мысль, что он сделал что-то неправильное со своей судьбой и попал не туда, куда стремится и куда мечтал попасть. Теперь же все озанилось ясным и согревающим светом.

В этот день блестело солнце. Небо было глубокое и голубое. Листья на деревьях и дерюжках золотые. В воздухе стояла тишина.

чуть качающаяся паутилки. Андрей радовался предстоящему долгому праздничному дню.

В общезнания с утра было шумно. Коридоры наполнились щебетаньем и смехом. Мальчики и девочки составляли группы, чтоб отправиться в экскурсию. Андрей подошел к группе, где стояла Лина. У него в кармане была лешта, подарок для нее.

Накануне была покупка. Вечером ребята ходили по «коммерческим» магазинам и делали покупки. Для Андрея это были первый раз в жизни заработанные собственные деньги. Он не знал, что с ними делать. Гаврюшин накупил инструментов: три молоточка, полдюжины напильников разной формы, кусачки, французский ключ и все это сдал на хранение Егору Николаевичу. Колька купил ноты и собирался нести их в подарок своему двоюродному брату — музыканту. Толстый купил паширос и черешневый мундштук и, говорят, будто бы какой-то сладкой водки, но водку никто не видел, и, может быть, это была неправда. Андрею хотелось тоже что-нибудь купить, и лучше всего что-нибудь для матери; но он не знал, как можно было бы ей переслать подарок. Тогда он купил лешту для Лины. Попалась на глаза аркожатая.

Но как перетать лешту Лине? Польза же прямо сказать: вот я купил для тебя. Вель и она, и все догадаются, почему он это сделал. Андрей решил отложить и подождать подходящего случая.

Чтоб как-нибудь смягчить для себя внутреннюю неловкость, Андрей принял независимый вид и спросил Лину, куда и в какой группе она собирается пойти.

— А ты пойдешь со мной в одной группе? — сказала Лина.

Конечно, он пойдет. Вспомнив о леште, Андрей сейчас же прибавил объяснение, почему он пойдет с ней в одной группе: он ни разу еще не получал никаких известий из дому, может быть, она расскажет ему что-нибудь о доме.

В коридоре появилась Ржанова, и все девочки радостно заволновались, закричали и бросились к ней с приветствиями.

— Мы пойдем на Воробьевы горы, и нас поведет Клеопатра Кирилловна, — объявила Лина Андрею.

— С Пшеничной я не пойду, — резко отказался Андрей.

— А я с ней подружилась, и она лучше всех, — сказала Лина с дрожью обиды в голосе.

— Она Клеопатра Черниловна, не пойду с ней, — заупрямился Андрей.

— А ты слово дал.

В общезнание зашел в этот день и Егор Николаевич. Его встретили мальчики так же шумно, как девочки приветствовали Ржанову. Появление Егора Николаевича было необычным. Он жил замкнуто. В училище он был деятельен, подвижен, любил иногда высклазаться даже с излишними подробностями, когда объяснял ученику работу. А дома, в дни отдыха, он, говорят, часами неподвижный смотрел из окна, как играют ребята на дворе, или затапливал печь и сидел перед дровицей, глядя на огонь. Он был вдов и одинок. Никого не принимал у себя и сам был к кому не ходил. Но повелось это у него давниво, с тех пор, как погиб в бою с немцами его единственный сын. Из своих старых друзей Егор Николаевич встречался только с отцом Гаврюшина, вместе с которым в молодости работал на металлургическом заводе у Роговской заставы.

Егор Николаевич добродушно кивал мальчикам, но ни к кому не обратился с разговором. Заметив Андрея, он внезапно остановился и спросил:

— Пойдем гулять на Воробьевы горы с Клеопатрой Кирилловной? И я пойду с вами.

Как был рад этому приглашению Андрей!

— А с завтрашнего дня ты будешь у меня в цеху. Сергей Никифорович переведет тебя в сборочный. Работа будет там простая — заказ для фронта.

Егор Николаевич позвал на Воробьевы горы и других «своих ребят» — Гаврюшину, Кольку и Толстого.

На улице к группе присоединилась соседняя гара: в мягкой широкополой шляпе, в высоких сапогах, в чистеньком повременном пиджаке, в темной рубашке с галстучком пожилой рабочий, а с ним жена в старомодном платье и в черной кружевной косынке. Это были Гаврюшины, отец и мать.

На прогулке Гаврюшин-отец очень был доволен, что в группе оказались несколько новичков, не знающих Москвы. Всю дорогу он давал им пояснения: «А здесь вот бабы на плотах белье стирали... а здесь в старое время, я еще застал, помню, стелжи устраивали, на кулачках билась... а на горке там трактор Крынкина стоял...», — и казалось, как будто он и порицал прошлое за отсталость и вместе был доволен, что все это было.

Андрей, как только вышли, поравнялся с Линой и, набравшись духу, сказал:

— Ну вот...

— Что «ну вот?» — спросила она, подрачивая его и вызывая.

Андрей не нашелся, что прибавить, а

только густо покрасел. Она ударила пологешую подругу по плечу и весело рассмеялась.

Все в городе казалось Андрею милым. Он шел, смотрел на улицы, но прислушиваясь к тому радостному, все нарастающему внутри его существа предчувствию застрявших впечатлений, когда он начнет новую работу. Было похоже на то, как он собирался идти в школу еще в деревню и ждал этого волшебного первого дня, когда все махало, занимало и было счастьем брать в руки карандаш, раскрыть тетрадку, посмотреть в книжке на буквы и вдруг, соединив их вместе, разгадывать за ними слова. Так вот и теперь он будет в сборочном соединять, прилаживать части, и из них будут возникать механизмы, которые потом будут двигаться, работать.

Воскресная Москва в осеннем солнце была вторична и спокойна. Жизнь текла своим заводным порядком, который, казалось, ничто на свете не могло бы ни остановить, ни нарушить. Гомонились толпы около кинотеатров. Но реке сновали вечные трамваи с лестрыми, шумными ватагами детей на палубах. На пустыре мальчишки залуськали змея; старушка выбивала на изгороди подожженный коврик. Но во всем течении жизни и в людях пробивалась скрытая ветровожность и озабоченность, ожидание где-то рядом притаившихся суровых везаний. Андрей слышал, как отец Гаврюшина сказал Егору Николаевичу: «Чего там гадать, чего попусту рассуждать? Если уж так положить, что до худого дойдет, то дело ясно, простое,— всемирно и мы с тобой рухляк на наши стариковские плечи и дрыгаться защищать Москву».

Но эти слова отца Гаврюшина казались Андрею такими же ненастоящими, нарочными, как нарочным и ненастоящим показался ему разговор дяди Семена и Матвея Матвеевича в лесу по дороге на станцию, когда Семен спросил: «Неужели скоро и нам придется уходить?»

Мирдя на Воробьевы горы, они сели высоко над рекой и смотрели, как внизу спокойно текла Москва-река.

Егор Николаевич сделался разговорчив, он все время обращался к Андрею и старался увлечь его предстоящей работой: «Выше сборки нет ничего на любом заводе. До сборки вещества лежат все равно как мертвые. Жизнь начинается только при сборке. Был у нас слесарь, такой ходовой в работе, хоть и запяточеский пенью — его ты, Гаврюшин, тоже знал,— так он рассказывал, что, мсл. мир сотворить богу дал совет один сборт

щик из Симоновой слободы, беглый. «Чего,— говорят,— звать,— это слесарь-то бегу,— деталей у тебя, господи, до чорта, а собрать ни у кого ума нехватает». — «А как собрать?» — спрашивает у слесаря бог. «А вот как,— объясняет слесарь. — Отделика сначала воду от земли», — и пошел, и пошел, и пошел, слесарь-то, объяснять.

— И чего такое рассказываете, гневите бога, Егор Николаевич! — огорчилась мать Гаврюшина.

— Это не я, Авдотья Ивановна, это такая есть легенда, не нынче выдуманная. Ну-с, вот, значит, за шесть дней они и собрали белый свет. Шесть дней — легко сказать. Ну, конечно, вышла спешка, штурмовщина и кустарщина: все на-глазок, на прикидку брали, без чертежа одно к другому подбирали, давай попробуем так или так, и все одним словом: «да будет, да будет». И много, конечно, из собранного получилось плохо прицано и с большим трением работает. И вот как посмотрели потом на этот беспорядок, а по-нынешнему сказать,— на эту халтуру, да разобрались, что от чего, то и стали требовать с той поры от сборщика, чтоб он прежде всего умеет чертеж читать и хорошо его понимать. Главное чертеж, а остальное все само придет.

Андрей выбрал минуточку и убежал к реке, куда перед тем спустилась Липа. За ним разбрелась и остальная молодежь, оставив стариков одних.

Андрей подошел к Липе. На противоположном берегу виднелась волная станица. Несмотря на осень, там купались, и плоты прыгали в воду с высокого помоста. Чувствуя прилив решимости, Андрей сказал себе: «Все равно, прыгну и я, как они, сразу, без разбега, очертя голову». И, немного задыхаясь, он проговорил:

— Угадай, Липа, кто мне здесь больше всех правится?

— Откуда же я могу угадать? сказала Липа.— Здесь нас так много.

И по его настоянию она стала перебирать всех присутствующих на прогулке. И даже не забыла и Гаврюшинных, отца и мать, и Егора Николаевича. А он все ждал. Ему тоже нравилась эта игра. И когда она припомнила, не забыла ли еще «кого, он ей подсказывал. И при каждом названном имени он говорил: «Нет, не угадала, не он. Нет, не угадала, не она».

Называть было уже некого больше, всех перебрали, а Липа не решалась назвать себя.

— Ну, я отказываюсь. Я не могу. Назови сам.

Они стояли двое у реки, никого побли-

зости не было, кто мог бы их услышать, и Андрей решил:

— Закрой, Липочка, глаза, зажмурься.

Липа закрыла глаза. Андрей вытащил желтую ленту.

— Протяни руку, Липочка.

Андрей положил в протянутую руку ленту.

— Кому я положил в руку ленту, тот человек мне и правится больше всех здесь и на всем свете. Раз, два, три, Разжмурься и смотри, увидишь.

— Эй, ты, там, чего липнешь к Липе? Шагай сюда паверх, Андриюшка. Будет первая проба выскожих сортов курева.

Это был голос Топленого. Спустившись до пелгоры, он махал Андрею коробкой папирос и манил к себе.

Мир потемнел для Андрея. На том берегу два пловца один за другим бросились с вышки и разорвали водяную гладь, погрузившись в пучину. Андрей крикнул Топленому с раздраженьем, что не пойдет.

— А я за тобой лез, как за человеком...

И Топленный вышталил безобразное ругательство.

Лицо Липы дернулось. Андрей увидал в ее глазах испуг.

Он сорвался с места и бросился по горе вверх к Топленому.

Убегая, Топленный споткнулся, и Андрей наступил его. Схватив Топленого, Андрей в один миг вспомнил все, что произошло за эти четыре недели, вспомнил слова директора о дисциплине, о закалке воли, о достоинстве ученика ремесленного училища. Но сдержаться не было ни времени, ни сил. Андрей размахнулся. Но кто-то рядом крикнул:

— Андриюшка, стой, что ты делаешь?

И это дало Андрею нужное мгновение, чтобы сдержаться. Кто же это кричал? Ах, не все ли равно Андрею! Ему надо сдержаться и ни за что нельзя драться. Но что же еще делать в таком положении и с таким негодеям? Андрей крепко сжал руку Топленого.

— Пойдем, говорю тебе, пойдем. Лучше не упряйся. Хуже будет тебе же.

Он повел Топленого вниз, сам еще не зная, куда ведет. Топленный цеплялся за деревья на крутых спусках, но Андрей с яростью отрывал его от стволов.

— Нусти, Андриюшка, больно!

Но Андрей ничего не отвечал. Он боялся заговорить, зная, что если начнет прешиваться, то обязательно будет и драться.

Они подошли к самой реке. На лице Топленого был трепещущий страх. Упорный, неослабевающий гнев Андрея напугал его. Он спросил:

— Куда ты меня тащишь? Отпусти. Кричать буду.

Андрей почувствовал удовлетворение: «Он думает, что я хочу его утопить».

Андрей отпустил руку Топленого и толкнул его изо всей силы прочь от себя.

— Или уж, ладно. А в другой раз увидишь что с тобой сделают. И больше не смей!

Андрей не пошел Липу на том месте, где оставил. Она убежала.

★

Вернулись в общежитие, когда уже начало темнеть. Войдя в комнату, обнаружили что кто-то в ней есть. Андрей, не зная сам отчего, почувствовал сильное волнение. В полутьме знакомый ему голос сказал:

— Андриюша!

Вспыхнул свет, и Андрей увидал брата Константина.

— Костя!

— Ну, здравствуй, Андрей Михайлович. Тебя в форме и не узнать.

— И тебя в форме не узнать.

Константин развязал заплечный мешок, разложил на общем столе сладости и закуски и пригласил всех ребят к столу.

— Я уже попросил, нам присекут чайку, давайте всем миром шировать, угощаться. У меня времени всего осталось часок. Прощай, поспеваем, порадуемся встрече и простимся.

Константин рассказал, что он в Москве проездом с завода на фронт, нынче же вечером уезжает.

— Танки везешь?

— Нет. Ничего не везу. Я ведь в последнее время вроде как учителем стал, только не в классах и не в мастерской, как у вас, а на фронте уроки давал и показывал, как с танком обходиться. А сейчас руки чешутся — еду танкистом, сражаться еду, добровольно выпросился.

Котика сошел с своего места и ближе подсел к Константину.

— А как же с завода вас отпустили?

— Эвакуирован наш завод. И поехал он со всеми машинами вдаль. Пока тяжело для нас складывается на фронте. И я сказал себе: «Мое место там». И все. Рассуждать тут больше нечего. Вот и чай нам несут.

Константин засмеялся. Он внешне и внутренне был похож на мать, только без ее омраченности и грусти. Он настойчиво угощал всех, а сам почти ничего не ел. Он вывернул наизнанку свой вещевой мешок и все беспокоился, что не все будет съедено.

— Тебе же, Костя, нужно самому на до-
рогу.

— Ешьте. Я в дороге как-нибудь достану.

Он, как и мать, любил «одарить». Он подарил Гаврюшину карандаш в серебряной оправе, Кольке электрофонарь, Тонкому зажигалку. Потом достал из глубоких карманов шинели блокноты и отдал их «в распоряжение комнаты». Только для Андрея у него ничего не нашлось.

— Ну, да ты — брат мой, ты не обижайся, мы, с тобой свои.

Его внимание было до страсти занято разными житейскими мелочами. Отрезав кусок колбасы, он поднимал ее на вилку, смотрел на свет и похваливал:

— Сочна, плутовка.

Когда был подан чай, он приоткрыл крышечку чайника и понюхал:

— Чудно пахнут чайные пары.

И засмеялся, смехом беззаботным, детским веселым.

Ему с первого взгляда понравился Гаврюшин. Он усадил Гаврюшина возле себя и все время подливал ему чаю и делал ему бутерброды.

— Вы парень, видно, ровный и спокойный. Я люблю ровных и веселых. Мы, надеюсь, встретимся когда-нибудь на заводе. Старайтесь попасть на танковый завод. Если останетесь живы, — хотите, замолвлю словечко.

Когда настало время уезжать, Копетанчик взял брата за плечи посмотрел на него любовно.

— Ну вот, Андрей, уезжаю, — и снова засмеялся, но в смехе прозвучала грусть. Он отвел Андрея в коридор и там сказал:

— Я тебе открою перед отъездом: не знаю я, где наша мать и наш отец, где Симочка. Места те наши войска недавно оставили. Будь сильным и приготовься ко всему. Я тебе завещаю: будь верен тому, что тебе перучат.

Ушел он с пустым мешком. И в черной темноте шаги его прозвучали, казалось, так же беспечно и весело, как звучал за чаем его смех.

★

Ночью Андрей долго не мог заснуть. Его мучили мысли об отце, о матери, его ужасала судьба родной деревни. Ужасала судьба Москвы, России. Он восторгался, умилялся и преклонялся перед братом. И задавал себе вопрос: не мелко ли, не корыстно ли его счастье и довольство своей работой, в то время как родина ввергнута в тяжелые испытания?

Ему послышалось шлепанье босых ног по

полу, и какая-то тень наклонилась к его подушке:

— Андрюшка, ты спишь?

Андрею стало жутко, и он притворился спящим.

— Андрюша, проспись.

Это был Потехин. Андрей приподнял голову.

— Тебе чего, Колька?

— Зачем же ты притворяешься? Я знал, что ты не спишь. И я тоже не могу спать, Андрей. Надо поговорить. Только тише, чтоб не услышали, Андрюшка, ты думаешь об этом же?

— Об чем?

— Об том, об чем я? Да?

— Да.

— Тогда давай вместе завтра в обеденный перерыв убежим и запишемся в добровольцы. Я ведь давно задумал. А как задумал, так стало мне училище неинтересно. Давай, что ли, завтра же. Зачем откладывать?

Андрей долго молчал. Колька ждал и востроил:

— Что ж, Коля, пожалуй, давай. Я ведь тоже давно думаю.

— Давай.

И вдруг с соседней кровати поднялся Гаврюшин.

— Дураки! вы знаете, что вы затеяли? Это — измена.

— Измена? — ухмыльнулся Колька. — Сказал тоже.

— Конечно, измена государству, — вот что это. Я не спал и все слышал.

Колька и Андрей молчали, пораженные такой страшной оценкой.

— А как же не измена? — продолжал Гаврюшин. — Во время войны... вы заказы фронтные выполняете...

Гаврюшин, всегда медлительный и спокойный, теперь говорил скороговоркой и валюясь.

— Этак всякий бы стал рассуждать. Может, и я тоже хотел бы.

Потехин, не вступая в препирательства, медленно поднялся и пошел к своей койке.

Андрей начал громко сопеть, делая вид, что он внезапно заснул.

Все стихло. А когда послышалось мерное ссное дыхание Гаврюшина, Колька для храбы позвал:

— Гаврюшин, а Гаврюшин. Гаврюшкин? Спишь?

Гаврюшин не отвечал. Колька подождал еще немного, послушал дыхание Гаврюшина и, наконец, решился позвать Андрея:

— Андрюша, Андрюша, ты как думаешь?

— О чем?

— Об измене. Правда, что измена, или нет?

Андрей раздраженно ответил:

— Я слышу.

А сам, уткнувшись в подушку, отдался тем же сомнениям, которые мучили Кольку. Он заснул в надежде, что утро принесет ему ответ.

Но утро не принесло ответа. Он проснулся с мыслями о том, что будет с отцом, с матерью и как ему лучше поступить.

В этот день его перевели в сборочный цех. Егор Николаевич объяснил ему чертеж и показал, что надо делать. Андрея утешало, что он работает для фронта. Но на сердце было тревожно, и казалось, что он успокоится бы и перестал мучиться сомнениями, если бы очутился там, куда отправился Константин, где лучшие люди бьются с врагом.

В обеденный перерыв, когда он хотел подойти к Кольке, его вызвали из-за стола.

— Там в приемной вас отец ждет.

— Отец? Один? А мать?

★

Андрея отпустили из школы на два часа. Отец и Андрей отправились пешком к месту, где на железнодорожных путях остановился эшелон, в котором эвакуировался на восток Михаил Акимич.

Они шли, не разговаривая. Еще в училище, когда отец, увидя его, пошел к нему на встречу ссутанным, шатким шагом, Андрей шептал, что с матерью нечастье. Но спросил не сразу, боясь ответа и желая продлить хоть на короткий миг неизвестность.

— Не знаю, жила ли наша мать, Андриуша. Не удалось ей вырваться. Осталась она там одна, без меня осталась.

Андрей не стал больше спрашивать. Отец сделался ему в эти мгновения далеким. И теперь они шли скорбные — отец, убитый молчанием сына, а Андрей, мучаясь и не находя ответа, как же могло все так случиться, как мог отец допустить, чтоб так случилось.

Наконец Михаил Акимич сказал:

— Да не сгибайся так. Андриушка. Я прошу тебя, не сгибайся, подними плечи. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как тебя клонит вниз. Ты же еще мальчик, а как тебя согнуло.

— Ну, я не буду, не буду.

Андрей взглянул на отца, и ему стало жаль его.

— Ты-то тоже утрись. Не надо.

— Моя вина, Андриуша, моя вина. Как пришлось уезжать и решать, что взять, что бросить или что людям раздать, пошли попреки, что я об имуществе хлопочу. И бабушка стала говорить, что он, мол, всегда такой, что он, мол, старшего сына Константином назвал из-за того, чтоб лишние именины да мальчишка не справлять и заодно праздновать с именными матери, в день, двадцать первого мая, святого царя Константина и матери Елены. А я говорю бабушке: «Что ж тут такого? Я был тогда бедный, и надо было все это учитывать»... А Елена говорит: «Ну и поезжай один, обнявшись со своим добром». И ушла. Я справил вещи, и за ней — плакать ее. А мне уж говорят, что их несколько баб вместе шли, и бабушка с ними, в Сямочка. Я погрузил на лошадей, что можно, мчусь, думаю, дорогой подсажу, как дорого. А мне рассказывают — перехватили баб немцы и убили. Надо же быть такому случаю! Уходили-то мы в последнюю минуту.

Андрей взгляделся в отца. Отец показался ему меньше ростом, чем был, когда они расстались, при отъезде Андрея в Москву. И походка отца стала стариковской, не так тверды ноги, — волочатся, голова подалась вперед. Раньше казалось Андрею, что отец все на свете знает, что сильней отца нет человека. Теперь же Андрею хотелось помочь отцу, поддержать его и утешить. Он чувствовал, что отец совершил страшную несправедливость и жестокость по отношению к матери. Однако, признавая эту вину отца и считая ее непрощаемой, он жалел отца. Он любил его, виноватого, может быть, больше, чем тогда, когда отец казался ему во всем правым.

Андрей понял, что в его жизни начинается какая-то новая полоса.

И эту смену одной поры другою Андрей ощутил особенно резко, когда увидел на железнодорожных путях в товарных вагонах знакомых ему людей из его деревни.

Людей было множество. Но они были тихи. Это была тишина печали и усталости. И если кое-где возникал говор, то он гас, едва начавшись. Старинки сидели на бортах товарных вагонов, свесив ноги, неподвижные, безучастные. Женщины стояли небольшими стайками вдоль поезда, в беспокойном и встревоженном ожидании, как люди, которым нечего ждать. Дети, расположившись на песке междупутья, играли все в одну и ту же игру — «в эвакуацию»; это была игра мрачная: они воспроизводили в ней преувеличенно то, что окружало их.

Появление Андрея страшно пугало пелену солидности со всех. Старикки, кто как мог, соскочили с бортов. Женщины обступили Андрея, расспрашивая, умнелась, «какой он в фирме хорошенький», радуясь за него, что он «прзстрел», и соболезнуя, что стал он «вроде сиротенки». Сбескались дети и затеяли спор, военный Андрей или не военный.

Михаил Акимыч сказал: «Пыльче в ночь отправляемся дальше. Все бумажки лаечет устройства на месте я выправил и потому давай ко мне в вагон всех бригадиров сейчас же. А ты, Андрюша, побудь с земляками, побеседуй».

Несмотря ни на что, отец был все тот же, хлопотливый и деятельный. Андрей успел заглянуть в вагон, в котором помещался отец. В уголке, занятом им, были прибиты на стенке ходики (неужели ему есть надобность в пути по часам жить?). Под ходиками был прилажен столик, сложенный из плохо обтесанных досок. На столе стоял перекопидной календарь и теперь, как и всегда у отца, шипеланный заметками со знаками восклицания — что сделать, о чем не забыть, «Неужели и теперь он может и помнить и напоминать о чем-то другом?»

— Управляет все твой отец, управляет, — сказал Андрею дед Федор, — он ведь, как приехал на станцию все колхозной добро и скот, хотел — как ты думаешь? — уйти от нас в партизаны. А мы вступились. Давай за тебя двадцать пойдем, а тебе с колхозом оставаться, потому ты хозяйственный, раскладчик всякого дела, где, кому, что, как. Согласился он с просьбой мира. Сдал в порядке государству скот, сдал какие были наши снасти, получили форменные квитанции. И — что ж ты думаешь? — првехали мы в Москву вчера вечером...

— Когда вечером? — спросил Андрей, подумав, что если бы отец вчера же поторопился к нему, он встретился бы с Константином.

— Вчера вечером, после захода. А как вылез из вагона, — говорит: «В город еду хлопотать, где нам дальше трудиться». Его, значит, не выпускают из вокзала. Говорят ему, помыться в бане надо. Куда там! Прврался, уехал и в самом, говорит, комиссариате земледелия был. Дал, говорит, разрешение и где-то у Волги, говорит, нас припроят. А лю квитанции нашей где нам, скот и орудия, полностью возместят. И, говорит, дал я обещание представить государству на новом месте высокий военный урожай. Если можете это обещание мое ослышать, то поедом, а кто не ручается за себя, то

идите, бабы, девки и способные старички, на промышленное дело, там тоже, говорят, на всех работы хватят. Мы обещали ему. Хороший он, спокойный человек.

Из вагона в вагон Андрея наперебой зазывали. Он обошел всех своих деревенских. Радущны были все, и суровая тетка Матрена, и всегда ворчливый Егор, по прозвищу Вытряхай, и гордец-старик Анисим, бондарь.

Андрей не узнавал своих земляков. Как будто все друг другу стали родные в эти дни. Но вещички держали порознь, каждый свои около себя под лавкой. Деревенские холщевые мешки с вещичками были замызганы до черноты, так много пришлось им повалиться при перегрузках. Везли же по-олиданию всякое: дед Федор держал под лавкой ведро с колодезной цепью, тетка Матрена везла хомут с обломанными клещами, бондарь Анисим не захватил ничего, кроме дубовых досок для кадешек. Среди вещей были трогательно немужские: Егор Вытряхай вез скворечник («ребята говорят, — захватим с собой, может, от этого скворец за вами полетит»). Все это в Андрее вызывало воспоминания, которые посещали его неотступно с тех пор, как он уехал из деревни. Теперь все это родное как будто пришло к нему для встречи. И пришло с собой все очарование родного места. Но пришло срезанным с корня, — как сорванные с дуги цветы, и больно было видеть ведро с колодезной цепью без хорошо знакомого колодца, скворечник Егора без березы, на которой был прибит; так же, как больно видеть деда Федора в вагоне, а не сидящим на своем тесовом крыльчке, скрытом от дорожной пыли кустом бузины. Милый образ родной деревни, все стояшь и стояшь ты перед моими глазами!

Прощаясь с Андреем, отец заплакал и стал таким же, как в первый момент встречи, согбенным и посеревшим в лице. Бригадирши тоже заплакали.

— Хотел бы я дать тебе, Андрей, свое отцовское благословение. Давай троекратно поцелуемся. На какое бы дело тебя ни поставили, будь свято врен, делай без корысти. Не бесславь наше семейство.

Вслед отец прибавил:

— Константинычу передай такой же мой завет, если бы и умирать нам пришлось. Можете, — разыскивайте мать. Если отыщется след, и я сам пойду, если дело позволит. Адрес мой выпилю, когда на место доставимся. Но знайте: взяв я на себя большое обязательство перед государством в Отечественной войне — дать урожай.

★

Придя в училище, Андрей узнал, что Сергей Никифорович объявил строгий выговор Ржановой за то, что она освободила Андрея от уроков и отпустила проводить отца.

— Эвакуация Москвы началась, а он выговорами занимается,— сказал Топленый.

— У тебя, Топленый, мало мозгу,— от встлы ему Гаврюшин.

На лыжейке не было Кольки. Андрей с тревогой спросил:

— Бежал?

Гаврюшин строго посмотрел на него.

— Как это так убежал? Ты, я вижу, это из головы еще не выкинул. Смотри у меня. Кольку отпустила Ржанова с пометкой «по уважительной причине».

К вечеру у Сергея Никифоровича было созвано срочное совещание всех мастеров и учителей. Старшие ребята уверяли, будто будет разговор об эвакуации училища. Казалось, за стенами училища в городе сгустилась та самая пастороженность, какую заметил Андрей на улицах во время воскресной прогулки. И казалось, что эта пастороженность просачивается в комнаты училища сквозь стены.

Андрей был уверен, что Колька не явится и что он бежал на фронт. Но он все-таки ждал Кольку. Им предстояло в этот вечер вместе дежурить на крыше училища. Андрей вышел во двор к подъезду. Небо было чистое, но темное.

— Андрюшка, ты? Это я вернулся.

— Ну, кто я?

— Бестолковый! Конечно Колька. Своих не стал узнавать.

— Ты что, пробовал убежать и вершусь?

— Я на проводах был... У меня брат двоюродный, музыкант, в добровольцы пошел. Он премированный музыкант, а пошел. Что ты на это скажешь?

— Ничего не скажу.

Андрей был взволнован. «Вот пример»,— думал он. Но отец ведь сказал: будь верен. Значит, надо делать свое дело. А Константин? Мысли Андрея путались. Как сложно все, и каждый решает по-своему. Что же ему решить и на чем остановиться? Андрей рассердился на Кольку.

— Что ты лезешь ко мне с музыкантом? Мы с тобой не музыканты.

★

Противно завывала сирена, как будто злорадетвуя. Тревога!

— Фашист вост! — закричал Топленый. — Давай на крышу.

На крыше темное ночное небо, казалось, приблизилось, а город упал в пропасть и бесконечно удалится. Андрей послушался совета начальника поста и привязался веревкой к трубе. Ему было жутко. Колька же сказал: «Привяжусь»,— но не сделал этого.

Нападение на город произошло со всех сторон. Огненные звездочки заградительного огня вспыхивали, играли искорками, переливались и гасли в небе— то в стороне Замоскворечья, то в стороне Дорогомилова, то за Лефортовым, то за Марьиной Рощей. Залпы зениток говорили разными голосами. Удаляясь, они сливались в мягкий гул. Приближаясь, они как бы с треском разрывали небо.

Все кругом происходящее представлялось Андрею страшным, но таким же безличным, как явления природы, как гром, гроза, буря.

Но вдруг неодолимая сила со свистящим шумом подхватила Андрея, и он взлетел. И было в первое мгновение так хорошо и легко. Но велел за этим что-то очень больно дернуло его назад, и он ощутил режущую боль в пояснице и животе. Затем он увидел, что весь герот качается. Беспорядочно размахивая руками, Андрей парил на пальцы обо что-то острое, и тогда к нему вернулся сразу все ощущение действительности. Он почувствовал, как режет веревка, обмотанная вокруг пелсы и увидел, что висит и качается на привязи, немного отступая от карниза, около водосточной трубы, прикрученной к карнизу куском колючей проволоки.

Когда Андрея подтянули на крышу и он, совсем приля в себя, сказал: «Вот это да!»— раздался хохот. Это хохотал Колька. Колька долго не мог остановиться. А затем все возвращалось к тому, что случилось с Андреем, и снова принимался хохотать.

— А я не был привязан,— рассказывал Колька,— и был совсем близко от Андрея. И ничего. Я лежал около дымовой трубы и рядом положил фуражку. Так у меня даже фуражку не сдвинуло с места, а Андрюшка взлетел, как бабочка.

И Колька снова смеялся. И в этом смехе Андрей чувствовал, как сильно волновался за него Колька, и до сих пор все еще не мог успокоить свое волнение.

— Пришли? — сказал им первый встретившийся во дворе обжегития. И в этом делужном вопросе прозвучало желание сказать что-то большее и чем-то поделиться.— Вот пришли вы, а у нас беда какая, бомба-то недалеко, на бульваре, разорвалась, волной сюда махануло, во двор, а у подъезда на

дежурстве стояли девочки. И, значит, Кузьмичева...

— Липа? — ужасаясь, полушопотом спросил Андрей.

— Опа!

— Жива? — равнодушно спросил Колька.

— Не торопись. Все по порядку. Значит, и Кузьмичева среди девочек. А с ними Ржанова. И вдруг зазвонили зенитки; забегала, заматались по небу прожекторы. И услышали мы, — ну прямо над самой нашей головой, — не то скрежетанье, не то хрипенье, прерывистое такое, будто лезет кто и дышанья ему нехватает, тяжело откуда-то продрается сквозь облака. «Это немец!» Научились по звуку мотора узнавать, и Ржанова кричит: «Ложись!» — падает, за ней другие. А Кузьмичева, бедняжка, растерялась, туда, сюда и не знает, что делать. Ржанова вскакивает, прыжком бросается к ней, сбивает с ног. А тут как сверху пощипет! — разорвалось небо, земля вся содрогнулась... И когда очнулся — Ржанова лежала мертвая. Убило ее сразу... Когда она на ногах была, ее подхватило волной — и облетело... Лучше бы глаза мои не видели. Душу свою положила за свою ученицу. В одной руке ее и увезли: Ржанову, беднягу, в больницу, а Кузьмичеву без чувств в больницу, и обе в констанцию ее.

Изначаль уже рассвет. Андрей не мог спать. Он не мог даже заставить себя раздеться и прилечь. Теперь ему вчерашний день, когда он выдвинулся с отцом, казался давно отошедшим. А вечер, проведенный в вагоне приезда отца с братом Константином, стал уже далеким воспоминанием. Воскресная же прогулка перед приездом Константином и то время, когда он стоял с Липой у берега Москвы-реки, перестала казаться былью, а сам он себе представлялся в этой последней встрече с Липой наивным и смешным мальчиком. Какой же длинный путь он пробежал за эти два дня, и все продолжает еще бежать, и не знает, где остановится.

Андрей долго так просидел, не ложась. Мысли о Липе его не покидали: скорее бы узнать, что теперь с нею. Его уже не занимало, что о нем могут подумать, и не пугало, что он обнаружит свои чувства. Но еще больней, еще острей среди этих мыслей встала тревога за мать. Будь бы крылья, — лететь бы к ней! Узнать бы! спасти бы! Где она? В каких она бедах бедует? А он здесь, далеко от нее, он прикован к месту. Что же, что делать ему? Бежать на фронт — изменить училищу; а оставаться и учиться — не хуже ли?

Утром он решил просить Егора Николаевича разрешить ему отлучиться в больницу. Но Егор Николаевич в это утро особенно был угрюм. И Андрей сначала посоветовался со старостой Гаврюшиным. Гаврюшин рекомендовал потерпеть: «Егор Николаевич расстроен, ты сам видишь, все взбудоражены, а Веселов требует, чтоб выполняли фронтное задание. И жучит мастеров. Просись лучше после обеда, перед классами, от классов освободят. Но Андрей не послушал совета старосты. Ему трудно было заставить себя дожидаться окончания работы в мастерской. «Гаврюшин молодец, — подумал Андрей, — хоть и на два года старше меня. Пережил бы он, что я пережил за эти два дня, он пошел бы, а Егор Николаевич умный и он поймет».

Егор Николаевич, выслушав Андрея, сказал:

— Время другое не нашли для разговора. Яблонев? Сколько раз вам повторять, что перед началом работы человек должен быть свежим и умытым и с незаостренной головой... Учитесь заводить себя с утра на ровный ход. В мастерской будьте веселый, спокойный. Огорчаться можете дома.

Андрей возмутился, но, сдержавшись, не сказал проговорившихся на языке слов о безостренности.

— Без разрешения директора не могу и обсуждать такие вопросы, — заключил Егор Николаевич.

Андрей отправился к Веселову. Отвечая на поклон, Веселов взглянул на часы, очевидно, проверял, каким временем располагает до работы Андрей.

— Нет, — отвечал он, выслушав Андрея. В объяснение причин отказа он добавил: — Не нахожу возможным.

Андрей повторил просьбу.

Веселов сухо сказал:

— Будьте готовы приступить к работе.

— А после мастерской, товарищ директор, разрешите отлучиться во время классов?

Веселов так же сухо повторил:

— Не нахожу возможным. Сейчас нужно всем нам, больше, чем когда бы то ни было, точно выполнять то, что поручено. О здоровье вашей землячки я прикажу добыть сведения к обеду по моему перерыву. Идите к своему делу.

Андрей отправился в цех, не слыша, не замечая ничего кругом и ощущая только одну свою горькую тревогу.

— Вся Москва вверх дном, а у Веселова все в штучку и по часам, как будто ничего не случилось. Возьми, пацан, ему и убеги. — сказал ему Колька.

Как только Андрей включил стапок, внимание его сразу оживилось. Ритмичный, ровный тихо шелестящий ход станка успокаивал Андрея. Он старался сосредоточиться на работе, на приточке и пригонке деталей. «Наверное, все думают, что я убегу, а я возьму и не убегу». И ему очень нравилось думать, как он научился держать себя в руках и как он теперь в тяжелом душевном состоянии может заставить себя хорошо работать. Ему казалось, что он теперь способен на самый трудный подвиг.

И вдруг над ухом у него раздался голос Егора Николаевича:

— Так залопотать можно только парочко. Что же это вы стачиваете-то по живому месту? Это так-то вы поступаете с фронтовым заказом?

Андрей остановился потрясенный, — как это так: в то время, когда он был уверен, что владеет собою, он оказался во власти своих огорчений? И чем он мог оправдать себя? Ничем.

— Я прошу, Егор Николаевич, разрешите мне самому исправить.

— Исправляйте. Но я наложу на вас строгое взыскание. И на линейке придется говорить о вас.

Сзади них появился Веселов, вошедший в цех по своему обыкновению внезапно и бесшумно. Он все слышал и видел. Веселов сделал знак всем продолжать работу. А сам стал молча наблюдать, переходя от одного ученика к другому и подолгу останавливаясь около каждого. Андрею он заглянул в самые глаза. И взгляд его показался Андрею мягким и ласковым. Отходя от Андрея, Сергей Никифорович чуть заметно коснулся его плеча и потрепал как будто ободряюще, но ничего не сказал. Когда прозвонили окончание работы, Веселов снова подошел к Андрею:

— Нам сообщили, что Кузьмичевойлучше. После классов будете отпущены в больницу на два часа.

После классов Андрею пришлось пережить тяжелую линейку. Затем его задержали на ужине. И только после ужина он получил разрешение на отлучку. От ужина Андрей привернул для Лины яблоко и три сладких баранки.

★

Уже стемнело, когда он подходил к больнице. У двух подъездов стояли вереницы тяжелых санитарных автобусов.

— Кузьмичева? Олимпиада? Из ремесленного? Так это пятнадцатая палата. Эка хватились! Где же вы были раньше? Пятнад-

цатую, пожалуй, с час будет, как погрузили. Эвакуация же, голубчик.

Андрею удалось узнать, на какой вокзал отправляли больных. Приехав на вокзал, он с трудом добился справки: «Санитарный? С больными из городской больницы? Четверть часа тому назад отбыл по Окружной и далее к месту назначения. Буда? Это — секретно, справок не дается».

На одной из улиц Замоскворечья Андрей увидел плотную толпу людей, теснившихся к подъезду большого здания. Из вестибюля виднелся слабый свет синей лампочки.

— А это запись в добровольцы. Мосьву защищать. Да этак все хотели бы без очереди. Вы с работы? А мы все с работы. Ну и народ же, вылают, как черти. Соблюдайте же очередь.

Время отлучки Андрея истекало. «Вот случай, — подумал он, — а что если мне не вернуться в училище? Без лишних разговоров?» — И машинально Андрей встал в хвост одной из длинных очередей.

Но в душе его оставалось еще какое-то сомнение, правильно ли он поступает. И он с застенчивостью слушал своих соседей, которые весело и бодро разговаривали о всяких посторонних вещах.

Подумав, Андрей пришел к мысли, что думать нечего и что все раз навсегда ясно. И Андрею стало легко и весело, как только он утвердился в своем решении.

Он спокойно вышел из очереди и торжественно зашагал в сторону училища.

— Эй, приятель, что ж ты? Куда ж ты? — крикнул кто-то в догонку. Раздался смех: «Уже повоевал — и будет». Но Андрея это все не смущало. У него была уверенность, что он придет сюда сюда и что никакая сила его в этом не остановит. Но он был связан с Большой створом жгги вместе в добровольцы. Не может же он бросить товарища одного. А затем Веселов. Не может же он обмануть Веселова. Ведь Веселов станет смотреть на часы, когда подойдет срок отлучки Андрея. Если Андрей не ляжет, он с грустью скажет: «Я не ждал от вас этого, Яблонев».

Андрей вдруг остановился, как от влупченного толчка. Он переходил через Камешный мост. Перед ним высоко на холме под смутным бегущим небом стоял величавый, непоколебимый Кремль. Из-за облаков чуть-скользнул лунный луч, и сразу все окна Большого Кремлевского двора на мгновение вспыхнули сиянием. И почудилось, будто откуда все видно, и видно, что делается в душе Андрея.

Андрей оглянулся назад: никого. И вперо-

ли безлюдно. Сердце его горело. Он сделал шаг вперед и преклонил одно колено, как делают, присягая перед знаменем. Но сейчас же, застыдившись, быстро встал. Губы его прошептали: «Буду верен».

Андрей вернулся в училище в назначенное время.

★

Прошла ночь. А затем наступило злоещее утро. Его никогда не забыть Андрею. В рассветной полутьме, когда еще не успевали свет, радио объявило: «Наше положение на фронтах ухудшилось. Противнику удалось прорвать нашу линию обороны...» Андрей, слушая, чувствовал только, что руки его дрожат, не повинаясь ему и никак нельзя остановить эту дрожь.

И как будто в этот день перевернулась одна страница жизни, чтоб никогда снова не возвратиться, и открылась новая, начинающаяся ужасом и содроганием за судьбы родины.

Но пути из общежития в училище Андрей увидел, как город со вчерашнего дня стал иным. Несмотря на ранний час, улицы были наводнены народом. Вчерашняя сдержанность исчезла. Незнакомые разговаривали друг с другом, как будто только перед этим прервали разговор и теперь возобновили его. Старик, несший на плече узел, завязанный в «каскет» с телятами и бахромой, сбросил попку на тротуар перед самым Андреем и сказал ему: «Нет, со стороны Москва его не чувств. Он теперь норовит проскочить через Дмитров вдоль канала. По мостовой ползла вереница грузовых машин и на них с унылым однообразием женщины, дети, закутанные в одеяла, в тулупчики, а по бортам узлы, чемоданы, чемоданы. Не сразу же населенно уезжало.

Андрей подошел к Кольке: «Давай отстанем. Есть к тебе словечко». Они оказались в самом хвосте колонны.

— Ну, как ты? — спросил Андрей дрожащим от волнения голосом и уже решив про себя, что он уйдет в добровольцы.

— Разуй глаза. Не видишь, делается-то что... — отвечал Колька.

Они свернули в переулок. Андрей повел Кольку в Замоскворечье к тому зданию, где он накануне вечером видел очередь добровольцев.

«Значит, опять сорвался, — подумал Андрей, — нехватило выдержки на объяснение с Веселовым. Ну и пусть».

Перед зданием была все такая же густая толпа, как накануне вечером. С улицы были открыты четыре подъезда и в каждый непрерывным движением втягивалась очередь. И таким же неиссякаемым потоком

толпа выливалась из здания через подъезды, выходящие в переулки.

— Мы в добровольцы записываться, — протискиваясь в один из подъездов, сказал Колька. Он, как москвич, принял на себя руководство Андреем. Их не хотели пропустить без очереди.

— Мы тоже не по грибы пришли и не в бабки играть. Все за тем же делом. Станьте в очередь.

Но вмещался какой-то знакомый Андрею голос:

— Да пусть становятся к дверям поближе, чего им на сырости злобнуть.

Андрей потянулся сзади за плечо, и тот же голос сказал:

— Становитесь здесь передо мной. Со своим будете.

Андрей оглянулся. То был отец Гаврюшина.

Со стариком Гаврюшиным «записаться к санитарки» пришла и его жена. Она была в той же кружевной косынке, как ее видел Андрей на воскресной прогулке.

— Мы записываемся всей семьей, что на что окажется годен. Вот эти две барышни, — познакомьтесь с ними, — наши ратные дочки, эбо мечтают в пулеметчики попасть.

Старик Гаврюшин был в приподнятом, возбужденном состоянии. Ему все время хотелось говорить. В толпе он то и дело упоминал своих знакомых и товарищей, он оживлял, его оживляли. Как на прогулке в воскресенье, он рассказывал безумному о встречавшихся достопримечательностях Москвы, так теперь покаяния Андрею и Кольке:

— Вот этот в рыжей кепке, — наш токарь Быстров, а вот девушка — кандидат наук. А этот, что морковку грызет, — агроном, сосед пап по квартире. Слева от него, пожалуйста, совсем не военной специальности гражданин, из акушеров. А тот, пожелтой, грузин по облику, — Анатолий Эрстыч, из правления треста, в прошлую германскую войну на юго-западном фронте был вместе со мной. А вот тот в очках.

— Да перестань ты, всех не перечтешь. — прервала старика жена.

— И ты, — сказал Гаврюшин, — кого тут только нет, все явились, все встали.

Андрей и Колька быстро очутились внутри здания. Записывал их молодой паренек с орденом на груди. На столе перед ним лежали костыли, лицо выражало торжественную взволнованность. Каждому из записавшихся он говорил:

— Спасибо, товарищ. Счастливо вам.

Андрею и Кольке он «дал направление» в штаб воинского добровольческого соедине-

жня. Они отправились через город на Ленинградское шоссе.

Колька снял:

— Вот они, путебочки, в руках. Теперь укуси-ка нас с тобой — мы добровольцы Красной Армии. А ты в первый же день знакомства со мной поцался. Я ведь вот из-за чего о школах тогда так говорил. Я угалал тебя сразу и сказал себе: «Вот это мой парень». Так оно теперь и вышло. А все-таки я тебе тогда здорово всыпал.

— А не я тебе?

— Ты мне? Ничего похожего.

— А кровь носом?

— Ну, это у меня на нервной почве, — очень я на тебя обозлился. Я как обозлюсь в драке, так кровь носом на нервной почве, спроси докторов, честное слово.

Андрей шагал по улице уверенным шагом. Теперь, когда определилось его место в совершающихся огромных событиях, он сделался спокоен.

В штабе первым «проходил прием» Колька. Определив и записав все полагающиеся сведения, его отправили на освидетельствование. Когда подошел Андрей к столу, кто-то сказал: «Красивый паренек и сложен хорошо». Андрей улыбнулся и стал весело отвечать на вопросы. Но неожиданно для него вышло все не так, как с Колькой. Когда он ответил, что ему пятнадцать лет, спрашивающий удивился: «Как? Всего пятнадцать? Зачем же вас сюда прислали?»

Андрею сказали: «Подождите». Спрашивающий Андрея поднялся с места и направился вон из компании.

Вскоре Андрея позвали в соседний кабинет.

— Это вот и есть Яблонев Андрей, товарищ комиссар, — сказал тот, что спрашивал Андрея.

Комиссар обратился к Андрею:

— Зачислить вас в ряды Красной Армии мы не можем.

— Почему? — спросил Андрей.

— Вам пятнадцать лет всего.

— А Потехина приняли?

— Потехин старше вас на два года! — Комиссар встал и протянул руку Андрею. — Не огорчайтесь, Яблонев. У вас много еще впереди, я хочу позжать вам руку и пожелать, чтобы вы и впредь в вашей жизни руководились такими же высокими чувствами, которые вас привели сюда.

★

Андрей вышел на улицу. Навстречу промчался грузовик. На нем, держась друг за

друга, плотной ватагой стояли девушки с лопатами и громко пели песни. «Едут рыть окопы», — подумал Андрей. На повороте к площади дорогу Андрею пересек марширующий по-военному отряд добровольцев, еще не передетых в военную форму.

Машины длинными веренищами катились с людьми и грузами туда, за заставы, где чувствовалось в тревожной близости напряжение развернувшейся великой битвы за столицу.

Андрей пошел без цели, не зная еще, что ему предпринять. Он шел и шел. Он всматривался в город и чувствовал биешие его жизни и его готовность к смертельной схватке, если враг посмеет вступить в его пределы.

Чем дальше брел Андрей, тем больше убеждался, что он поступил правильно, записавшись добровольцем. Но вдруг он вспоминал, что ведь его не приняли. Вспоминал и тут же опять забывал про это. И снова чувствовал свою сближенность с отрядами, маршировавшими по улицам, и с теми людьми, которые в оружейных лопатах, ехали рыть окопы. Пусть его не приняли, пусть ему невозможно — надо бы вернуться к отцу и ученицу, потому что, казалось ему, он остался учеником, пусть он останется на войне, пусть его покинут даже Колька, сам только оказался счастливой его, пусть так, но он не чувствует себя одиозным. Его сердце бьется заодно со всеми.

Андрей направляется снова в Замоскворечье к тому зданию, где он записывался в добровольцы. Он идет туда с спокойней уверенности, что место и дело для него в защите Москвы найдется.

Он подходит к тому же столу, где сидит паренек с лицом, выражающим торжественную взволнованность, подходит и рассказывает, что с ним случилось в штабе. Он говорит спокойно. Но, повидимому, это ему только так кажется, что он спокоен, потому что торжественная взволнованность на лице пареня сменяется встревоженным состраданием. Паренек берет со стола костыли, с трудом приподнимается и ведет Андрея куда-то далеко, по коридору и на ходу рассказывает: «Тут есть одна организация; может быть, ты им пригодиться».

Паренек оставляет Андрея в коридоре, а сам скрывается в дверь, на которой написано: «Вход строгойше воспрещен».

Наступает для Андрея тишина. Но он вслушивается в эту тишину. Однако дверь так плотна, что не пропускает ни звука.

Наконец Андрея просят войти. Он входит. Кругом лиц много, но он плохо различает,

кто перед ним. Его спрашивают: как зовут, сколько лет... Ему кажется, что вот-вот сейчас все хорошо решится. Но вдруг в комнату входит кто-то, — кажется Андрею, кто-то знакомый... Где-то Андрей видел эти глаза... видел не раз... Кто же это? Не из училища ли? Не во сне ли все происходит? Вошедший называет номер училища и спрашивает: «Не Яблонев?..» — Вглядывается в Андрея: «Так и есть, Яблонев...»

Теперь Андрей припоминает: это организатор молодежи из его училища. Комсорг спрашивает, зачем Андрей здесь, когда в училище идет работа. И теперь Андрей уже знает, что его сейчас же отшлют обратно в школу.

Однако комсорг не торопится отсылать его. Задумавшись и как будто что-то вспоминая, он говорит:

— Позволь, позволь: Яблонев, Яблонев... Ты родом-то откуда? Кажется, западной Москвы?

Андрей сообщает, из какого он района. И все присутствующие почему-то, — непонятно это Андрею, — начинают перегибываться, выгибаться. А когда он называет свою деревню, то сразу несколько телосов радостно вскакивают:

— Наконец-то!.. Вы именинник... Как раз то, что надо... В замке торжеству!

Комсорг велит Андрею выйти и подождать. Выходя, Андрей слышит, как комсорг говорит: «Обсудим. Заманчиво. Но я не решился бы связаться с Веселовым».

Андрей садится в коридоре на скамью. И ждет. Ждет долго. Очень долго. Тянутся длинные минуты. А дверь закрыта плотно и не пропускает ни звука. Что-то там про него говорят, что-то решают? Сердце бьется. Хоть бы мелочь какую уловить, хоть бы вышел кто или вошел бы, раскрыл бы дверь, догадаться бы, к чему склоняется дело.

И вот дверь открывается. Что-то будет! Да, это его зовут. Он поднимается. Он идет медленно, ровно, спокойно. И вот ему объявляют, что ему поручат важное дело в тылу у немцев. Где в тылу? В его родной деревне. Его спрашивают, чувствует ли он себя способным на это дело. Он отвечает, что хочет и способен. Его посвящают в подробности. А дело требует срочности. Ему дают все нужные наставления. Его снабжают всем необходимым для горючего дела.

Когда отправляться? Да, дорога каждая минута; если он готов, то ему надо только хорошо поесть, выспаться и ночью отправляться. Остались ли у него какие-нибудь не-

доделанные дела в Москве? Когда ему задают этот вопрос, он твердо отвечает:

— Да. Есть недоделанное дело.

Он мгновенно колеблется.

— Директору училища сказать бы...

Опомившись, Андрей спрашивает самого себя, зачем ему нужен Веселов. Ведь все решено. Но он не может уйти на высокое дело, таясь от тех, кого он любит.

— А вы, Яблонев, возьмите телефонную трубку и поговорите с директором сами.

— Только не сам... Скажите ему вы...

Звонят к директору. Вот уже соединились, вызывают, говорят с ним. Андрею кажется, что он слышит голос Веселова. Сердце бьется.

— Яблонев, возьмите трубку. Товарищ Веселов желает, чтоб вы сами говорили с ним.

Андрей подходит, берет несумело трубку, она скользит у него из рук. Ему говорят, чтоб он повернул ее, что он не так держит. Но Андрей уже слышит голос директора:

— Я все знаю, Яблонев. Что вы хотите мне еще сказать?

Первый раз Андрей называет Веселова Сергеем Никифоровичем.

— Простите меня, Сергей Никифорович, я не убедил вас школы, не знаю, как это вышло... ноги сами вошли...

Веселов смеется.

— Я... Сергей Никифорович... я люблю училище, честное слово. Вы не думайте про меня, что не люблю... и еще тоже люблю...

Но у Андрея замирает дыхание. Он не решается сказать, что полюбил и Сергея Никифоровича, и Егора Николаевича, и всех, кто его учил и кто с ним вместе учился, даже Топленого он, кажется, в эту минуту любит.

Веселов говорит:

— Ничего, ничего, Андрей. Я тебя отпускаю, я даю тебе разрешение на временную отлучку...

Это тоже первый раз, что директор называет его Андреем и говорит ему ты. Андрей начинает часто мигать, чтоб успокоить волнение и чтоб не случилось чего на виду у тех, кто поручил ему важное дело. Он не знает, что сказать директору, и повторяет только:

— Сергей Никифорович, Сергей Никифорович...

Веселов говорит:

— Будь счастлив, Андрей... Училище сегодня ночью уезжает на восток. Дай мне слово... Ты слушаешь, Андрей? Ты, кажется, волнуешься? Спокойней, спокойней. Надо дер-

жать себя в руках... Ты идешь на большое дело. Выполни с честью то, что тебе поручено. Будь верен родине, что бы ни случилось. Дай слово: будешь?

— Буду, буду.

— А когда отстоим Москву, вернешь учиться. Вернешься?

Андрей молчит. Затем твердо говорит:

— Вернусь.



Перейдя благополучно через фронт, Андрей подходил к местам, которые становились, чем больше он подвигался, все знакомей ему и знакомей. Уже смеркалось. Еще два-три километра, — перебраться через сухой овраг, пройти через светелный недавно лес, там берег реки, там на откосе любимая ветла, а дальше за орепшиком покажутся крыши родной деревни. О, как бьется сердце!

С темнотой начинал забирать морозец. Лес, еще не отвыкший от летнего тепла, зябко трепетал на холодном ветру. Листья под ногами были уже черны и не шелестели. Осеннее опустошение казалось Андрею поразившим природу внезапно: уезжая из этих мест около двух месяцев тому назад, он оставил поля и лес в багряно-золотой пышности.

Приближаясь к реке, Андрей взял веревку на полметра в сторону от моста. Он получил наставление обходить мосты. Перейти через лавы у извины не удалось: лавы были разобраны и тут же разметаны. Андрей пошел к броду. Брода не оказалось. Куда же он делся? Ведь все другие приметы были налицо. Спиряд разворотил берег и сделал на месте брода уродливый бочаг. Немного же выше по течению срезало круглой откос и завалило омут. На узкой быстрине Андрей перескочил реку там, где раньше была ширь и глубина.

На том берегу паверху зачернела ветвистая громада ветлы, андреевой ветлы, любимой. Взрощка перед срезанным откосом. Как здесь разворочена земля!

У ветлы оказалась обнаженной вся сторона корневища, обращенная к реке. Земля под корнями обвалилась. Дерево держалось как бы в полувисячем положении. Андрей приелонился к стволу и приложил щеку к седым расщелинам коры.

В сероватой дымке тусклого неба скользнул острый луч звезды. Мысли Андрея мешались как в лихорадке. Может быть, ему придется умереть этой ночью, а он так много не видел, не знает, не испытал; ему так жалко себя, его глаза умеют видеть, его ум

чувет все отгадки, его сердцу все родное и все любимое. Андрей обернул лицо к полю и раскинул руки по ширине ствола. Вот оно перед ним поле, небо и просторы ветров. Какое счастье наполняет его в этот миг вместе с думами о смерти — о счастье, неисяснимое, сладостное и горюе. Откуда оно вдруг появилось в нем при этих думах? — От них же, от этих дум. Оно возникло с ними нераздельно. Это — счастье от преодоления страха смерти в себе самом, от ощущения своей власти над самим собою.

Андрей шагал по полю к орешнику. Ему захотелось сразу же приступить к делу. Но он вспомнил наставления: ни в каком случае не торопиться, без толку не горячиться, а особенно не забывать делать каждый раз хорошую разведку и доводить ее до конца.

Перед тем как войти в деревню, он встал и запаял в одну из своих гранат.



Немцы не строго соблюдали затемнение: кое-где были видны огни. Андрей прежде всего определил расположение новой машинно-тракторной станции с ее гаражами и хранилищами для горючего. Там было больше всего освещенных точек и издали чувствовалось людское движение. Андрей прикинул, откуда можно было бы незаметней приблизиться к хранилищам горючего, не рискуя попасть в полосу света. Лучшее место было захватить с того края, где стоит изба Алексея. Но свет потянуло к своему дому. Он пойдет по деревней, а обойдет далеко задками. И он сказал себе, что это не противоречит полученным наставлениям, — разведка должна быть исчерпывающей: надо исследовать всю окружающую обстановку, откуда зайти, куда отходить после дела, где, если подойдет случай, укрыться. Наставление предписывало ему с одинаковой обязательностью два дела: во-первых, взорвать и вызвать пожар организованного немцами в деревне опромного склада горючего и, во-вторых, уйти после взрыва, не попав в руки врага. Было еще третье дело, которое он положил себе сделать, — получить сведения о матери. Может быть, она невредима, и он сейчас увидит ее. Может быть, вдруг сейчас в темноте он наткнется на прохожего, он отскочит: что-то покажется ему в этой тени близкое, — да это же мать! Он окликнет, тихо-тихо скажет: «мама!» А она узнает его, но сразу не поверит и переспросит. Нет, он, пожалуй, не окликнет ее, — ведь могут услышать, и тогда он не выпол-

нит своего дела. Лучше он пройдет, не подав никаких признаков. Он только про себя скажет ей вслед, только про себя: «милая мамина».

Не доходя до сарая деда Федора, Андрей вдруг увидал свет в окне своей горницы. Ему захотелось взглянуть поближе. Он рассчитал, что лучше всего подползти от пруда по канавке, шелшей в огород.

Вот и пруд. Андрей залез за бугром впе «священной» полоски, протянувшейся от окна. Сирень перед домом срублена. И нет скамьи под окнами. У крыльца часовой. Ходит. И еще один, — вышел из-за дома от сада. Один другому что-то сказал. «Не заметили ля меня?» — подумал Андрей. Нет, — все тихо опять. В горнице мелькнула какая-то тень. А может быть, это мать? Может быть, она вернулась в свой дом? Ах, если бы опять появилась та мелькнувшая тень, — не успел Андрей хорошо ее различить. Он ждет, — тень, наверное, вернется. Вот он как будто узнает свои расписные полати, которые сам выкрасил в поднебесную краску. Но, нет, ему показалось только. Это бревенчатая стена у печки. Полатей нет. Зачем же они полати-то сломали?

Тень вернулась: это немецкий офицер. Он не один. За ним вошли еще трое. Рассаживаются вокруг стола. Один садится на любимом месте Андрея, другой на место матери, а третьему пододвинули кресло. Откуда это кресло? У нас такого сроду не было. Тот, что сел на место матери, что-то пишет. Показывает другим. Бросил грязную перчатку на стол. На этом столе мы обедали... Смеются. Хохочут.

Андрея охватила ярость. Чего смеетесь? Где ты сидишь, поганая свинья? Ведь здесь сидела моя мать.

И как бы в ответ Андрею немцы все четверо еще сильнее затряслись от хохота. Тот, что писал, протянул бумагу сидевшему в кресле и положил перед ним. Немец в кресле хотел было взять перо, но закачался и замахал рукою, как будто отгоняя смех, с которым ему невозможно справиться. Наконец он взял перо и, повидимому, подписал положенную перед ним бумагу. Открылось окно наружу, и один из четверых позвал солдата. Бумага вручается солдату. Солдат уходит. Слова смех.

Солдат идет к столбам, врытым перед крыльцом, и прилепляет бумагу к доске. «Заготовили с ночи какое-то объявление, — подумал Андрей, — а доски на столбах у нас не было. Это они врыли столбы и повесили доску».

Война представилась теперь Андрею не как

безличное явление, вроде явлений природы — грозы, бури, грома, какой она представлялась ему до сих пор и даже в ту ночь, когда он был подхвачен взрывной волной с крыши и повис у карниза на веревке. Нет, — этот хохот, эти довольные собой чужие люди, расположившиеся в его родном доме... Андрей окаменел. Он весь сжался и застыл в одном чувстве, чувстве крепко кремня.

Когда часовой наклеивал бумагу на доску, другой солдат завернул за угол к саду, и перед окнами не стало никакой охраны. «Сейчас броситься бы — дело одного мига, и я у окна, а там шварк гранату в них, — подумал Андрей, — но нет, крепись, Андрей, никаких вепьшек, умей ждать, время еще не пришло».

Андрей пополз от пруда назад. Небо стало темней. Выйдя к задам, Андрей направился к дому Аксиньи. Он чуть не сбился с пути: исчезла изба Егора Вытряхая, вместо нее зияло пустое пепелище. Приблизившись, Андрей разглядел, что сгорела и бореза, на которой был шест со скворешником. Андрей влекло дальше к окнам Аксиньи. Он видел в воображении солнечное воскресенье, последние мгновения перед тем, как он узнал, что началась война, видел Липочку в белом шелковом платье, с розовыми лентами в косах. Андрей подкрался ближе к самой стене аксиньиной избы. Может быть, он узнает, от Аксиньи о матери. Андрей долго ждал. Наконец решился. Тихонько постучал в ворота со стороны усадьбы. Ответа не было. Андрей рискнул подойти со стороны улицы. И так же тихо постучал в окно. Ответа опять не последовало. Андрей постучал сильнее. Подождал, но все было беззвучно.

От избы Аксиньи недалеко до складов с горючим. Андрей решил пройти еще несколько шагов, а затем лечь и ползти. Подходила теперь страшная и решающая минута. Андрей заставлял себя смотреть в темноту во все глаза и слушать тишину всем своим существом, а мысли собрать только на одном, только на том, что предстоит ему сейчас сделать. Он улыбнулся, сказав себе: «Сколько раз вам повторять, Яблонов, что перед началом работы человек должен быть свежим и умытым, и с незазорной головой». Милый, родной Егор Николаевич! Заведем себя «на ровный ход», «не будем волноваться»!

Андрей скользнул и еле удержался от падения куда-то вниз. Что это такое? Да это глубокая яма. Как же это так он забыл и не узнал места: ведь это хорошо знакомая ему с детства яма. В ней у самого дна открывалось углубление, идущее в бок. Ребята

называли это пещерой и любили там прятаться.

От ямы совсем уж стало близко к складам, и Андрей отсюда пополз.

На пути, наконец, встретилась точка, в которой он полз и которую наметил в мыслях еще в Москве, когда ему рассказали, в чем будет поручение. Эта точка была разваленная погребница, давно заброшенная. Здесь тоже игрывал Андрей в детстве. Шагах в десяти от погребницы должна быть канава, ров, идущий вокруг расположения складов машинно-тракторной станции. А дальше, шагах в двадцати от рва, будет перед оврагом обрывчик: около группы цистерн, отнесенных ближе к лесу. Там между цистернами и обрывчиком нет прохода, потому что обрыв прилегал непосредственно к цистернам.

Андрей прижимается к стенке погребницы, совершенно слившись с ночной тьмой, — он закрыл краем соломенной застрехи.

Андрей лежит здесь долго и наблюдает. Так оно и оказалось, как он предполагал: часовые в этом месте не встречаются, — и с той, и с другой стороны часовой доходит до места, где обрывается тропа, и поворачивает назад. Между часовыми всегда остается неконтролируемое ими пространство шагов в двадцать, и если набраться терпения, то в этом месте можно проползти незаметно к самой цистерне и выиграть какие-то минуты для броска бутылки с самовозгорающейся жидкостью, когда оба часовых, и с той, и с другой стороны, будут возможно дальше. Андрей уже уловил, с какими промежутками часовые уходят и опять возвращаются.

Андрей готов действовать. Но вдруг его глаза открывают нечто новое, незнакомое: неподалеку от того места, где ему предстоит перебраться через ров, он различает легкий мостик для пешеходов, настолько широкий, что могут идти в ряд трое-четверо. Раньше здесь мостика не было. Может быть, немцы ходят здесь на деревню.

Андрей лежит долгое время весь в напряжении и сторожит окрестность и часовых. К мостику никто не идет ни от деревни, ни от складов. А часовые с одинаковой равномерностью то удаляются, то приближаются к месту, где обрывается тропа у цистерн. Андрею холодно, однако дрожь у него больше от волнения, чем от холода. Он устал, и в возбужденном мозгу все время действительность мешается с воображением, а нужное с ненужным. То ему кажется, что он делает чертеж по приказанию Егора Николаевича; начертит канаву, цистерны, мостик и не знает, как начертить часовых; они качаются как

маятник, и он прерывистой линией обозначает на чертеже их движения от одной крайней точки до другой. То чертеж исчезает в его воображении, и Андрей следит: когда на бежит точка на звезду и когда снова ее приоткрывает. И загадывает, что как только приоткроет, то надо приготовиться на выстрел. И глать, — Егор Николаевич берет заготовленный им чертеж и сердится: «Как же вы будете делать сборку по такому чертежу, часовые это гайки, а они у вас болтаются». И Андрей говорит: «Но ведь это же не сборка, Егор Николаевич; сейчас решается вопрос о моей жизни, если что не так, то я погибну, позвольте же мне еще раз перечертить». И Андрей спрашивает себя: если бы паново решать, пошел ли бы он теперь на это дело, когда так близко ощутил страшную опасность? «Я ведь сейчас один, на всей земле. Один, в тишине. Никто меня не видит, не слышит, и никто на свете не знает, где я сейчас лежу и о чем я думаю. Признаюсь себе во всем». И Андрей отвечает: «Все равно пошел бы, если бы даже семьдесят семь раз сызнова начинать и семьдесят семь раз можно было бы отказаться».

Но вот момент кажется ему подходящим: надо выползти и трогаться ко рву. Чтоб не быть застигнутым врасплох, Андрей решает представить себе в воображении все случайности и опасности, какие могут внезапно на него обрушиться. Но, нарисовав себе все, что с ним может случиться, он отвлекается и решимость его слабеет. Когда надо тронуться вперед, он медлит. Нет, — говорит он себе, — таких вещей не надо делать, надо идти, не думая о последствиях.

Но вот, наконец, он ни о чем стороннем больше не думает, кроме дела.

Андрей выползает из своего прикрытие. осторожно приближается ко рву. Когда же он спускается в ров, то со стороны деревни слышатся шаги. Шаги приближаются к нему все ближе, ближе. Слышны уже голоса. Да это немцы! И они идут к нему. Видно, как они то и дело освещают фонариками тропинку. Что же предпринять? Ускоряя движение, Андрей ползет по канаве к мостику и быстро скрывается под ним. Над его головой прошумели шуршащие шаги немецких ног. И ему подумалось, что это прошли те четверо, которые хохотали у него в горнице. А затем он слышал смену караульных. Потом забегал прожектор.

И так до утра Андрею не представилось возможности вылезти из своего укрытия.

Как только стало светло, все наполнилось кругом немецким говором, выкриками коман-

ды, шумом заводимых моторов, лязгом железа. Андрей прижался под самым краем мостика.

Начался долгий день. Андрей угадывал жизнь деревни, как слепой чует окружающую жизнь. В звуках, доносившихся до Андрея, не было ни одного из обычных для его родной деревни: на рассвете он не слышал рева скота, гоготанья гусей, криканья уток, кулаханья кур, торжествующих веериков петуха, веселой переключки псов, скрипа телег, ржанья лошадей, смеха девушек, свиста мальчишек. Доходившие до Андрея звуки были глухи, отрывисты, безрадостны, черны.

День влачился, иногда как будто останавливаясь. И за все долгие часы — ни одного звука радости. Даже ни галок, ни ворон, ни воробьев не слышал Андрей.

Только в стороне складов не утихал хлопотливый деловой гомон.

Когда наступила новая ночь, Андрей решил не медлить и выползть скорее. Но его тело плохо повиновалось ему. Потому ли, что все члены одеревенели от долгой неподвижности за целый день, или от того, что ему пришлось бесплодно прервать свой вчерашний первый подъем. Но накануне, сделать дело сразу, было для него легче, чем теперь подняться на то же во второй раз. Это также, как было в детстве, прыгать с высокого обрыва в воду, первый прыжок делался сам собой, с разбегу, не думая, хоть и с замираньем сердца, а второй и третий — были самые трудные.

Впрочем, трудно было только выгнать голову из-под моста и вылезти наружу. Когда же он оказался под открытым небом, к нему вернулся сила и решимость. Но надо было заставлять себя не горячиться и не торопиться.

Лежа во тьме на сырой холодной земле перед решающим прыжком, он вдруг неожиданно для себя вспомнил об училище. Ощущение счастливого прошлого, как дальний ветер, приходящий издалека, коснулось его. Ему вспомнилась сладость физической усталости после рабочего дня; вспомнилось довольное и гордое состояние, когда любуешься сделанной твоими руками вещью, вспомнилось ощущение удавшейся работы, веселое и приятное. И на мгновение так ясно все представало перед ним: и мастерские, и классы, и радости, и огорчения, испытанные в училище. И все показалось хорошо, и даже трудно было сказать, что лучше вспоминать: радости или огорчения.

Андрей подполз к самой цистерне и, выбрав момент, когда оба часоые были по возможности дальше от него, — он изо всех

сил бросил зажигательную бутылку, метаясь так, чтобы попасть вверх в крышу цистерны. Он сейчас же услышал шинель. Но не на цистерне, а дальше. Очевидно, он бросил бутылку слишком далеко. Показалась вспышка за цистерной. Послышался крик Вспышку, очевидно, погасили. Над головой блеснула свет электрического фонаря. Часовой заметил Андрея. Андрей вскочил. Бежит. Выстрел. Пролетает пуля около головы. Какие-то снова крики, повидному, приказывают не стрелять, а брать живьем. Несколько немцев бегут на Андрея. Отступление ему отрезано.

Андрей бежит прямо на своих ловцов. «Брошу гранату!» Но вдруг иная, мгновенно озарившая его мысль: Андрей делает крутой поворот и бросается в ту сторону, где никто не слухит на его пути. Но что же он делает? Он ведь вбегает в ограду, внутрь расположения врагов.

Не успели ловцы, повернув, добежать до Андрея, как он бросает новую зажигательную бутылку. Бросает в бензиновую колонку, около которой никого не осталось после того, как все бросились в погоню к обрывчику.

Андрей не успевает увидеть, куда пошла бутылка. Он снова броском меняет направление и бежит к мостику. Вспыхнувшее озарило его яркое пламя вдруг озаряет перед ним дорогу ослепительным светом, который из бледножелтого сразу становится багровым, тускнеет и затем — как бы гаснет, но только для того, чтоб через мгновение вспыхнуть еще более ослепительно.

Погоня уже за плечами Андрея. Он обертывается, бросает в преследователей гранату и бежит. Он слышит взрыв. Проползает пуля. Еще и еще пуля. Свет пожара снова меркнет. В наступившей мгновенной темноте Андрей успевает пробежать всего несколько шагов, пуля свистит у него над ухом, но в это время раздается взрыв, сотрясающий землю, кругом летит и объемлет Андрея горячая сыпучая черная мгла. Андрея подбрасывает вверх, и он падает, кажется ему, глубоко вниз.

И снова вспыхивает желтый прыгающий свет, все озаряющий вокруг. Андрей угадывает, что его бросило в яму, так хорошо ему знакомую с детства. Чтоб спастись от предательского света, Андрей бросается в боковое укрытие. В это время раздается новый взрыв, и в яму сыплются обломки бревен, досок, листов железа, осколки кирпичка. Яма почти засыпана.

Ночь была холодная. Земля промерзла и

не оставляла никаких отпечатков ноги. Нарасно бежал прожектор, напрасно раздавались выстрелы, по окрестным усадьбам, полям, оврагам и перелескам. Один раз чей-то электрофонарик осветил дно ямы, но ничего, кроме обломков и головенек, там не было видно. Беглец исчез.

Последовало еще несколько взрывов. Андрей насчитал их четыре. Дальше слышался только треск и шум пожара.

★

Андрей просидел в своем пещерном укрытии остаток ночи, следующую день, ночь, и еще один день до новой ночи.

Первые часы, когда он залез в угол «пещеры», он дрожал всем телом и, несмотря на все усилия, никак не мог остановить этой дрожи. Потом он забылся. После забытья снова чувства и мысли обострились в нем. Тогда он ощутил сознание, что хорошо сделал порученное ему дело.

Во второй ночи у него иссяк шоколад и сухари, а также опустела фляга с водой. Он решил выйти.

Ночь была темная. Поднявшись из ямы, Андрей пополз по направлению к орешникам. Не чуя ничего поблизости, он попробовал подняться на ноги. Но только он встал, как столкнулся с каким-то человеком. Андрей похолодел, но сразу почувствовал, что это лю немец.

Это был Семен Хромой.

— Где моя мать? — были первые слова Андрея.

— Угнали немцы, а куда — бог весть. Андрей вдруг упал, как будто его толкнули. Он прислонился лицом к земле плотно, плотно, и ему захотелось забыться, ни о чем не зная, ничего не помнить.

Семен опустился наземь:

— Не умирай, Андрияна, бог с тобой, болезный, очнись.

Андрей спросил:

— Попить нету?

— Найдется, — обрадованно сказал Семен.

Придя в себя, Андрей стал торопить Семена. Семен сказал: «Много убили наших. Тетку Аксинью повесили. А партизан у нас поблизости не слышно. Я сам хочу их сыскать. После взрыва прячусь. Пойдем коротким ходом к Лавошневской роще, может до кого доберемся».

Они прошли несколько дней, не встретив ни партизан, ни тех, кто мог бы им указать, как найти партизан.

Но лес, где они скитались, оказался обойденным Красной Армией, перешедшей в

наступление. Их подобрала красноармейщица Андрея доставила в Москву, он был представлен к награде. Силы его ослабели, и он нуждался в отдыхе. Его поместили в санаторий.

★

К концу зимы Андрей отбыл на Восток. Он возвращался в училище с таким же волнением, как ехал туда в первый раз. Но он решил, что теперь в школе он не может быть таким, как был раньше, и что он должен сделать там большое дело. Ему грелилось, что теперь он знает, за какой жар-птицей он отправляется на новые поиски.

Чистый строй души и бескорыстная любовь к родной земле — вот его волшебная жар-птица. И лишь бы ему завладеть пером этой жар-птицы и хранить его незапятнанным — тогда всякое дело, какое предстоит ему впереди, будет хорошо и полно значения.

★

Нет ничего счастливее, как путешествовать и ехать далеко, когда только начинается жизнь, когда молод.

Все радовало Андрея в дороге. И даже хорошо знакомое открывалось как новое.

Но путешествие сложилось не так, как мечтал Андрей. Он ждал, что поедет один и будет среди других в тылу — редкостным героем. Оказалось, что таких, как он, оставших от своих училищ и совершивших в защите Москвы хорошие и смелые дела, собрана целая группа. Это заставляло его примерять: а был ли бы способен он сделать то, что сделали другие.

Чем дальше поезд уходил на север и на восток, тем необозримей становились леса, тем белее блистали снега и тем зеленей густела среди снегов мелкорослая хвоя. Наконец все чаще стали попадаться холмы и одинокие лысые скалы, овеянные ветрами; деревянные постройки становились все добротней и крепче. И однажды вечером перед Андреем открылась долина огней, — одни робко мерцали, другие пылали пламенем. Андрей не спал всю ночь, застыв у окна в очаровании и возбуждении. Горы поднялись выше. Поезд шел по широкому изворотам. То вспыхивали где-то вдали каскады огненных искр, то внезапно вырвавшийся перед окном отвес горы делал ночь непроницаемо черной, то снова расстилалось на дне глубокой и просторной долины разнообразное по-льханье световых переливов.

— Что — кузней нашей военной любуетесь. Тут этаких огней на тыщи верст, конца краю нет сколько их теперь вновь зажжено, как будто вся промышленность сюда съехалась, — сказал Андрею сосед. — Удивляетесь, что не затемняются здесь, а попробуйте сюда долети! И велика же Россия!

★

Автобус довез Андрея до завода. От ворот Андрея послали в «пропускную» — приземистый одноэтажный општукатуренный тесовый барак с десятками входов и выходов, распластавшийся на всю широкую лужайку при въезде на завод.

Внутри помещение состояло из широких коридоров, где по обе стороны в стенах через каждые два-три шага были прорезаны окошечки с указателями, по каким делам обращаться. Коридоры были набиты народом. Андрей, как только вошел, был подхвачен людским потоком. У него закружилась голова от дыма, испарений, неумолчного говора.

Андрей отыскал окошко, в котором занимались делами «ремесленников». Как только Андрей назвал себя, сотрудница вытаскала сейчас же карточку из картотеки.

— Яблонев Андрей?

— Да.

— Обучение с 1941? Пятнадцать лет?

Все подробности андреевой жизни оказались известны карточке. И Андрей сказал себе: «Вот как ждали здесь меня». Это, наверное, Сергей Никифорович рассказал наш разговор по телефону в тот вечер и велел: «Идите, он придет». Андрею стало весело. Его направили в юношеский городок при рабочем поселке.

★

Выйдя из «пропускной», Андрей попал на встречу новому потоку людей, широкому и плотному, тянувшемуся из поселка к воротам завода. Это была очередная смена.

И вдруг тревожно забилося сердце: среди потока Андрей издала различил одно лицо, — среди моря лиц одно лицо, единственное. Это была Липа. И оттого, что он увидел ее, все кругом вдруг приобрело иное значение. И тут же спало сердце: как сказать ей об Аксеяне.

Она была все такая же и совсем другая. Она чему-то смеется. Вот она ударяет по мечу кого-то, кто идет с ней рядом, срыщет с него шапку, ерошит, спутывает волосы своего спутника, пахлобучивает ему

снова шапку. С кем же это она забавляется? Вот теперь видно, — по другую сторону от нее идет Гаврюшин. Но кто же тот, с кого она стакивала шапку и опять надела? Да это Топленый! Тот самый Топленый, который ее так оскорбил, которого он, Андрей, из-за нее хотел бросить в Москву-реку.

Вот, наконец, и они заметили его, узнали, бросаются к нему: «Андрюшка, Андрюшка, наш Андрюшка!»

Как радостно ему и легко на сердце. Он смеется. Ребята трясут его за плечи и тоже смеются. И Липа, не стесняясь и не робея, как раньше робела, смеется, смотрит в глаза.

— Где ты был? — спрашивает Гаврюшин.

Андрей видит, что Липа волнуется, как он ответит. Андрей угадывает, что были у ребят о нем споры, и, наверное, каждый предполагал о нем по-разному, — одни верили в него, другие не верили. И неужели Липа не верила?

Как когда-то, при первой встрече с директором школы Веселовым, гордость мешает Андрею защищаться,

— Был там, где меня больше нет, — отвечает он Гаврюшину.

— Ты был ранен? Здесь прошел слух будто в госпитале лежал? Верно? — спрашивает Топленый.

— Нет. Не был ранен.

— Я же говорил! — торжествует Топленый. — А верно, что ты был на фронте, или у партизан?

— Нет, ни на фронте, ни у партизан.

— Ну, я же говорил! А вы спорили! — еще больше радуется Топленый. — Значит, Андрюшка, честно сказать, сбежал! С Потехиным сбежал! Вот это да! А у нас-то про тебя: «Герой! Куда вам до него!» Это нам-то до тебя! Мы здесь, как-никак, тапки делали. Из одной передраги, да в другую влипали то и дело. Ой, что тут было! В первые недели, в землянках жили. Приехали сюда, смотрим, — а ничего нет. Завод стоял вначале, как человек без шапки и без сапог. А работать стал сразу, с первых дней как эвакуировался. Ты поздно приехал. Теперь уж все наладилось. А уж мы тут подружился меж собой — водой не разольешь! Мы здесь работаем как настоящие рабочие. Только нормы нам назначают вдвое меньше, чем настоящим. И плату платят нам, как настоящим рабочим. Я нормы перевыполняю.

Андрей слушает и решает: он ничего им про себя не расскажет, так вот ничего и не скажет.

— Будет тебе хвалиться,— останавливает Толстого Гаврюшин, огорченный за Андрея. А Лина? Ей хочется что-то сказать, что-то спросить. Но они торопятся, им пора приниматься за работу. Их уже увлекает толпа, волной текущая к воротам.

Толстый оборачивается и издевательски его поддразнивает:

— А я, Андрюшка, теперь жую махорку. Забористую.

★

В юношеском городке Андрей увидел остатки разобранных землянок, несколько врытых в землю барачков, больше похожих на землянки, затем несколько высоких светлых теплых барачков, большие отстроенные каменные дома и за ними несколько почти готовых широких распланированных площадок для будущих улиц и строек.

— Придется, Яблонев, по лесенке, по всем ступенькам пошатать,— сказал комендант юношеского городка, знакомый Андрею по московскому общежитию.— Не понимаешь, что это значит? Оттого не понимаешь, что не пережил с нами.

«И этот тоже колет»,— подумал Андрей.

— У нас тут вроде как в Москве на метро движущаяся лестница: из землянки в обыкновенный барак, из обыкновенного барака в усовершенствованный, из усовершенствованного барака в дом. Так и движемся — от хвоста к голове, а сделаем шаг к голове, кусочек хвоста обрубим, но уж обрубим навсегда. Вон уж большинство землянок спесено. А движется наша лесенка быстро, через месяца два-три, надеюсь, не останется ни одного барака старого типа, а еще через два-три месяца и от барачков повышенного типа сумеем отказаться, все перейдем в настоящие каменные дома.

★

Андрей оказался помещенным отдельно от своих старых товарищей в землянке повышенного типа.

Его тотчас вызвали к Веселову. Отвечая на поклон, Веселов быстро оглядел Андрея с ног до головы,— все ли в порядке в одежде, и, осмотрев, прищурился прищипывая:

— Когда явишься, Яблонев?

— Только что с вокзала.

— Я рад, Яблонев, что вы вернулись к занятиям в училище. Но посмотрите на себя. Такой вид не годится для ученика нашего училища. Мы из Москвы ехали сюда

дольше, чем вы теперь, а явились на место опрятные. Отдохните и завтра принимайтесь за работу. Вы отстали, и вам надо будет догонять ваших товарищей.

«И он о том же, что я не был с ними это время»,— снова подумал Андрей.

Ему хотелось рассказать, какое важное дело он сделал в тылу у немцев.

—...Но вы... но я... разрешите рассказать...

Веселов перебил его.

— Я знаю все подробности. Идите, ступайте и приготовьте себя к работе, чтобы завтра быть свежим. Вы будете работать для нашей армии. Ваша работа будет очень строгая, однообразная. Учитесь все время сознавать и чувствовать самую большую ответственность за самую малую работу, которую вам.

Андрей почувствовал огорчение. Такой встречи он ждал от Веселова. Ведь директор знает, где Андрей был. Стало так обидно так тяжело. Но вдруг Андрей заметил, что Веселов улыбается и смотрит на стену напротив письменного стола. Андрей невольно обернулся и посмотрел туда же. На стене висела рамка с наклеенными внутри фотографиями и надписью: «Воспитанники училища, отличившиеся в боевых действиях против немецких захватчиков». Среди других Андрей узнал свою фотографию. Он покраснел.

Веселов подошел к нему, потрепал по плечу: «Будь всегда молодецом, Андрюша!»

Андрей почувствовал, что Веселов гордится им. Вместе с тем у него было ощущение как будто он, взбираясь на крутую гору вдруг вздумал передохнуть и полюбоваться на собственную умелость и силу, но деревням возникло неожиданное препятствие, потребовавшее от него нового самообладания нового напряжения.

«И вот приходится начинать все сызнова»,— думал Андрей, сидя в уютной светлой комнате юношеского клуба и ожидая когда вернутся его товарищи с работы.

Первой прибежала к нему Лина. Она была вся преображенная, оживленная, переполненная. Но как только подошла к нему, сразу застыдилась своего волнения, смесалась, застеснялась и сделалась пятапугая и принужденная.

Андрей сказал:

— Почему ты была со всеми такая веселая, а со мной тебе скучно?

— Вот, я же пришла,— ответила Лина. Андрею хотелось скорее сказать то главное, что его мучило в эту минуту:

— А ты веришь Толстому про меня?

— Нет. Разве я тебя не знаю? Когда ты говорил: нет, нет, то я обо всем догадалась. Но было все-таки страшно: а вдруг верно, что ничего не было.

— Ну и иди тогда к ним! Зачем ко мне пришла, если боялась и думала, что ничего не было.

Липа его прервала:

— Молчи! Ты не знаешь и никогда не узнаешь, что я думала о тебе... никогда не узнаешь, никогда, никогда!

— Ну и пусть не узнаю... ну и не говори...

Но, сказав это, он увидел, что Липа обиделась не притворно, как он, а по-настоящему. И тогда он добавил:

— А я все равно, когда шел с гранатой и тогда вспоминала тебя...

Липа замолчала и тихонько взяла его за руку. После долгого молчания она сказала:

— А тебя могли убить?

Андрей подумал и ответил:

— Могли.

Липа сказала ему руку и поникла на его щеку.

— Что с тобой, Липочка? Плачешь? О чем же?

— Тебя могли убить.

— Да ведь не убили же.

И он вспомнил, что должен сказать ей о матери. Но Липа вдруг сказала:

— Ой, как я хочу тебе одно дело рассказать! Скорей! Скорей!

Липа снова засветилась.

— Знаешь, Андрюша, только что сейчас было собрание молодежи. И решили, Андрюша, допустить ремесленников к юношеской молодежи. Ты не знаешь, что это такое? Я тебе скажу: молодежь будет строить свои, свои всякие программы, свои собственные танки, десять танков. Ой, это так хорошо! Видишь, ты в Москве рассказывал, как ты сделал гаечный ключ и как приятно тебе, что ты сам сделал всю вещь.

— А как ты танк весь сделаешь? Как свою работу отмеряешь?

— А вот придумали как! И очень просто.

И прямо все на виду для каждого. Гаврюшина от нас, от ремесленников, вошел в комиссию, которая будет подсчитывать. Все детали, сработанные нами в сверхсвободное время, учитываются и записываются особо на особый наш молодежный счет. И когда по всем цехам мы добавочно берем детали на наш молодежный счет, сколько их по каждому роду входит в состав танка, тогда та молодежь, которая работает в сборочном цехе, начнет в свои свободные сверхчасы монтировать новую

машину. Вот это и будет наш танк, сделанный весь до винтика нами. Хорошо ведь это, Андрюша, а?

Андрею трудно было решиться разбить радостную приподнятость Липы. Однако и скрывать от нее казалось ему нехорошим.

— Липа, я был в нашей деревне...

— А что же ты так смотришь на меня, Андрей? Что с тобой? Моя мать?.. Нет в живых матери? Ну, говори, скорей!

— Нету в живых...

— А я смеялась, когда ты уже знал... Зачем же ты меня не остановил? Это верно?

И когда Липа увидела по лицу Андрея, что это верно, она повернулась и пошла от него, ничего больше не спрашивая. В дверях ей встретились Гаврюшин и Топленый.

— Куда спешить? Подожди Липа, поговорим, нынче есть о чем!

Липа резко оттолкнула Гаврюшина и убежала вон.

— Уже поссорились? Так скоро? — сказал Топленый Андрею насмешливо.

— У нее мать немцы убили, — ответил Андрей.

Гаврюшин молчал. А Топленый равнодушно спросил:

— Куда, Андрюшка, тебя Веселов назначил?

— В цех мелких деталей к автоматическому станку.

Топленый захохотал:

— Ну и выходит, как я говорил: поставили к умному станку вместо дурацкого чучела торчать и по ветру руками болтать. Зажми металл и крути ручку. Как же ты, Андрюшка, можешь здесь равняться с нами?

★

Поздно ночью, среди глубокого забытья без сновидений, Андрей почувствовал, как на него наплывает ощущение, что около него кто-то посторонний, и этот посторонний смотрит на него. Это ощущение становилось постепенно все стеснительней и наконец внезапно перерезало сон. Он открыл глаза. Но вначале увидел только яркий электрический свет за окнами, — все ночи напролет заводской поселок оставался залитым светом. Андрей перевел взгляд туда, где близко чувствовалось чье-то дыхание: у его кровати кто-то сидел в ногах.

— Спи, спи, не пугайся, это я, — Егор Николаич.

Андрей, не совсем еще стряхнув сонное забытье, порывисто поднялся с подушки и обнял Егора Николаевича за шею.

— Спи, Яблонев. Увидеть могут, над тобой смеяться станут. Ложись скорей на подушку. А завтра приходи ко мне... а вот когда, не знаю... целые дни и ночи я занят... обучаю здесь взрослых рабочих, которые внове... но приходи, как сложится у тебя время.

Егор Николаевич поднялся и на пыпочках вышел из комнаты. Андрей вспомнил, что Егор Николаевич не приглашает к себе никого, кроме друга своего, старика Гаврюшина, а его, Андрея, пригласил. И он заснул, и во сне поплыли отрадныя видения.

★

Андрей снова, как и в Москве, оказался вовлеченным в заведенный дневной круговорот, совершавшийся в одинаковом и неизменном порядке. Каждое утро он отправлялся в заводской цех, заменявший здесь на Востоке школьные мастерские; днем Андрей проходил классы, а вечером опять возвращался в цех. Но вечером он шел уже по своей охоте. Это были часы «молодежной вахты», добровольной работы молодежи для постройки своих собственных десяти танков в подарок армии. Андрей был свободен идти и не идти. Это время отводилось по школьному расписанию для развлечений, кружков, прогулок. И каждый раз, прежде чем променять развлечение на вахту, Андрей любил просмотреть объявления, какие кружки назначены на сегодняшний вечер, любил остановиться перед клубной афишей и прочесть, что идет на сцене и в кино. Прочитав, он гордо поднимал голову: «А я вот все-таки иду на вахту». И ему становилось весело. Каждый день отправление на вахту казалось ему праздничным. Он смачивал волосы и тщательно причесывался перед большим овальным зеркалом, неизвестно как и откуда попавшим в барак.

С выпуском танков в подарок Красной Армии молодежь торопилась, чтобы поспеть к началу летних операций на фронте. Когда Андрей слышал эти расчеты и прикидку времени, то связь между его работой и тем, чему предстоит совершиться на фронте, казалась ему такой ощутительной, что сердце его билось от волнения. Этот счет молодежи, где заносится в запись каждая, самая малая, сработавшая деталь, казался ему счетом его собственной совести. Ведь если не достанет на счет мельчайшей из мелочей, то танк не будет зачтен, не будет пущен в сборку.

В цехе мелких деталей «ремесленники»

жались друг к другу, их размещали всех в небольшом уголке цеха для того, чтобы было удобней мастеру-педагогу руководить ими. Они казались залетевшей сюда маленькой стайкой воробышков.

В этом цеху были сосредоточены сложные и совершенные машины, выполнявшие тонкие операции почти без помощи человека. То, что говорил Топленый о чучеле умной машине, тут казалось бы должно было чаще всего приходиться на ум Андрею. Но как раз здесь-то он и забыл думать об этом.

За время вахты сильно изменился Гаврюшин. Он повеселел и сделался общительней. Казалось, он стал как-то беззаботней. Прозвище «женатый», которое прилипло к нему в школе, теперь как будто уже не подходило. Его скромность, тихость, рассудительность рассеялись. Гаврюшин носил постоянно в кармане складную планшета, которую записывал ежевечерне ход вахты. Он непрерывно вынимал из кармана планшета и мечтал как «поднажать», как усилить ход работы. Частенько, разметавшись, он начинал насвистывать; сидит и подвывает своим летящим веселым мыслям, на стенке перед ним собственноручно им вычерченный тушью плакат с надписью, в самом сочиненной: «Свистанье в комнате раздражает и мешает так же, как табачный дым. Не свистите!» Подпись: «комнатный староста Гавриил Гаврюшин».

Топленый же, всегда шумный и во всем своем обиходе размашистый, стал за время вахты сдержанней; сбавил задор и был точнее в исполнении всех обязанностей, какие налагались вахтой. Как будто Топленый взял Гаврюшина его размеренность и ровность. «Топленого в пример надо поставить», — сказала Липа. Андрей вскипел и обиделся:

— Я насковозь Топленого вижу. Он дает только то, что по приличию полагается, не больше. От него никогда никакой его собственной полезной выдумки не добышь.

— И как тебе не стыдно, Андрей, — сказала Липа, — ведь на вахте он, как и мы.

— Ты, Липа, не понимаешь. У него правило: быть и делать как все. Разве не понимает, что белой вороной неудобно быть. А душой он не горит...

★

Однажды вечером после ужина, когда уже готовились расходиться, в столовую вошел Егор Николаевич и крикнул:

— Яблонев, немедленно к директору со мною!

Как только переступили порог директорского кабинета, Егор Николаевич сейчас же спросил Веселова:

— Ну что, теперь можно, Сергей Никифорович? Я и то иду с ним, ничего ему не говорю, а самого так и подмывает сказать. Но думаю, скажу, а он как начнет скакать, прыгать и раньше времени все перед всеми обнаружит.

Веселов засмеялся.

— Теперь можете его поздравить.

Егор Николаевич, однако, постеснялся обнять Андрея и сказал:

— Ну, давай, пожму тебе руку. Поздравляю тебя от всей души.

Веселов же подошел к Андрею и обнял его.

— Вы, Яблонев, награждены медалью за отвагу. Завтра явитесь на торжественное собрание. Представитель края будет вручать ордена.

★

На собрании Андрей сел подалше от трибуны, чтоб быть незаметней. Все, что было перед его глазами, казалось смещенным с фокуса, плыло, кружилось, сливалось. Ему хотелось убежать, спрятаться, остаться наедине с собою, хотелось, чтобы все было, как до этой новости. И вместе с тем все его существо, напрягшееся до самой острой грани восприятия, улавливало и запечатлеvalo все движения шумной, оживленной толпы, наполнившей залу. Он ничего не слышал, кроме того, как стучит у него в висках, и вместе слышал все. Особенно ловил он долетавшие до него разговоры. Когда незнакомые пожилые, степенные люди называли его фамилию, он вздрогнул.

— Это который Яблонев?

— Это из ремесленного.

— На заводе отличился?

— Нет. Он на войне отличился.

— На войне? Скажи, пожалуйста, мальчик, а уж герой! Интересно посмотреть на того мальчика. Жалко, я своего сынишку на собрание не захватил. Пусть посмотрел бы.

Андрей слушал эти слова, и ему казалось, что Яблонев, мальчик-герой, существует везде: в нем самом и вне его самого, в этой возбужденной толпе народа, такого ему близкого, родного. И ему казалось, что этот шумный, вне его существующий Яблонев, очень шорох и требователь к тому внутреннему Яблоневу, который так волнуется сейчас, как робет и так неуверен в себе.

В зал пришли Гаврюшин, Топленый и Липа. Увидев Андрея, они протиснулись между рядами и подсели к нему. И потому, как они старались держаться с ним, и потому, что они ни о чем его не спрашивали, он догадался, что они уже все знают. Ему казалось, что для них уже не существует того внутреннего Яблонева, который может быть неуверен в себе, может колебаться, может сделать не то, что надо, а существует только тот Яблонев, который уже признан героем и который не может быть никак ниже оценки, какая за ним признана.

Андрею от этих мыслей стало так хорошо и вместе так стеснительно, что он не в силах был дольше выносить напряжения и оставаться подле своих товарищей. Его беспокоило также, что, он может не услышать, когда с трибуны назовут его фамилию, и что он может запоздать с выходом к столу президиума, когда надо будет получать орден. Андреем вскочил с места, вышел из рядов и стал у стены в проходе.

Когда собрание открылось и выбранные в президиум заняли свои места за столом и когда напращенных стали вызывать на трибуну для получения орденов, Андрей потерял доверие к своему слуху и к своему зрению. Ему все казалось, что он не слышит называемых фамилий или слышит их не так, как их называет председатель собрания. Перед глазами его все мешалось в беспорядочной игре огней и лиц.

Бесспорно долго тянулся список людей, которые вызывались раньше Андрея, так долго, что у Андрея появилось сомнение, что его уже вызывали, а он прослушал и пропустил.

И вот он слышит окончание фамилии. Что такое?.. «...нев». Как будто не его вызывают! Председатель повторяет. Андрей опять слышит только «...нев». Неужели его? Нет, не его. Но почему же никто не встает и не идет к трибуне? Несомненно же, это его вызывают! Андрей рывком подается вперед. Стоящие рядом расступаются и дают ему дорогу. Ну, конечно же, звали его. Андрей ускоряет шаг. Он уже около трибуны. Почему же сзади его странный говор, кто-то что-то крикнул, как будто это крикнули ему, но Андрей не может остановиться и не может оглянуться. Теперь он слышит позади себя смех. Очевидно, он что-то сделал не так. Он старается не смущаться, но чувствует себя как под выстрелами. Он уже взбегаet по ступенькам лесенки, приставленной к возвышающимся над полом подмосткам сцены. Но позади смех и веселые крики становятся для него различимей. Уже взойдя

на сцену, он оглядывается: теперь он видит что вызывали не Яблонева, а Коренева.

Ведь это так непохоже! Как он мог спутать? Андрей, ужаснувшись, хочет броситься по ступенькам вниз, хотя и видит, что навстречу ему уже поднимается Коренев. Председатель, не зная их обоих в лицо, спрашивает:

— Который же из вас Коренев?

Тогда Сергей Никифорович наклоняется к председателю и что-то шепчет. Председатель улыбаются и объявляет:

— Ну, хорошо, давайте вначале, товарищ Яблонев, а за ним пойдет товарищ Коренев.

После пережитого смущения Андрей овладел собою, набрался смелости и, заражаясь общим веселым оживлением, сам начал улыбаться. Он остановился около стола, расправив плечи, но слегка опустив голову, чтобы не смотреть прямо в глаза сидящим в зале. Он слышал каждое слово представителя края, которое было сказано об его, андреевом, подходе. Он отнесся к похвалам спокойно, потому что опять ему казалось, что это касается не его, а того Яблонева, который уже стал существовать отдельно от него и перед которым он сам готов был склониться с уважением и даже с некоторым изумлением перед тем, как мог тот совершить такие поступки, на какие вот этот, стоящий на трибуне, Яблонев, пожалуй, и не оказался бы способен.

Председатель вручил медаль Андрею. Не зная еще, что он скажет, Андрей подошел к рампе и тут осмелился взглянуть прямо перед собою на толпу, сидящую в зале. Однако от волнения он не различил ни одного отдельного лица. Первые его слова сказались сами собой. И как только он услышал свой голос, ему стало спокойней и легче. Он первый раз в своей жизни говорил перед столькими людьми, стоя на возвышении, видный всем когда все другие молчали, слушали его и ждали, что он дальше скажет. По каким-то еле ощутимым признакам Андрей почувствовал, что всем нравится то, что он сказал, и он, вдруг успокоившись, перестал интересоваться, что может о нем подумать зал, а заглянул в себя и испытывал только желание, как бы поверней передать то, что он чувствует. Он сказал, что не знает, как смог сделать то, за что его сейчас наградили. И что теперь он сознает, как много обязан своим учителям и воспитателям и тому великому примеру, который постоянно... Тут Андрей вспомнил ночь, когда он проходил по Каменному мосту, и как луч луны скользнул по холму Кремля, и как он, Андрей, опустился на колени и дал клятву

в верности. Вспомнив это, Андрей потерял нить, мысли его сбились от нахлынувшего потока разнообразных и сложных чувств. Ему захотелось так же, как там на мосту опуститься на колени и сказать этим близким ему людям: буду верен. Он смеялся и ему показалось, что слезы вот-вот брызнут из его глаз. Сергей Никифорович Веслов, не дожидаясь заключительных слов Андрея, захлопал, а за ним захлопал и вес зал.

Андрею не хотелось уходить с эстрады. Все кругом казалось ему волшебным праздником. Это было как в сказке. В игре лиц и огней перед ним мелькнули раскрасневшиеся, горящие, улыбающиеся лица Гаврюшина и Липы. Уже председатель назвал фамилию следующего — Коренева, а Андрей еще не сошел с трибуны. Ему не хотелось расставаться с праздничным видением. Председатель кивнул, что он может остаться, и указал ему место у стола. Андрей сел. Значительность людей, сидевших за столом президиума, казалось ему, как будто распространилась и на него. Он уже смеясь глядел в зал. И ему нравилось, что из зала смотрят на него.

★

Товарищи Андрея заметили, что после дня когда ему вручили награду, он целую неделю ходил мрачный и замкнутый в себе. Обычная его приподнятость исчезла. Товарищи его не знали, чему это приписать. Андрею же самому казалось, что он уже не может быть таким, как прежде, и что теперь он должен строго наблюдать за каждым своим шагом.

Однажды он вызвал Гаврюшина погулять «Надо очень серьезно поговорить с тобой вдвоем». Товарищи видели, как они долго ходили по мосткам среди сутробов, забуревших по-весеннему. Возвратившись, Андрей не захотел рассказать Липе, о чем был разговор «Никогда, Липа, не надо трепать языком прежде времени о том, что еще не сделано. Когда будет дело, тогда и узнаешь. Это теперь мое правило, так и знай, а там хочешь сердись, хочешь не сердись».

Гаврюшин же, без Андрея, рассказал:

— Андрюшка просится в комсомол. Я буду «за».

В день, когда Андрея приняли в комсомол и приняли Липу, он сказал Липе:

— А я удивился, когда увидел, что и ты обсуждаешь в один день со мною. Отчеты мне раньше не сказала, что подала за явление? Скрывала? Это не по-товарищески. И почему скрывала, интересно знать?

— А зачем прежде времени трепать языком, — ответила Липа. Андрей надулся.

★

Вахта разгоралась. Близилось окончание вахты. Уже начали в сборочном собирать первые танки, которые молодежь готовилась подарить Красной Армии. Подходил весенний праздник, к которому приурочили отсылку на поля сражений всех десяти машин. Напряженность в работе возрастала. Андрей ни когда еще не ощущал фронт таким близким. Казалось, не существует тысяч километров, которые отделяют завод от тех мест, где решаются судьбы родной земли, и что стоит только танкам выйти за ворота завода, как они вступят сейчас же в бой. И это создавало в Андрее такой душевный подъем, что граница возможных для него усилий отодвигалась. Он все больше и больше отдавался работе, и чем сильнее он уставал, тем чувствовал себя бодрей, здоровей, радостней и счастливей. Звезды к весне становились ярче и ночное небо глубже. Весело было от апрельского заморозка, когда среди ночи Андрей возвращался с завода, довольный и успокоенный прошедшим днем, но с неугасающим огоньком новых маниющих мечтаний в голове. А под ногой у него в бороздах дороги, разороченной гусеницами танков, хрустел и жался нежный ледок.

Обончание вахты Андрей ощутил как расставание. Было хорошо от сознания, что велики все к положенному времени, но было и как-то грустно. Казалось, как всегда при раслуке, что завтрашний день будет светлей; некуда и не для чего будет торопиться и не о чем больше будет волноваться.

После горения на вахте обыкновенная работа в цехе мелких деталей при «умном танке» показалась Андрею скучной лямкой. Но он отбросил эти мысли, внутренне отряхнувшись от них, как недостойных.

Но в тот же вечер Егор Николаевич объявил Андрею, что он переводится по распоряжению Веселова, к нему в группу, работающую в сборочном цеху завода. Очевидно, считалось, что Андрей доказал свою приспособленность к условиям и ритму заводской работы. Снова радость подогрела Андрея. Довидно было только, что Веселов не сам объявил о переводе в сборочный. После награждения Андрея он держал его в отдалении от себя и был особенно к нему требователен.

Когда Андрей в первый раз увидел сборочный цех завода, ему показалось, что он видит уже виденное: вот так он еще в начале представлял себе настоящий завод.

Здесь на глазах у него росла и шаг за шагом складывалась изготавливаемая машина. До сборочного он бывал уже в цеху, где лют металл, любовался пламенем мартеновских печей, бывал в кузнице и видел молоты-тиганты, знал работу цехов, где сложные умные станки обделывают детали, видел сварку и ручную, и автоматическую, где весь цех залит синим и зеленым волшебным светом. Но во всех этих цехах он не чувствовал завода как целого. Каждый из этих цехов, казалось, существовал сам по себе. В сборочном же витала душа завода.

Андрей вспомнил рассказ Егора Николаевича, как слесарь-сборщик вместе с богом сотворил мир. В маленькой мастерской школы в Москве этот рассказ был бледной сказкой, а здесь казался живую правдой.

Через все здание протянулось несколько сборочных потоков длинными рядами. До того длинными, что если смотреть от места, где начинается сборка и ставится голое шасси танка, то глаз не достанет до конца ленты. Снизу идет стук клешки, подтопки, притирки; ухают кувалды; бьют молотки; им подзвывают молоточки. А сверху взвизгивают предостерегающе и рассыпаются залихватным трезвоном несущиеся в вихревой бешотроты подъемные краны с подвешенными на цепях танковыми башнями, моторами, колесами, броневыми плитами.

Раскачиваясь из стороны в сторону на тяжелых цепях и крючьях, подобных корабельным якорям, могучие башни, моторы, куски брони пролетают над головами людей и, не задерживаясь, бешено мчатся, чтоб опуститься там, где их ждет направляющая рука сборщика.

И это сплетение беспорядочных режущих звуков, эти полеты и перелеты стальных чудовищ над головами людей казались Андрею чудесным хаосом творенья, в котором вещи возникают из небытия и несутся по воздуху на места, куда им предписывает воля человека-творца.

Когда же Андрей дошел до конца сборочного ряда, он замер в радостном изумлении. Перед его глазами остановился над сборщиками бегущий кран и спустил к ленте на могучем крюке два круга гусениц. Сборщики быстро сняли гусеницы с крюка, одели ими колеса танка, и вскоре, после нескольких приладок, совсем готовый танк опустился с козел на земляной пол цеха. Вот он, новорожденный, первый раз стоит на земле! И кажется, что прикосновение к земле зажигает в нем жизнь: танк начинает дышать, первый раз включается мотор. Вот уже слышатся

первые стуки сердца машины. Шум все убыстряется, становится сильнее, и вот — чудо! — машина тронулась с места и пошла своим ходом. Какой-то голос крикнул восторженно — «отворяй!» Широчайшие ворота цеха распахнулись во весь свой зияющий зев, там показался простор заводского двора, а за ним дальний край мгlistого неба с бесконечно синим простором.

— Давай!

Танк еще раз рывком, еще раз дернул, загудел, загрохотал и двинулся в ворота, вылез на вольный свет. Прощай цех! Ворота закрылись.

А в цехе край уже слова остановился над головами сборщиков, и уже снова спускался к ленте вниз крюк с подвешенными на нем гусеницами, близилось рождение нового танка! «Как же это чудесно!» — сказал про себя Андрей.

В сборочном цеху Андрея увлекал самый поток работы, в котором части, соединяясь, обретали жизнь в новом единстве. Казалось Андрею, будто он, как бывало в детстве, сидит, зачарованный, у ручья, но в силах оторвать взгляд от вечного бега журчащей струи.

Здесь Андрей с очевидностью и наглядностью ощутил, как с лишним десяток тысяч деталей, из которых состоит танк, слагаются в живую машину по точно рассчитанному замыслу, плану, чертежу. И когда он это ощутил, ему стало казаться, что все разнообразие и вся сложность неумолчной работы завода и ее не останавливающегося потока, существует лишь как воплощение какой-то волшебной думы, принадлежащей творцам и изобретателям танка.

Андрей перенесся к мечтам, которым он предавался в деревне, в отцовском доме на чердаке, за чтением книжки об английском мальчишке.

В сборочный цех часто заходил рабочий конструкторского бюро. Андрей смотрел на них с благоговением как на людей, которые постоянно общаются с конструкторами танка Барановым и Холодовым. Все лето он ждал чего-то необыкновенного. Ему казалось, что он стоит на пороге испытания, подобного тому, какое он пережил в тылу врага.

Однажды после обеда, за несколько минут до начала смены, Андрей, Гаврюшин и Топленый, стоя в уголке, неподалеку от своего рабочего места, спорили о том, кто лучше — Д'Артаньян или Атос. В эти дни они по вечерам читали поочередно главу за главой «Трех мушкетеров».

— Д'Артаньян самый храбрый. И тоже

самый добрый, — сказал Андрей, — и я его больше всех из четверых люблю.

— Зато Атос самый умный, — сказал Гаврюшин.

— Атос — баба, а Д'Артаньян — шляпа дурак, — сказал Топленый, — самый хитрый из всех Арамис. Этот везде устроится. одет во все шикарное. Духами дышится. тапцует, и денег всегда при себе сколько хочешь.

И вдруг среди спора Топленый посмотрел вдаль, к воротам цеха, приподнялся на печи и с торопливым испугом крикнул:

— Баранов! Ребята, Баранов в цеху! начальничку прошел.

Пора было заступать на работу, и все трое пошли к своим местам.

Всеми овладело торжественное состояние. Они чувствовали себя как солдаты, которые услышали, что в разгаре боя где-то среди них появился любимый полководец. «Наш тот солдат, который не надеется быть генералом», вспомнились почему-то Андрею давным вычитанные слова. И он, застыдившись своих мыслей, посмотрел на товарищей и увидел, что и они работают в сосредоточенности и возбуждении.

Сосредоточенность ребят становилась напряженной, а Баранов все еще не выходил от начальничка цеха. Топленый подмигнул Андрею на Гаврюшина: смотри, мол, как старается. Потом подмигнул Гаврюшину и Андрею и сказал:

— Волнуется, парень.

— А ты лучше взгляни-ка на самого себя, — ответил ему Андрей.

Время от времени то тот, то другой из них взглядывал на соседа и улыбался, сиюминутно удерживаясь от беспричинного смеха. Но чем больше они понимали, что нет причины для смеха и что смеяться в эти минуты нельзя тем больше их подмывало смеяться.

Топленый посмотрел вверх и прыснул.

— Брось, чего смеешься, — стараясь рассердиться, сказал Гаврюшин, но не сдержался и засмеялся сам. За ним засмеялся и Андрей.

— Чего вы? Ничего смешного нет.

— Смотри, смотри-ка, — сказал Топленый, — дуло в окно заглядывает и на вас мне подмаргивает.

За окнами сборочного цеха на небольшой промежуток от цеховой стены складывались длинными рядами ящики с орудиями, которые должны были устанавливаться в башни танков при сборке. Из ящиков торчали наружу пушечные дула. В дни привоза ящиков с артиллерийского завода и разгрузки их с

платформы железнодорожной ветки, проведенной к самому сборочному цеху, ряды разгруженных ящиков поднимались все выше, выше, доходя до самой крыши сборочного цеха. Но по мере того как сборочный поток в своем течении подхватывал и уносил орудие за орудием, ставя их на танки, ряды оружейных ящиков делались все ниже и ниже, стена цеха освобождалась от затемнения, и в цехе становилось светлей. Казалось, что дула орудий смотрят в цех и зорко наблюдают, хорошо ли спорится работа и скоро ли их позовут со двора на машины.

Андрей и Гаврюшкин взглянули в сторону окна:

— И верно! Заглядывает! Смотри, смотри-ка, и подмаргивает, подмаргивает!

Все трое прыснули, замотали головами и захохотали, не будучи уже в силах владеть собой. Но им хотелось не смеяться, а быть серьезными. И, как бывает при безотчетном смехе, они внезапно останавливали смех, но так же внезапно снова прыскали со смеху.

И в это время Андрей услышал:

— Вы как себя ведете? Вы где находитесь?

Перед ним стоял Сергей Никифорович.

— Вы понимаете, где вы находитесь? Вы в цеху танкового завода! Вы понимаете это?

А за Веселовым шел Баранов.

Веселов прошел дальше, не ожидая объяснений Андрея. Да они и не нужны были: вид Андрея говорил яснее слов.

Андрей решил, что он навеки потерял себя в глазах Баранова, то есть того человека, который за последние месяцы незаметно для Андрея сделался самой светлой точкой во всех его мечтаниях о будущем. «Что же мне теперь делать,—думал Андрей, и поужели все мое будущее сгорело в один миг?»

От сознания, что он затруднил себе вход в тот мир, в котором живет Баранов, Андрей мучился и страдал. Он решил найти способ, как исправить случившееся и как устранить возникшее на его пути препятствие.

На работе Андрей стал все внимательней присматриваться к тому, что он делает. Он стоял при сборке ходовой части танка. Какие улучшения можно здесь внести? Чем он мог бы помочь, чтоб сделать наш танк еще совершенней? Что он тут мог бы изобрести?

— И чего этот паршивый мальчишка лезет во все и везде сует свой нос,—сказал про него один старый рабочий.

— Чего ты сердиться? — ответил мастер. — На то они и ученики, чтоб обо всем любопытствовать, их там в училище товарищ Веселов на то накручивает.

Андрей попросил Егора Николаевича добиться разрешение на посещение заводской читальни и технической библиотеки. Он прочитал переводы нескольких устаревших иностранных книг и справочник по строению танков различных систем.

★

К середине зимы у Андрея был готов проект улучшений и упрощений в ходовой части танка.

В морозный голубой день,— в один из тех январских дней, когда в небе уже предчувствуется весна, Андрей, свободный от утренней смены, отправился к Веселову. Он решил показать свой проект прямо директору училища.

Андрей шел по деревянным мосткам тротуара и радовался. Ему казалось, что все у него так легко складывается в жизни и так счастливо начинается что-то новое и большое. А в небе был необъятный голубой простор еще не наступившей, но уже торжествующей весны.

Подходя к дому, где жил директор училища, Андрей заколебался. Сергей Никифорович в эти часы отдыхает, а Андрей не раз слышал, как директор внушал ученикам, что отвлекать друг друга на дела в часы, положенные для отдыха, такой же беспорядок, как склоняться к безделью во время работы.

У водоразборного крана в обледеневшей канавке рябилась под ветром не успевшая замерзнуть вода, как будто робая перед бесконечным голубым и голым простором весны. От взгляда на зябкую водяную рябь становилось холодно и на душе.

— К Сергею Никифоровичу? К нему нельзя. Он сейчас уходит собирается.

Женщина, открывшая Андрею дверь, улыбнулась добродушно на его оторопелость и, пожалев его, крикнула в комнаты:

— Сергей Никифорович, к тебе. Кто? Ученик.

— Давайте юношу,— послышался голос, но не Веселова, а Баранова.

Баранов вышел в переднюю:

— Шагайте, юноша. Сергей Никифорович говорит: коль юноша пришел, значит, очень для него важное дело. Только говорите коротко и быстрее уходите.

Веселов также встретил Андрея улыбкой.

— Ах, Яблонов? Это — вы. Хорошо, хорошо. Одобряю, что пришли ко мне. А то про вас говорят, что вы недобрым. Правда? Или неправда? Скажите?

— А я не знаю,— ответил Андрей.

Веселов оживился. Он обратился к Баранову:

— Вот видите, Игнат Игнатович, этот юноша, когда его спрашивают о нем самом, обязательно на все отвечает «не знаю». Вы заметили эту черту за собой, Яблонов? Это вы парочно или так само выходит? Я в первое его появление в школе, Игнат Игнатович, спрашиваю, «За что и почему подражася с товарищем?». А он мне: «Не знаю». Тогда настаиваю: «Говорите». А он: «Я не знаю что надо говорить».

— Ну, а по физике, по механике он тоже отвечает: не знаю? — спросил Баранов.

— По физике, по механике у меня отлично.

— Значит, только собственную механику не знаете. С этим жить можно, лишь бы механизм хорошо действовал, а почему хорошо действует, — пусть психологи после нашей смерти объясняют.

Веселов спросил Андрея:

— Вы не стесняетесь Игната Игнатовича?

— Ну-ка, ну-ка, юноша, — засмеялся Баранов, — как вы поступите? И тут ответите: не знаю?

— Нет, я знаю.

— Что же вы знаете?

— Знаю, что стесняюсь.

— Молодец, молодец. Я люблю застенчивых — основательный народ, у них дело не на языке только, а поглубже, — сказал Баранов.

Веселов обратился к Андрею:

— Ну, Яблонов, наберитесь смелости, скажите быстро, какое у вас ко мне дело? Я, как видите, спешу.

Андрей вытащил из кармана и протянул Веселову тетрадь.

— Что это такое? — спросил Веселов.

Андрей покраснел до малиновости и не в силах был выговорить ни слова. Веселов развернул тетрадь и прочел:

«Проект улучшений в управлении танком».

Веселов засветился и стал похож на того Веселова, каким Андрей привык видеть его в классах и в мастерских.

— Прекрасно, Яблонов. Чтобы ли оказалось в вашем проекте, а хорошо, что думаете о рационализации.

Веселов протянул тетрадь Баранову.

— Раз уж, кстати, тут вы очутились. Игнат Игнатович, то не откажите взглянуть на эту тетрадь, может быть, перед вами ваш будущий сотрудник по конструкторскому бюро?

Баранов взял тетрадь.

— Интересно. Я вообще заметил, Сергей Никитичевич, что ваши «ремесленники»

убежденные рационализаторы. Это, очевидно, училище воспитывает в них вкус к тому, чтобы осмыслить условия работы, ее приемы и природу вырабатываемого продукта. Я уж не первый раз встречаю среди них довольно удачных рационализаторов. Это, очевидно, будет совершенно особое поколение рабочих.

— Ну еще бы, — отозвался Веселов с гордостью. — Это же должны быть лучшие, отборные кадры. Не так ли?

После ухода Веселова Баранов вслед Андрею приселеть подле, а сам стал читать его тетрадь.

Андрей ждал. Все, что произошло с ним в это утро, казалось ему желанным и плугающим. Эта неожиданная встреча с Барановым, о которой он мечтал и которой он боялся, и то, что проект прямо попал в руки замечательного изобретателя, было для него как предзнаменование поворота в его судьбе. Упоминание Веселова о конструкторском бюро приблизило его к осязанию как бы уже осуществленной мечты. Ему уже виделось, что могло бы быть с ним, если окажется, что его проект хорош. И было страшно, не обмануться бы, не случил ли было бы отдалить испытание и хоть еще немного остаться с неомраченной мечтой. Андрей уже видел себя на пороге в тот мир, где творят люди, подобные Холодову и Баранову.

Баранов кончил читать, закрыл тетрадь и стал внимательно и спокойно всматриваться в Андрея.

— Это вы были награждены за партзанские дела?

— Это я.

Андрей еще ничего не мог понять и ни о чем не мог догадываться, но ему стало неожиданно больно от тяжелой тревоги.

— Это вы смеялись в цеху? — спросил Баранов.

Андрей ужаснулся: какая же связь?

— Да, это я.

— Помню, все про вас помню. Вы мне понравились тогда. Вы, очевидно, хороший мальчик, веселый на работе. Работаете-то вы исправно? Норму-то выполняете?

— Перевыполняю.

— Ну, расскажите еще что-нибудь о себе.

— Я не знаю, что я должен вам рассказывать.

— Не знаете? Ну, не буду настаивать. Идите, голубчик. А тетрадочку эту возьмите. Продолжайте прилежной учиться. А изобретать не торопитесь. Все придет в свое время. Тетрадочку покажите вашим учителям, например, Егору Николаевичу, он вам объяс-

нит, что вы еще многого, очень многого не знаете. Идите домой. Желаю вам хорошо учиться.

Андрей встал. Но уходить он не собирался.

— А мой проект?

Баранов рассердился:

— Какой проект? Вам сколько лет? Восемнадцатый? Это не проект, а невежество. Вы знаете, что такое ходовая часть танка? Чтоб ее понять, надо знать в науке очень много, о чем вы еще и не слыхали ни разу. Изобретать хотите? Так для этого нужна не только догадка, а еще и усидчивость. Штанов протереть надо пар сто, чтоб высидеть проект.

Баранов разгневался:

— Идите, чтоб я совсем на вас не рассердился.

Андрей вышел. Солнце поднялось. Небесный простор стал еще синей и необъятней. И так не хотелось в этот торжествующий солнечный день считать себя разбитым и несчастным. Андрей попробовал сказать себе: «А что же плохого случилось со мной?» И попробовал было даже насвистывать. Ему вспомнилось, как говорил отец: «Что нос повесил? Придет время, за плохое настроение играфовать будут. Держись веселей, тогда веселей и будешь». Вспомнив это, Андрей улыбнулся. Но улыбка вышла горькой. Однако Андрей не любил уступать чувству неудачи. Он шел и старался глядеть в синюю спокойную даль. Он распахнул пальто, несмотря на злой и рвущий ветер, набегавший со снежных полей. Андрею было душно, он приподнял палку и положил себе снегу на темя. Снег осыхался, растаял, и Андрей положил еще.

Так он пробродил по поселку до самой своей спальни, не заходя ни в столовую ободать, ни в общежитие.

★

Отработав смену и придя в свой угол, Андрей тут же лег, никому не сказавши ни слова. Ночью у него открылся жар. А утром его свезли в больницу и положили в одиночной уютной палате с окном во всю стену. Лине, пришедшей справиться, сообщили, что у Андрея воспаление легких.

— Не разрешу,— ответил главный врач на просьбу Лины о свидании,— большой слаб и выдает в беспамятство...

— А нельзя ли мне остаться в помощь сиделке?..

— А кто вы ему?

Лина покраснела, как пойманная на попытке что-то скрыть.

— Мы из одной деревни...

— Так чего же вы краснеете?

Доктор сел к столу и написал разрешение.

Итак, Лина стала сменять молчаливую сделку.

Андрей часто бредил. Когда ему было очень тяжело, он в бреду жаловался: «Бабушка, крылька на чайнике не прыгает». Он грозил какому-то рыжему за то, что тот сломал его полатки и теперь пляшет на столе, «где мы с бабушкой обедали». Однажды Андрей приподнялся, посмотрел пристально на Лину и сказал: «Я никогда не буду дергать тебя за косичку», и улыбнулся. Он был без сознания.

Пока положение было тревожным и врачи сомневались в благополучном исходе, Лина деловито выполняла все, чего требовал уход за больным, но когда Андрей начал выздоравливать, Линой овладела боязнь за исход; тревоги и страхи, какие до сих пор она отгоняла от себя, теперь все разом шпорнулись.

«Почему Андрей так внезапно заболел? — думала Лина. — Никто из его товарищей об этом не знает. Не знает и Веселов, и Егор Николаевич». Говорилось только о смутных догадках; рассказывали о какой-то тетради, и будто бы Баранов жалеет, не был ли он слишком прямолинейен и суров с Андреем. Лина все поняла. Она чутьем всегда ощущала, какую большую мечту носит в себе Андрей с самого раннего детства. Длинная цепь воспоминаний развертывалась перед ней в эти долгие часы: как Андрей любил уединяться на чердаке за чтением или висел с книжкой на сучку ветлы над рекой; как рассказывал потом о прочитанном, об изобретениях, открытиях, путешествиях; как мечтал, что в московском училище его научат делать машины. По его поведению на заводе она догадывалась, почему Андрей меняет разговор или совсем замолкает, когда заходит речь о конструкторском бюро, делает он это, чтобы не обнаружить затаенной мечты самому стать конструктором. Она чувствовала, что теперь мечта Андрея надломлена, и боялась, что это оглушит и ожесточит Андрея.

Вот она сидит у изголовья. Андрей крепко зарылся лицом в подушку, как будто он хочет погрузиться на самое глубокое дно безмятежного сна. Он дышит спокойно.

Чуть только она закроет глаза и задремлет, как ей все видится, что Топленый берег Андрея за руку и ведет его по широкой улице куда-то за собою и говорит: «Брось. Андрюшка, мечтать и задаваться, и без того все очень хорошо». И она видит на лице

Андрея чужую улыбку, улыбку Толстого. И Андрей будто бы говорит: «Вот я теперь стал умней, не задаюсь и не мечтаю».

За окном палаты тихонько подвывает ветер. Липа стяхивает с себя дремоту и тут же еще глубже тонет в ней. Ей кажется, что ветер вдруг затихает и вместе с ним сразу обрываются все звуки, даже дыхания Андрея не слышно больше. Мгновенье мертвой тишины так резко, что Липа слегка вздрагивает, и снова до нее доносится как будто издали порыв ветра, а в нем протянулся какой-то крик и потерялся в ночной бездне. Ей кажется, что это ветер с реки и под его порывом шумит на обрыве любимая ветла Андрея. И еще палатает вихрь, в окне раскачиваются обе половицы рамы, ветер врывается в комнату и гудит. Липа бросается закрывать раму, но сил закрыть у нее нет! А в ветре закрутился стон: «Спасай, спасай его!» И нельзя понять, откуда идет этот крик,—извне или из ее собственного сердца. Она цепляется за раскрывшиеся створки, но ветер вырывает их из ее рук. И вдруг она разлмчает за окном на земле в луче лампы змею. Змея ползет и подымает голову к подоконнику. Но у Липы нет сил захлопнуть рамы, нет сил! Тогда она бросается к Андрею. Она унесет его отсюда, убежит с ним. Она берет его на руки, как берут детей. А ветер гудит: «спасай!» Руки Липы слабеют, и она снова опускает Андрея на кровать. Голова змеи показывается у подоконника. Змея шипит и свистит. Липа мечется в беспомощности и начинает бросать в змею чем попало. Но под рукой у нее какие-то жалкие вещи: носовой платок, стакан, блюдце, гребенка. И все это летит в змею. Змея уже вползает на подоконник. Липа бросается к окну, распластывает руки в стороны и закрывает собою путь в комнату. Но прорез окна слишком широк, и худенькое тело Липы не преграда для змеи. Змея скользит в незакрытую боковину. Липа бросается ей наперерез, змея быстро делает поворот в противоположную боковину. Липа мечется из стороны в сторону.

И вдруг позади нее открывается дверь в комнату, кто-то входит, спокойный и сильный, и говорит: «Вот как хорошо».

Липа открывает глаза. Лампа тихо светит, Андрей дышит мерно.

Липа поворачивается к окну, оно завешено. То был кошмар. Но позади нее голос повторяет:

— Вот как хорошо, как сладко он спит. Здравствуй, Липочка!

— Костя! — вскрикивает Липа. Она бросается к Константину. Ей кажется, что так

оно и ожидалось ею и должно было так быть, что он придет — и все станет хорошо. Но она вдруг краснеет перед Костей, как покраснела, когда доктор спросил, кто она Андрею. Ухаживая за больным, она уверяла себя, что Андрей будет здоров, все вернется к старому, все забудется и им, и ею, никто не будет вспоминать, как она была около Андрея, и она отойдет в сторону, спрячется в себя. Но появление Константина, казалось ей, все вдруг открыло и другим, и ей самой, скрывать больше ни от себя, ни от других ничего нельзя, и куда больше убежать от того, что стало теперь таким явным.

Она ждала, что Костя спросит: «А зачем ты, Липочка, дежурила здесь?»

★

Андрею встреча с Константином была так же отраднa, как в Москве.

— Полтора года не виделись,— сказал Костя,— а воды утекло целые океаны. Я совсем теперь стал другой, и все сделались другие. Теперь у нас одно слово и мысль одна: побеждаем, гоним. С той мыслью и не расстаемся никогда. Повеселили наши. И еще скажу тебе, Андрюшка, когда отступали, было тогда в душе на всех товарищей раздражение,— мол, не можете остановить, какая вам цена. А теперь уважаешь всякого. Смотришь на него и думаешь: «Если он что тебе поперек сделает, то можешь ли ты на него за это сердиться, ведь он муки вынес и теперь победил. И может быть, он завтра еще раз богатырем себя покажет. Может быть, вчера ты его за ничто считал, а нынче он объявился человеком с неустрашимым сердцем и с умом». Поэтому притча моя о войне будет тебе такая: всякого уважай,— уважай всякого,— не знаешь ты и не можешь знать, какого он героя в себе носит. Поэтому с почтением ко всякому подходи и с уважительной любовью.

О себе Константин рассказал немного.

— Прислан я сюда на завод принять новые партии усовершенствованных танков. Тут у вас не спят и все придумывают разные улучшения нашему танку. Замысловатый народ, как говорится,— хитер наш брат, мастеровой.

Константин заговорил с Андреем о матери.

— Ни на минуту не отходит дума о ней. Но ты не волнуйся. Будь тверд. Мать жива будет.

Узнав, что предшествовало болезни Андрея, Константин сказал:

— Виданное ли дело,— мальчишка расхворался и нюни распустил от первой не-

удачи. Отец бы тебя паш, если б узнал, то за такие штуки уж и не знаю что бы сделал... Знаешь какой он? Подерешься бывало или сломаешь что, укорит и ничего больше. А, избави бог, на глазах у него раскиснешь,— засмеет, задразнит.

При этих словах Константина Липа возмутилась.

— Неудачи так сильно действуют не на слабых, а на тех, у кого мечта глубокая. Вы Андрея не знаете.

Константин посмотрел на нее и сказал удивленно:

— Вон ты какая стала! А я-то и не заметил. Не девочка уже!

★

В день своего отъезда на фронт с танками Константин зашел к Андрею, взволнованный и потрясенный.

— Дай я тебя расцелую, братец ты мой,— кинулся к Андрею Константин. Глаза его блестели, в этом блеске была радость, а не печаль.— Победа, Андрюшка! Наша победа! Константин расцеловал Андрея.— Закончен разгром немцев под Сталинградом, сто тысяч бандитов взято в плен! Андрюшка, подумай только! Чего мы достигли, чего добились!

Константин не мог оставаться на месте. Ему хотелось двигаться, говорить, рассказывать, льковать.

— Я уж, Андрюша, пойду. На завод пойду.

Константин ушел. Андрей не удерживал его. Ему хотелось остаться одному со счастливыми мыслями о победе и заглянуть глубже в эти счастливые мысли.

Прибежала Липа. Она с самого порога увидела по лицу Андрея, что ему известны новости.

— Ты знаешь уже, Андрей? А я бежала, чтоб сказать тебе первая.

Она подошла к окну и начала отдергивать занавеску к самому краю, как будто ей хотелось, чтоб не было украдено от Андрея ни одного луча из этого ясного дня, торжествующего победу. Отдернув занавески, Липа сказала:

— Ох, Андрюша, если бы ты видел сейчас завод! Что там делается! Все друг с другом, как старые знакомые, заговаривают! И слезы на глазах! И смеются! У меня сейчас только что смена кончилась, я пустилась к тебе, а вижу, никто не хочет уходить с завода, никому не хочется расставаться друг с другом. Бегу к тебе и оглянулась: бывало смена волной течет к воротам, а тут все стелзились на дворе, стоят, говорят, на репродукторы на столбах смотрят; ждут — не

будет ли сообщено еще чего. Ты не сердись, я побегу на завод. Ну, а ты тут один побудешь,— ничего, теперь тебе и одному весело будет. Правда?

Запла сиделка и вдруг, против своего обыкновения, заговорила:

— Отливаются лютым мучителям наши слезы. В плен ихнего фельдмаршала и генералов взяли. И войска больше ста тысяч. Не то еще им от нас будет... Полежите, а я на немножко отлучусь...

И сиделка, не дождавшись ответа Андрея, ушла вслед за Липой.

Андрею казалось, что через стены больницы к нему врывается счастье и радость победы. Он лежал, широко открыв глаза, закинув голову, прижав руки к груди, как будто хотел крепко сжать свое сердце, трепещущее от счастья.

И вдруг ноги сами сбросили одеяло, Андрей вскочил. Преодолевая слабость, он почти бегом пробегал в коридор, спустился по лестнице в переднюю, накинул на плечи первое попавшееся пальто с вешалки и вышел черным ходом на улицу. Его тянуло на завод.

По дороге он завернул в общепитие. Там никого из его товарищей не было.

— Выпустили? — спросила его сторожиха.

— Да, выпустили. Дайте мне ключ от моих вещей.

Сторожиха дала ему ключ.

— Это хорошо, что тебя в такой день выпустили.

Он наскоро оделся и отыскал в своих вещах пропуск на завод.

По дороге в сборочный цех Андрей увидел у самых ворот цеха длинный поезд из платформ, на которые уже были погружены танки. Эти танки и должен был сопровождать на фронт Константин.

Андрей вошел в цех, когда там уходящая смена заканчивала легучий митинг, посвященный победе. Новая же смена уже приступила к работе. Когда раздались аплодисменты на заключительные слова оратора, очередной готовый танк сошел в конце поточной ленты с козел, стал на земляной пол цеха и тронулся с места. Раскрылись ворота, показался простор заводского двора. Уходящая смена потянулась в ворота вслед за танком. Выйдя из цеха, толпа повернула к железнодорожной ветке, где стояли готовые к отправлению платформы, груженные танками.

Андрей пошел за толпой, не помня себя, не слыша учащенного биения своего сердца, не чуя ног, весь поглощенный чувством слияния со всеми окружающими в общем пении-яснимом лорыве.

Высоко в небо взвился свисток паровоза. На платформы к танкам прыгнули команды бойцов, сопровождающие танки на фронт. И казалось, что сместились расстояния и что фронт находится где-то здесь, совсем близко.

Вскоре густая толпа растянулась вдоль поезда с танками. Ветер раскачивал над головами провожающих длинное полотнище, на котором огромными буквами были напечатаны слова из петровского приказа перед иставской битвой: «Воины, паста! час, который решает судьбу отечества. Не должна вас смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказали».

Показалось, что сместились и времена, и что далекие предки стали где-то здесь рядом, призывая потомков к бессмертным делам, возвеличивающим отечество.

Новый свисток паровоза. Команды на платформах стали по своим местам. Толпа замерла. Тогда из рядов рабочих выбежал старый сборщик, он вскочил на платформу к бойцам и, стоя высоко перед толпой, поднял руку. Наступала тишина.

— Поклянемся нашему великому вождю и непобедимому полководцу Сталину, — сказал старый сборщик, — поклянемся ковать без усталости новые и новые машины для окончательной победы!

Андрей уже не ощущал своего отдельного существования от толпы. Ноги его подкашивались от слабости, но ему чудилось, что он на крыльях, что им движет слиянная вера и сила всех этих людей. В нем самом и вокруг него звучал голос: «Клянемся Сталину, клянемся».

В толпе Андрей видел Егора Николаевича. Лицо его было сурово и сосредоточено. Неподалеку стоял Веселов, весь просветленный. Где-то мелькнула перед Андреем улыбающаяся Липа, а с нею рядом Топленый. Прорезал воздух третий свисток. Толкнулись платформы, ударились буфер о буфер, поезд тронулся.

Зашумела толпа. Топленый бросил шапку вверх и побежал без шапки за громящим поездом, махая руками и что-то крича. Поезд ушел.

Андрей добрал до сквера посреди заводского двора и опустился на скамью: им овладела усталость и блаженная безмятежность. Он смотрел на небо, на дальнюю кайму лесов, чернеющих среди снежных полей, и ему казалось, что самый воздух и вся природа кругом шапоены одним с людьми стремлением, одной всеобщей душой.

Загорелась над далью морозная вечерняя

заря. Сумеречной дымкой сгустился воздух. Темнело. А Андрей все сидел на скамье.

— Славная была заря, день завтра хороший будет, — сказал подле Андрея метельщик заводского двора.

— Да, — ответил Андрей про себя, — будет, будет завтра хороший день.

Он встал со скамьи и пошел. Он чувствовал, что теперь выздоровеет и завтра же из больницы уйдет; он встанет в цех и будет работать, работать без усталости, без отдыха работать.

Запыливали под черным небом почти огненными змейками этажи цехов. Андрей смотрел, как причудливо играют в ярком белом свете мощных ламп тени работающих людей и вечно бодрствующих в движении машин. И он чувствовал возвышающую гордость от сознания, что он солдат этих могучих рабочих полков, ведущих свое наступление упорно, настойчиво, неотразимо.



В больнице был переполох. Андрея искали. Врач выбранил его и уложил в постель.

— Но право же, доктор, я сразу выздоровел сегодня. Меня не надо больше держать в больнице.

За Андреем было установлено строгое наблюдение, чтобы он не сбегал. Однако врач, осмотрев его, с удивлением сказал:

— Да, это поразительно, — здоров. Вообще здоров. И что удивительно: слабости нет, превосходный пульс. Если так будет и дальше, я вас завтра же выпишу.

Неожиданно для Андрея зашел Топленый. Он начал сразу, как только сел у кровати.

— Я хотел бы с тобой водиться, Андрей, как следует. Будь спокоен, не шутящийся. Ты неправильно обо мне понимал, сторонился меня. Меня сторонился и Гаврюшин. Одна только Липа меня любит.

— А она разве тебя любит? — спросил Андрей.

— Вот ты, Андрюшка, и признался, что вы с Гаврюшиным меня не любите. Ну, что ж! И за дело, может быть, не любите. Вы еще всего про меня не знаете. Может, и совсем бы меня остерегались. Я теперь тебе могу сказать все откровенно. Вы про меня и сотой доли того не знаете, что я есть, а живем, каклись, рядом. Я тут в такую компанию завяз! — Топленый засмеялся, как будто воспоминания о компании были и озорчивы ему и приятны. — В такую компанию... Случайная встреча... выпили... потом в карты посадили играть. И пошл

встречи! Да не об этом сейчас разговор... Разговор будет о том, что сейчас всему этому конец. И навсегда.

— Как же это ты так втесался?

— В такую яму-то? Я и сам вижу, что яма, а втесался. Так вышло случайно. Но, признаться, и потянуло меня к ним. Они з денгах тошь пошизают и ценят деньги. А у меня денег здесь на заводе стало много. Ты бы спросил когда-нибудь, как я жил. Я родился-то, когда моей матери дома не было. Меня за нее тетка родила. У меня отец и мать больше об себе думали, чем обо мне. В детдом отдали. Но я в детдоме научился себя отстаивать, меня не затрешь. Чем больше меня ребята душили, тем больше я над ними коноводом был, А мать и отец где-то затерялись, может умерли. Я с восьми лет сам себе голова стал. Ты меня не любишь, что я жаден. А почему я жаден? Я нитки никогда своей не имел,— все детдомовское. А как в ремесленном сказали: эта зарплата твоя, и делай с ней что хочешь, я и погнался за копейкой. Моя, ведь,— потому давай ее сюда ко мне! Но кто про старое помянет, тому глаз вон. С нынешнего дня все иначе будет. Нынче у меня все внутри перевернулось. Я даже шапку потерял и не стал ее искать. Водись со жной, Андрей, водись смело. Раз я погляжся, я слово сдержу и с этой компанней видаться больше не буду. Сколько есть у меня на сберкнижке, это все я сегодня уже подписал на Красную Армию.

Андрей молчал. На душе его было торжественно и чисто. Топленый с его помощью оказался Андрею неприятным. Топленый это почувствовал.

— Чего же ты, Андрюшка, нахохлился, когда тебе дружбу предлагает не кто-нибудь, а я. Ты все-таки еще щенок белогубый. Но-твоему, если я что плохое сделал, так я уже совсем плохой. А в каком проценте у меня плохое? Ну сделал я десять раз что-нибудь дрянное, да зато девяносто раз поступил лучше самого распречистого ангела.

Андрей насмешливо спросил:

— Значит, выходит большой коэффициент ангельского в тебе?

— А чего ты, Андрюшка, заносишься-то? Б тебе пришел товарищ, рассказывает тебе откровенно о том, что у него плохо, что хорошо. Ты бы помог. Ты бы посоветовал. А ты хорохоришься. Ты поучаешь. Ты насмешничаеть. Что это такое?

Андрей долго не отвечал.

— Ну, скажи?... — настаивал Топленый.

Андрей сказал:

— А я тебе не верю. Вот и все.

Топленый кинулся к двери:

— Ну и чорт с тобой, если ты думаешь, что ты сам стопроцентный!

★

Позже пришла Липа.

— Я тебя бросила одного сегодня, не сердись.

Он попросил ее сесть неподалеку от него.

— Какой день сегодня, Липа! Так на душе торжественно.

— Я тоже, как услышала по радио, так и хожу целый день вся этим полна. Чтоб ни делала, что б ни думала, а все к одному возвращаюсь — к нашей победе. У меня был Топленый. Его не узнать. Он светится. Он такой нынче хороший. Он так хорошо говорил о тебе и к тебе собирался.

— Был уже. Я давно тебя спрашиваю, за что, за какие дела ты его так защищаешь и... любишь?

— А чем он плох? Скажи!

— Я бы ему одного, на твоём месте, никогда не простил, как он на Воробьевых горах слова нам сказал... грязные.

— Ты все помнишь? Это было сто лет тому назад. Ко мне это не пристаёт. Ты с ума сошел, Андрюшка! Зато сколько Топленый с тех пор хорошего сделал.

— Ага, значит, по статистике? Значит, счет ведем? Хорошую девушку грязными словами хотел запачкать — один процент отрицательного, но приятелю в беде помог — один процент положительного, и так дальше, и так дальше. Прикинем на счетах итоги. отметьте там еще, несколько раз имел перевыполнение в работе. Что же получается? Тридцать три процента отрицательного, шестьдесят семь процентов положительного. Так что ли? Мне досадно, что ты, Липа, горячишь так сегодня, в такой день, который никогда не забудется. Я думаю, все оставяют в нас свой след, не проходит ни дурное, ни хорошее. Это статистикой не меряется, числом не вычисляется. Если пустил что-то к себе в душу хоть раз, не сотрешь. Все лускает корни. И попробуй-ка вырви корни! Ах, как ты меня сегодня разозлила с твоим Топленным! Уж лучше бы ты ко мне не приходила.

— Ты — противный. А я за тобой ухаживала, я радя тебя...

— Считаю на счетах. Уходи лучше, Липа, от меня! Уходи, а то хуже наговорю тебе. Липа встала и ушла.

«Поссорились, — подумал Андрей, — ну и пусть, если она так хочет».

Липа же, выйдя от Андрея, вдруг открыла, что она не может уйти, что ей хочется вернуться к нему, просить у него прощения, сказать ласковое, остаться с ним и долго, долго сидеть молча, глядя на его гордый лоб. И она вернулась. Открыла дверь, готовая улыбнуться. Но ее встретил холодный, недовольный взгляд Андрея. Она неожиданно для себя сказала сухо:

— Андриушка, я злюсь на тебя не знаю как!

— Злись.

Тогда она разгорячилась:

— Ну, это уж, значит, навеки!

Она выбежала, хлопнув дверью. Ей хотелось плакать, и она видела, ощущала, что никто ей так не дорог, как Андрей.

★

Андрея выписали из больницы, и он вернулся в цех. Став к ленте сборочного потока, Андрей сразу же почувствовал, что ход сборки сделался теперь иной. «Все минуточки стали плотные и тугие, в один сплошной слиток слились, пальца — и того не просунуть между минуточками», — сказал Андрею Гаврюшин, когда до обеда пролетело утро без единой оглядки.

И так пошло, что каждый день, — утро за утром, вечер за вечером, — плотность минут в работе за лентой не ослабевала.

Андрей пережил то же чувство, какое было у него во время опасности для Москвы. Тогда ему казалось, что его подхватила могучий поток всеобщего подъема и воодушевления. И ему было радостно тогда отдаться течению этого потока; теперь также казалось, что сила порыва, наполняющая всех кругом, переливается и в него и делает его сильнее, чем он мог бы быть.

Андрей решил не считать мечту об изобретении развитой, не поддаваться неудаче, а собрать все силы, чтобы довести до конца задуманное дело.

Было объявлено, что осенний набор 1941 года закончит свой курс и будет выпущен из училища к началу лета. Чем ближе подходил этот срок, тем больше волновались товарищи Андрея. Андрей же не ощущал волнения. Он уже поставил себе новые цели.

В день выпуска, после того как закончилась раздача аттестатов и «официальная часть», к Андрею подошел Егор Николаевич.

— Уйдешь из училища, меня и не вспомнишь, — сказал Егор Николаевич.

Андрею вдруг до боли стало жаль всего, что он покидал. Классные комнаты, коридоры, ставший привычным за два года ежедневный круговорот уроков и «переменок» — все казалось милым и любимым. Но сказать Егору Николаевичу обо всем, чем наполнилось в эту минуту сердце, Андрей не решился.

— А я тебя, Андриуша, очень любил. Хороший ты мальчик. Ты очень похож на моего сына, который погиб в бою.

Андрей с горячностью повернулся к старику:

— Егор Николаевич, я вас никогда, никогда в моей жизни не забуду...

От смущения и от застенчивости Андрей схватил не руку Егора Николаевича, а рукав его пиджака и притянул к себе. Егор Николаевич пробормотал:

— Ну, ну, ступай, ступай, — и быстро отвернулся от Андрея.

А Веселов сейчас же по окончании «официальной части» прошел в общежитие к приему только что прибывшей в училище партии новичков. Казалось, что его сразу же перестали интересоваться те, кто выпущен, и что все его заботы и мысли могут жить только в пределах училища.

★

Андрею отвели в новом доме юношеского городка комнату на двоих вместе с Гаврюшиным.

— Андриушка, что ты скажешь, давай плясать! — сказал Гаврюшин, когда командант, водворив их, ушел, и они остались одни. — Вот она и началась наша с тобой новая жизнь!

Их первым гостем на новом месте оказался тот, кого они не ждали. Вечером к ним зашел Веселов. Это тоже был знак, что началась их новая жизнь.

— Я пришел по делу, — сказал Веселов. — По предложению директора завода товарища Киселева я веду курсы по повышению технической квалификации рабочих и мастеров. Сейчас произвожу прием в новые группы. Пришел вас пригласить обоих и настоятельно вам рекомендовать не пропустить этот случай. Я затем и хлопотал, чтоб вас вместе поселили в комнате, — легче будет вдвоем заниматься.

★

Андрей с жадностью накупился на новые знания. Но чем больше он узнавал, тем больше казалось ему, что он отстает от

своей цели. Пока он знал мало, он думал, что это уже много; узнавая же больше, он убеждался, как мало успел узнать. Он урывал все больше времени от своих свободных часов для чтения и учебных занятий. Как ему проснется Гаврюшин, а Андрей все сидит за книжкой или чертежом.

Иногда бывали у него срывы энергии. Тогда он впадал в отчаяние, говорил себе, что он ни на что не годен.

Его работа в цеху за эти месяцы дала ему много новых наблюдений. То, что он раньше оставлял вне своего внимания, теперь возбуждало в нем любопытство и интерес. Он ясней представил себе весь механизм ходовой части и ближе пригляделся к ее отдельным деталям.

Андрей вернулся к своему первому изобретательскому проекту. Но достиг только одного: совершенно убедился, как был прав проект. Открылось вскоре и другое, — что он и теперь бесконечно далек от решения своей изобретательской задачи. Андрей надолго впал в безразличие. Он только механически выполнял свои обязанности в цеху и на курсах.

Но и в дни этого длительного внутреннего безразличия Андрей пожинал плоды своих первых побед. Он уже научился приступить к работе в бодром, ровном состоянии духа, каковы бы ни были его настроения и мысли, а умел в цеху и на курсах доводить свой рабочий день до конца, не давая вниманию отвлекаться от работы, и не сбавляя деловой сосредоточенности.

В один из таких дней внутреннего безразличия Андрей вдруг и неожиданно для себя остановился на мысли: а вполне ли целесообразно размещены в танке приборы, ориентирующие водителя. Ему показалось, что можно было бы их расположить удобнее и тем облегчить водителю управление машиной. Как именно следует расположить, Андрей не знал, но, отправляясь домой, он по дороге не мог отделаться от мысли, что существующее в танке размещение приборов может быть лучше. И с той минуты эта мысль от него не отставала больше. Вначале она причиняла ему даже горькие чувства: Вот, — подумал Андрей, — хотел найти лучшее основ ходовой части, а теперь задумался над небольшой частностью». Однако кривизна уже как не бывало, и Андрей снова вернулся к работе над собою и к поиску конструктивного решения лучшего размещения приборов. Он стал облекать свои предположения в чертежи. Он громоздил клятки, сотни чертежей и прятал эти путевые наброски от Гаврюшина, не

рискуя открыть ему свои искания из боязни, что его снова может постигнуть неудача. Чем дальше, тем настойчивей становились искания Андрея, тем усильней он проводил ночи над чертежами. Но решение все еще не находилось.

Андрей вспомнил клятву, вспомнил, как он готовился выйти на самый трудный, последний для него, подвиг. И ему открылось, что самый трудный его подвиг будет в том, чтобы удержать в себе постоянно и всегда готовность отдать себя великому делу.

В вечер, когда эти мысли подняли, как на крыльях, его сердце, Андрей сидел один, склонившись над чертежом, вычерчивая и приглядывая все одно и то же, одно и то же. И вот среди других он пробует одно небольшое изменение в уже найденных, но неудачных, размещении приборов. И это оказывается тем, что он искал так долго. Все становится на место, и решение задачи, наконец, приходит к нему.

Андрей огляделся вокруг: та ли это комната, он ли это? Потом он крепко зажмурился и снова открыл глаза: не грезит ли он?

В эту минуту постучали в дверь, и вошла Липа. Не думая ни о чем, Андрей вскочил, бросился к Липе, обнял ее, расцеловал. Липа вспыхнула и отстранила его от себя.

— Липа, знаешь ли ты, я, кажется, держу в руках перо жар-птицы!

Липа посмотрела на него, и ей показалось, что она поняла его, так был он весь светел. Она тогда сама потянулась к нему, и он еще раз поцеловал ее. Дверь раскрывалась, и на пороге появился Гаврюшин. Увидев Липу и Андрея, Гаврюшин вспыхнул и стремительно убежал.

— Что мы сделали, что мы сделали! — сказала Липа. — Я не могу, я уйду!

Она повернулась к двери и ушла. Андрей не стал ее удерживать. Он бросился к столу и стал набрасывать уточненный чертеж того, что ему удалось найти.

Андрей закончил поздно. И лег, весь пылая мечтами. Он не слышал, как вернулся Гаврюшин.

Проснувшись рано, — это был выходной день и Гаврюшин спал, — Андрей вскочил и не одеваясь, достал сделанный накануне чертеж. И стал рассматривать его. Вдруг он почувствовал, как весь холодеет: все оказалось не так, как представлялось накануне. Он увидел, что ему еще оставалась трудная работа по доделке, по уточнению своей конструктивной находки. Но это уже была работа, полная уверенности.

Когда у него был до конца уточнен чертеж, он показал его Гаврюшину.

— Вот, Гаврюша, это я придумал. Я тебе верю, доверяю, взгляни. Но только показывать это, кроме тебя, никому не буду. Может быть, это глупость.

— Зачем же ты мне показываешь и отдаешь мне в руки такой секрет. Не надо. Возьми назад. Теперь-то особенно... после того, как я видел тебя с Липой. Что ты на меня так, Андриюшка, смотришь? Я и сам об этом только тогда догадался и открыл.

— Об чем?

— А вот об чем ты думаешь сейчас, — ну, о ней... ну, о том, что я к ней.., что она мне...

Андрей сунул чертеж в руки Гаврюшина.

— Говорю, возьми же и посмотри, и посоветуй по-товарищески.

— За это, Андриюшка, вечная моя тебе дружба. И вот тебе слово; пусть во всем будет у нас с тобой все прямо, честно по-товарищески. Хочешь?

— Руку, Гаврюха!

Гаврюшин торжествовал победу Андрея больше, чем сам Андрей. Он громко засвистал. Но взглянув на перенесенный им из общежития плакат своего собственного сочинения: «Свистанье в комнате раздражает и мешает так же, как табачный дым. Не свистите!». Подпись: «староста Гавриил Гаврюшин» — перестал свистеть.

— Сегодня же Андрей надо показать твой чертеж... подожди, кому бы его лучше всего показать?.. Знаешь, я придумал, — покажи его прямо Холодову, чего пугаться.

— Холодову? Что ты сказал?

— Ну, Баранову. Вот хорошо! Показывай, Андриюшка, прямо Баранову.

При упоминании Баранова Андрей рассердился и выхватил чертеж из рук Гаврюшина.

— Челуху, Гаврюша, мелешь. Не будем об этом говорить.

Но говорить они продолжали все о том же. Размечтавшись, они в крайнем возбуждении отправились гулять. На прогулке Андрей признался Гаврюшину, что он боится исцеления.

— А ты не имеешь права думать только о себе, Андрей. Знай, если не передашь проект на рассмотрение, я поступлю с тобой так, как надо с такими поступать. Запомни это.

Они пошли к дому.

— Знаешь, Гавриил, мне кажется, меня

начала трясти тифозадка. Не жар ли у меня начинается опять?

Когда они вошли в дом и поднимаясь к своим дверям, они остановились в удивлении.

— Слышите, Андрей? В нашей комнате разговор. Что бы такое могло быть?

Отворив, Андрей сначала увидел женщину, незнакомую и вместе с тем чем-то близкую. Она была седая. И тут же взгляд Андрея скользнул на Константина, сидевшего у стола.

— Мама! — вскрикнул Андрей. Он упал на колени около ее ног, прильнул к ней. На слез у него не было. Казалось, все в нем испепелил и иссушил в одно мгновение огонь горького горя. Прильнув к коленям матери, он ловил ее руки, целовал их, и у него не было сил поднять голову и еще раз взглянуть на мать.

Она гладила его ласково по голове.

— Страшно тебе, дитяшко, Андриюша, взглянуть на мою седину.

Константин рассказал, как он попал...

— Я прибыл на фронт с ловыми танками. А воинская часть, куда я прибыл, получает приказ выступить в обход и в тыл городка. Говорю тогда командиру: «В городке, предлагаю, моя мать и жена застряли; разрешите мне в качестве водителя-испытателя... А он перебивает меня. «Понял, — говорит. — Ваше желание законно, водитель-испытатель Яблочев. Можете идти в атаку с моими танкетками. Вот я и возвращаюсь в городок первым. И прямо к домику, где Симочкина тетка жила. А немцы уже бегут! Остановился я у дома. Приподнял люк. Жители наши — старики, старухи — ко мне. Спрашиваю, не вылезая, где такие то. Отвечают: два дня тому назад, их немцы угнали. Захлопнул я люк. «Эх — думаю, — опоздал». И пошел давить гитлеровских клопов, как попало. А к вечеру узнаю: нашли в тюрьме советских людей полуживых. Как будто сердце чуяло, — я туда. Вот там маманю нашу и нашел. Ее пытали немцы за то, что на вокзал прибежала и бросилась на немцев, — отбить хотела Симочку, когда поезд тронулся и Симочку угоняли на каторгу в Неметчину. Так и угнали, а маму убить не успели второпях. Через короткое время я получил контузию, быстро отлежался и поехал на завод на поправку. Вот маму я привез с собою.

Константин был полон веры, что Симочка найдется, вернется и будет с ними вместе.

Прибежала Липа. Увидев мать Андрея, она закричала:

— Мама моя? Где моя мама? Неужели не придет сюда? Моя мама?

Липа за все время, как узнала от Андрея о смерти своей матери, не плакала ни разу. Теперь же рыдала.

— Ты, знать, очень долго, Липочка, моя, не плакала сдерживала свою печаль. Она и слезлася в камень. А теперь вдруг прорвалась наружу. Плачь, плачь, милая, тебе будет легче,—приговаривала над нею мать Андрея.

★

Написали отцу, чтобы приезжал.

— У него дела неотложные найдутся, и он делам своим покорится и не придет сразу,— сказала мать.

Константины, написав, прочитал матери и подписался.

— Подпишись и ты, Андриуша,— сказала мать,— отец твоей просьбой тронется больше, чем нашей с Костей.

★

Мать поселилась вместе с Константином в доме для приезжих. Андрей стал заходить к себе только ночевать. Мать требовала, чтоб Андрей был с нею как можно больше. Если надо было ему уходить, она просила: «Ну, еще минуточку останься, одну минуточку. Посиди со мной подольше. Я все боюсь, коль расстанемся на минуточку, то я вас и совсем никогда не увижу, сыночки мои ненаглядные».

Когда сыновья провели с нею целый свободный день, она сказала:

— Счастливым какой нынче день. Не знаем мы счастьем цену. Так бы и сидеть с вами. Дайте слово, что никогда больше мы не расстанемся друг с другом.

Однажды, когда Андрей был с матерью, прибежала Липа, стремительная и взволнованная. Мать заметила ее встревоженность.

— Что ты, Липочка, бог с тобой! Не случилось ли чего?

— Ничего, тетя Алена, не случилось.

Но мать и без того была встревожена:

— Я нынче с самого утра ждучего-то,— сказала она,— как пришла из нашего заводского магазина, так и расстроилась. Далеко мы найки на двух сыновей, еле успела.

Иду и чувствую, что краснею от стыда, как подумаю: там-то, под немцем, до чего дико нашим жить, а мы тут в защите и ухожены живем. И вместо того, чтобы действительно воссылать благодаренье, ропщем на судьбу и сетуем палрасно.

Липа выбрала минуточку и пошла к Андрею.

— Твой отец приехал, дожидается у меня. Сбегай скорей, а я здесь побуду, с тетей Аленой.

★

Отец встретил Андрея ласково. Это был прежний Михаил Акимыч и держал он себя так же, как прежде, когда был председателем колхоза: с оглядкой и с соображеньем, какое впечатление надо на людей произвести в деловых целях. От того Михаила Акимыча, пригнутаго к земле, каким видел отца Андрей при эвакуации через Москву, не осталось и следа. Отец выпрямился и возродился.

Обнял он Андрея крепко и задержал его на мгновение. Потом, отстранив от себя, поклонился:

— Вырос, окреп! Молодчина! Умеешь делать, чему в училище учили? Молодец, молодец!

Отец стал осторожно расспрашивать Андрея о матери.

— Пойдем прямо к ней,— позвал его Андрей.

— Нет, так сразу нельзя. Ты по молодости этого еще не понимаешь. Вначале думал я Константина выспросить. Но он удорять бы стал меня. Ты не будешь корить отца? Знаю, Андриуша, мою вину. Каялся тебе в Москве. Да вель не корысть же мной владела, когда я хлопотал имущество спасти, а порядок того требовал, чтоб сберечь и все потом непременно на место в целости поставить.

Отец долго не решался спросить о том главном, что его пугало.

— Что ж она, Андриушенька, простила меня или не прощает? Пока об этом не удостоверюсь, не буду знать, как мне и приступить.

Андрей не мог рассеять опасений отца.

— Она нам ничего об этом не говорит. Сказала только, когда письмом тебе писали, что ты не сразу приедешь.

— Это она верно узнала, задержался я ровно на четыре дня. Весна подходит. А на мне в большом совхозе большие дела, все рабочие руки расставить и всю спасть в порядок привести.

Отец наказал Андрею:

— Посылаю тебя как сына, спроси у матери, позволит ли она мне прийти.

★

Прийдя к матери, отец сказал:

— Прости, прошу тебя. Я настралался за свою вину.

— Повинную голову и меч не сечет, Миша.

Так же, как у Липы при встрече с матерью Андрея прорвалась наружу печаль, так у Константина прорвалась наружу любовь к отцу и восхищение перед ним, долго скрываемое из-за мелких семейных расхождений.

Казалось, что теперь перенесенные горести и несчастье сделали семью дружнее, казалось, теперь каждый больше любит, прощает и больше жалеет друг друга.

Оттого, что хорошо обошлась первая встреча, отец повеселел и стал рассказывать о себе и спрашивать о других.

— Я ждал тебя, Елена Федотовна, — сказал он жене. — И сделал все в горнице, как дома. И приладил тебе такую же скамеечку под ноги, как была у нас. Сам столярил, сам красил в голубой, любимый твой цвет. И приготовил так, чтоб все потребное было под рукой. У меня все было там завезено в порядке до ведерышка, до ушлица, до кадушки, до окаренка, до ковничка. Как привез я своих деревенских в те места, трудно было вначале. А под боком большой совхоз, рабочих рук нехватает. Я им, пожалуйста, рабочие руки. Так и осели все мы в этом совхозе. Как дело-то загудело. Первое место среди всех совхозов в округе заняли. Я тебе, Константин, скажу, не хвалясь, — многому я их научил там в совхозе. Главное, они не умеют, как надо всякого человека на свое место поставить. Ну, да и я многому у них научился. Теперь иначе будем все планировать в колхозе. Век, говорятся, живи, век учись. И шароду я повидал там всякого. А до сих пор видел только своих русских. Вначале я гордился: у других, мол, все хуже. Хозяйка на квартире у меня была Фатима — татарка. Так я звал ее «впотьмах». Все у нее казалось мне не так: и поклониться не так, и воду несет не так, и обидится не там, где надо, и благодарить начнет, где не за что. Потом хозяин появился. Так тот, когда чай садился пить, сапоги снимал. Я опять хуюю: что за обычай? А у него просто сапоги малы были, ногу жали. Дальше — больше, вижу: у всякого свое хорошее есть. Народ татары — чистый, честный. Еврейка

тоже там у нас была одна. Какое великодушие в себе имела. Доктор по специальности. Пежилая, седые волосы. Ну, скажите, прямо только для того будто и родилась, чтоб услужить и помочь страждущему человеку. Бывало от наших баб только и слышишь: «Дай бог здоровья Маросевне». Она Маросовна. А наши на свой лад ее Маросевной звали. Дружно там все жили.

Андрея заставил отец подробно рассказать об училище и о работе на заводе.

— Выпустил я тебя из своих рук рано: рано немного. А теперь уж ты в собственном хомуте и в своих оглоблях ходишь.

Андрей рассказал, как был в тылу у немцев, рассказал о школе и о заводе, не утаив о неудаче изобретения и о своей болезни.

— О делах твоих против немцев ничего не скажу. Тут у тебя все как требуется. А похвален ты уже сверх меры от правительства. Так и скажи себе: это мне дано сверх заслуги моей.

Андрей рассказал, как были хороши с ним Егор Николаевич и Сергей Никифорович. А отец на это:

— А не нравятся мне, Андрюша, твои наставники. Плохие они педагоги. Ремеслу научить — научили, а как же они упустили, чтоб у тебя выдержки настоящей не оказалось в трудную минуту? Как же они болезнь твою не предусмотрели? Значит, не сумели в вожжах тебя держать соразмерно. Значит, позволили тебе не по силам рысь в беге развить, вот ты и засбил, как молодой рысачок. Ну, а теперь что же с твоим проектом? Если бросил, то и не сын ты мой будешь, а трещотка на ветру.

Узнав, что Андрей не решается передать свой новый проект руководству завода, Михаил Акимыч расстроился:

— Да разве можно так? Вдруг это годится в дело, а у тебя попусту будет валяться. Думал ты об этом? Нет, ты еще не воспитался до настоящей точки. Ну-с, будем серьезно дело исправлять. Кто тут у вас директор? Биселев? Ну, пусть будет Биселев. Веди меня, откуда бы ему позвонить. Вели, вели, не рассуждай, речь идет о деле.

Михаил Акимыч добился от секретаря, чтоб к телефону подошел сам директор.

— Это товарищ Биселев? Товарищ Биселев? Позвольте — Василий Степанович? Ну, да, я — Яблонов, Михаил Акимыч, верно. Василий ты ли? Узнал? Сразу, говоришь узнал по голосу? Ну, история! Я — здесь. Вот... На днях приехал. Дело к тебе. Срочно. Ну что ж, — приду. Только не опни. Сын мой

у тебя на заводе. Конечно же, тоже Яблонев. Нет, этот не испытатель. Это другой — младший. В сборочном.

Оказалось, что Михаил Акимыч и Киселев давно знакомы.

— Мы на краткосрочных курсах с Василием Степаньичем вместе были, когда коллективизация проводилась; он в тысячниках был. Это человек-голова. Впору любому парку по уму. Не зря директором такого завода поставлен.

Собираясь к Киселеву, Михаил Акимыч набрался и надел рубанку с галстуком.

— Идем не к кому-нибудь. Сама по себе должность, не говоря о человеке, уважения достойна и требует, чтоб явились мы оба в чинном порядке.

При умываньи Михаил Акимыч спросил:

— Откуда здесь, посмотрю я, тазики такие аккуратные, и кружечки, и бидоны хорошие?

Константин объяснил, что все это производится отделом снабжения при заводе из отходов.

— Тут, отец, и кровати делают сами, и кастрюли. И мыло варят. И сапоги из резины делают. Это твой Киселев завел. Он и в танках и в мыле толк знает. Про него на заводе говорят, что он знает все лучше всех.

Михаил Акимыч не любил хвалить не разобравши, а потому промолчал. По пути же к Киселеву, взглядевшись в дорогу, где танки растолкли снег и разворотили землю, сказал:

— Глина-то, должно, хороша здесь. Гершки-то при заводе не делает Киселев? Одной жестяной посудой не обойдешься. Да и жечь на что другое повернуть можно бы. Недоглядка.

Директор принял своих гостей в небольшом кабинете, где, несмотря на суровый мартовский день, была открыта балконная дверь. Киселев был голубоглаз, высок, широкоплеч, в его движениях чувствовалась сила, — даром он был в прошлом молотобоец.

Когда расположились вокруг стола, Андрейсел спиною к открытой балконной двери.

— Пересядьте сюда ко мне, молодой человек, — сказал Киселев ласково, — мартовский ветер — опасный враг, а к врагу никогда не надо оборачиваться спиной.

Потом директор сказал отцу Андрея: — Посмотрю на тебя, Акимыч, ты все такой же. Попробуй живей.

— А отчего же бы мне не быть таким? Что мне делается! Я, как говорится, лошадь молодая: первая голова на плечах и шкура не ворошена. Везу свой воз честно.

— А ты и весел, смотрю, попржежнему.

— Да ведь не всяк весел, кто поет. И за несней плачется.

— О чем же плачешься? Рассказывай с чем пришел.

Михаил Акимыч рассказал. Киселев до конца выслушал, подумал минуточку, поднял телефонную трубку:

— Холодова.

Киселев говорил в трубку тихо и как бы усталым голосом.

— Алексей Алексееч, есть рационализаторское предложение о новом размещении приборов... Как? Вам уже известно?.. Но проект еще в столе у автора... доставлен вам?.. Автор сидит у меня и отрицает... Может быть, другой проект? Кто доставил? Нет, у меня Яблонев... О Гаврюшине я ничего не знаю... Так... Так... Хорошо.

Киселев положил трубку.

— Все будет в порядке. Пока неясность с авторством. Мне называют также какого-то Гаврюшину. Но вы, молодой человек, тоже будете вызванн завтра в наше конструкторское бюро. Удовлетворены?

Андрею стало страшно. Как мог Гаврюшин решиться на то, чтоб присвоить себе чужой проект?

Андрей уже не видел перед собою ни отца, ни Киселева. Ему хотелось бежать скорее отсюда. Но Киселев удержал отца.

— Где ты теперь кочуешь, Михаил Акимыч? Может быть, у меня на заводе бросишь якорь?

— Сказать правду, недоглядки у тебя в хозяйстве я нашел. Например, глина ходит втуге. Мог бы посуду глиняную делать.

Киселев засмеялся.

— Ты извини, Акимыч, верно не доглядели. Мы тут другим больше занялись: танки делаем. На тридцать седьмой день после переезда завода со старого места уже выпустили первую партию танков.

— Зря отводишь. Все равно как я стал бы хвалить себя за то, что у меня машины в калхозе работали. Завод перевез не ты сам. Гердиться нам не собой, а нашим верховным хозяйственным штабом надо. Это наш штаб все так спланировал, да еще во время всеобщего невиданного пожара.

— Не сердись, Акимыч. Подумаем и о глиняных горшках как-нибудь.

— Не надо как-нибудь, — если работать как-нибудь, то никак ч не будет.

Михаил Акимыч продолжал:

— Ребя я видел тут поблизости. Собра

бы подсобных и чернорабочих, ловить бы рыбу наладил.

— Так что же? Оставайся и управляй этим делом.

— Нет, Василий Степанович, мы — парол в себе девластный. Я с людьми своего колхоза связан и никуда от них уйти не волен.

— Неужели думаешь, что без тебя воз на месте станет?

— Оно может и не станет. Но про воз так в народе говорится: что, мол, передние колеса везут, а задние сами катятся. Это хоть к себе прикинь. Например, на заводе. На это тоже пословица применима: не огонь калит железо, а мех. Понять надо: тот, кто раздувает мех. А раздувасшь-то ты. Ясно?

★

Дальше события повеслись для Андрея, как струи, вовлеченные в стремнину водопада.

Прибывав домой, он не застал Гаврюшнина. Гаврюшин в этот день стал на повторную смену в честь новой победы, Красной Армии.

Андрей излил свои сомнения Лине. Лина отвечала:

— Почему дурному о Гаврюшнине не поверю.

— Вот так же, Лина, мы хотели думать и о Толченом. Оказалось же?

— Не тужи, что обманулись. Хорошо люди всегда видят вокруг себя больше хорошего, чем плохого.

— Я не знаю, — сказал Андрей, — как я теперь дождусь до утра. Как я пойду к Холодову?

Ночь же наполнилась для Андрея неожиданными событиями. В обычный вечерний час радио сообщило о новой победе. От врата был очищен район, где расположена деревня Андрея.

Отец немедленно стал готовиться к отъезду.

— Надо возвращаться в родные места. Хлопот-то, хлопот! Шутка ли двести семей водрузить на место! А ведь сев на носу. Какой-нибудь месяц остался. Ведь без меня нашим не справиться.

Отец, радостно возбужденный, обратился к матери:

— Ну, Елена Федотовна, поднимайся в путь. Заедем за нашими земляками и там дальше на родное пепелище. Поскитались, хлебнули горя, и за работу на своем месте, неутомимые муравьи.

— А как же я поеду? — отозвалась мать. — Опять расставаться с сыновьями. Опять разрыв семьи на две части. Я, отец,

уж при последних силах. Теперь бы отдохнуть. Останься здесь! Хорошее тебе дело здесь находится. И сыновья же при безделье. Мы слово дали друг другу больше не расставаться. Заменяй себя другим; в колхозе есть орлы не хуже тебя. За все, что я выстрадала, уважь меня, успокой.

— Мы все выстрадали.

— Да ведь кто по чьей вине.

И только мать сказала это, отец вскипел, закричал:

— Попрек, попрек! Когда все это кончится?

И выбежал из комнаты. Мать заплакала: — Зачем это слово вырвалось у меня? Уж лучше бы мне головой об стену, чем ему бросить такое.

Константин спокойно сказал:

— Куда он тебя тянет? Что вы там найдете? Голое место, землянки. Голову пегде будет преклонить. С твоим надломленным здоровьем да начинать все сызнова. А здесь ты без забот, с нами. Я — против. На новые страдания я тебя не пушу.

Вошел отец.

— Что ты решила? — спросил Михаил Акимьяч.

Мать молчала. Тогда отец сказал:

— А когда мы наши жизни соединяли вместе навсегда, ты мне в верности клялась. Вот он и наступил день... Я не могу от своего дела отказаться. А что я там на разореньи найду? Какую буду нужду иметь в помощи друга — подумать только! И ты меня в такую минуту оставишь? Неужели променяешь меня на погой?

— Подожди хоть до утра, — попросила мать.

Все четверо не спали в эту ночь. Отец прилегал на кровать, но вставал не раз и, связывая свои узелки, с ожесточением отбрасывал в сторону, если ему попадало под руку что-нибудь из вещей матери.

Ночью к ним постучали.

— Пустите, это ко мне телеграмма. — сказал отец, — земляки беспокоятся, выеду ли немедленно.

Он соскочил с кровати, обгоняя сыновей, и бросился отворять.

Но это был посланный из конструкторского бюро. Андрея требовали к Холодову.

★

Андрей шел, не чуя ног. Бестревожно мерцали звезды. «Чем выше, тем бестревожней, — подумал Андрей, — но и у меня есть своя высокая звезда».

Секретарь Холодова строго сказал Андрею: — Не говорите так громко. Знаю, что вы вызваны. Но можно говорить потише, я же слышу... Присядьте. К товарищу Холодову сейчас нельзя.

Секретарь был озабочен, позвал другого и спросил:

— Тут еще назначены вызовы? Вызывать ли? Или подождать?

Андрей заметил, что не только секретарь, но и все, кто заходил в приемную, были в необычном состоянии. До Андрея долетели обрывки разговоров:

— К аппарату вызван? С кем говорит? Москва? А кто Москва?

Секретарь отправился в кабинет Холодова. Оттуда из-за полузакрытой двери до Андрея доносился его голос:

— Квартира директора? Разбудите и срочно передайте Василию Степановичу, что Алексей Алексеевич Холодов вызывает к телефону товарищем Сталиным.

Андреем овладело торжественное чувство. Он уже больше не думал о себе.



Как только вернулся Холодов, Андрея вызвали первым. И ему казалось святотатством, что он будет говорить с Холодовым сейчас же вслед за тем разговором.

Холодов был мал ростом. Все в нем было обыкновенно: и рубашка с мягким воротом, и короткая пиджачок, и улыбка тихая. Но глаза светились. И когда Холодов заговорил, Андрею показалось, что Холодов все видит и все знает про его душевное состояние в эти минуты.

Холодов попросил Андрея рассказать, как он пришел к своему рационализаторскому предложению. Он говорил с Андреем медленно, вникая в мелочи, и казалось, что у него только и есть дела, как разговаривать с Андреем, а кроме этого нет никаких забот. — так он был внимателен и нетороплив.

Холодов похвалил предложение Андрея и сказал, что в нем есть правильная находка, но еще не воплощенная в законченную конструкцию.

— Мы вам поможем это доделать. Вот мы вас к себе в конструкторское бюро и переведем на работу.

У Андрея зашумело в ушах и смешалось все перед глазами. Он в этот миг ощутил, как будто его судьба перешагнула через пропасть, которая раньше казалась ему непреходимой.

Однако, когда Холодов стал говорить подробно о рационализаторском предложении

Андрея и особенно хвалить одну из деталей проекта, Андрей замер в испуганном недоумении, и у него вырвалось:

— Это не о моем. Этого у меня нет в предложении.

— Вот посмотрите. Это ваше? — Холодов протянул Андрею чертеж и объяснение к нему. На чертеже и на записке было обозначено авторство Андрея. Да это и был его чертеж. Андрей стал всматриваться подробней. А Холодов продолжал: — Тут на папке, в которую вложен проект, есть пометка секретариата: «Предложение А. Яблонова из сборочного цеха. Доставлено Г. Гаврюшиным. Для переговоров вызвать Яблонова». Что это значит?

Рассмотрев подробные чертежи, Андрей понял, что деталь проекта, которую особенно хвалил Холодов, принадлежит не ему, а тому, кто исправил, — очевидно, Гаврюшину.

Андрей все это тут же и рассказал Холодову.

— Ну вот и прекрасно! — сказал Холодов. — Какой хороший у вас друг, все написал вам, а о себе ничего и не упомянул. Он тоже учился в ремесленном? И тоже работает в сборочном?

Холодов сделал на блокноте отметку и закончил.

— Передайте товарищу Гаврюшину, что я приглашаю и его на работу в конструкторское бюро. Ему сообщат, когда зайти ко мне. Мне нужно сейчас молодое пополнение. Но запомните, Яблонов, мои обязательные установки, если хотите стать членом нашей конструкторской семьи: первое — мы не конструкторское бюро при заводе, а конструкторское бюро завода, значит придется все время бывать и работать в цехах. Второе: придумать хорошую конструкцию — это для нас только полдела. Другая половина дела, — это найти, как сработать данную деталь быстро и из имеющихся материалов и имеющимися у завода средствами. Это особенно важно в военное время, когда нужна скорость. Поэтому все, что будете придумывать, проверяйте под углом технологии. Мы наши изобретения даем вначале на съедение технологам. Киселев ничего от нас не примет, пока не докажем, что завод может это сделать. А теперь третье и последнее, откуда вытекающее: я требую от изобретателей вместе со смелостью также и терпения, усидчивости; наше дело такое, что все новое открывается постепенно, шаг за шагом, по мелочам, после тысяч проб, прикидок и сотен вариантов. У нас в бюро иногда неделями и месяцами бьются над какой-нибудь мелкой деталью. Сколько исчертят бумаги и

сколько прольют пота. Не бойтесь усидчивого труда. Закаляйте себя и совершенствуйте свою работоспособность. Вы имеете счастье принадлежать к поколению, дисциплинирующему себя для осуществления великих целей.

★

Выйдя от Холодова, Андрей чувствовал смущение перед будущим. «Если хотите стать членом нашей конструкторской семьи», — могут, значит, и удалить из семьи, если не будете достойн. И так, — новый подъем на гору. Андрей от радости не знал, куда ему броситься: к родителям или к Гаврюшину. Потянуло к Гаврюшину.

Гаврюшин крепко спал после двух смен, проведенных без перерыва на работе.

— Вставай, Гавриил, вставай, друг мой! Пришел тебя поблагодарить.

Гаврюшин приподнял голову, взглянул, не видя, повернулся и глубоко зарылся в подушку.

— Очухайся!

Гаврюшин потянул на голову одеяло. Андрей откинул одеяло.

— Соня проклятый, открой глаза и уши!

Гаврюшин в полусне опустил руку к полу, схватил башмак и бросил в Андрея и тут же опять завернулся в одеяло.

— Ах, ты так!

Андрей содрал одеяло и оставил Гаврюшина непокрытым. Гаврюшин свернулся калачиком и продолжал спать.

— Тебя же приняли в конструкторское бюро, тюфяк ты этакий.

Гаврюшин подпрыгнул и соскочил с кровати:

— Где? Что? Кого? Меня приняли? За что?

Андрей быстро рассказал.

— Это ты, Андрей, устроил. Вот уж друг, так друг. Но все-таки, зачем же ты во мне сомневался?

Андрей стал объяснять, но, взглянув на Гаврюшина, увидел, что тот, сидя, снова заснул, и на лице его сияла сладкая улыбка.

★

По дороге к родителям Андрей, вдохновенный и счастливый, думал: «Скажу матери что она должна ехать с отцом».

Но когда он пришел, он увидел, что улыбки матери сложены и она готова к отъезду.

— Разве я отца нашего оставлю, брошу одного?

Отец был молчалив. Его, видимо, тяготило сознание, что он потребовал жертвы от матери и принял эту жертву. Но глубокое его удовлетворение исходом дела обнаружилось, когда он перед самым прощаньем с сыновьями, вдруг и без всякой связи разговором, обратился к матери, мечтательно улыбнувшись:

— Вот, Федотовна, когда будем из совхоза уезжать, то я по-твоему поступлю — все раздарю людям. А мою обиходную утварь моими собственными руками мастерею отдам моему татарину и его Фатме. И скажу, что дарю в знак дружбы всех советских народов. Чтоб он через это монял и чтоб не без пользы был сделан подарок.

— Отец и тут пользу заработать хочет. — засмеялся Константин.

★

Вскоре после отъезда родителей наступил неожиданно и отъезд Андрея. Его и Гаврюшина вызвали к Холодову.

Город, где находился до войны завод, освободила Красная Армия. Старый завод восстанавливался. Ему в помощь танковый завод посылал несколько сот рабочих, освободившихся за счет достигнутого крупного повышения производительности труда.

— Мы посылаем, — сказал Холодов, — сотрудников и на усиление конструкторского бюро. Вы — новички, в танковое проектирование еще не втянулись. Начинайте прямо учиться проектировать машины для мирного труда.

Андрею и Гаврюшину разрешен был отпуск на три дня для свидания с семьями.

«А Липа? — подумал Андрей. — Липа останется здесь?» Все помрачнело для него от этой мысли. «Я пойду к ней и скажу ей теперь, как я ее люблю. Так и скажу прямо, что женюсь на ней».

Андрей пошел и узнал, что Липа едет тоже. Почти все кончившие с ними училище отсылались с Урала ближе к родным семьям.

— Но только я не воспользуюсь отпуском, — сказала Липа, — и не поеду в нашу деревню. Я боюсь. Боюсь увидеть разоренье. И ты знаешь, чего еще боюсь? Воспоминаний. Я плачу о матери каждую ночь. А там, увидев место, я умерла бы от горя.

Перед отъездом появился у Андрея Топленый.

— Я много пережил, Андрюша, и много передумал. Попросился на фронт. Завтра тоже уезжаю.



Проводая Андрея и Гаврюшина, комендант мюшеского городка очень огорчился:

— Пропала у меня одна мечта. Хотелось мне довести вас до полного жилищного благоустройства. В скорости я предлагал вам отвести каждому по комнате.

Пришел день, когда началось андреево возвращенье. Чем дальше поезд уходил на запад и на юг, тем знакомей все становилось Андрею. Оглядываясь на последний прошедший месяц, Андрей ощущал, как все потянулось к возрождению: отправились родители к своим гнездам, тронулся в обратный путь частично и завод, а теперь едет и он, Андрей, и как будто восстанавливается порваная нить судьбы, хотя еще идут бои и паноятся новые раны.

Далеко на западе, уже по ту сторону Москвы, однажды Андрей увидел из окна вагона на холме дорожного перекрестка черневший в багрянце гаснущей вечерней зари высокий дуб, расплющенный снарядом. Среди свежей зелени полей и кустов дуб высоко простер голые, безлистные, иссохшие ветви и, казалось, кричал в небесную вышину. Так Андрей увидел грань, где начинаются места недавно поправившиеся врагами.

Со станции Андрей проезжал на тощей скелетоподобной лошадке тем же самым лесом, которым его везли, когда он отправлялся в Москву в училище. Но теперь лес не был темным и непроницаемым. В нем зияли черные следы пожарниц. Возница рассказывал, что на тропях и теперь еще находят мины.



Въехав на косогор у речки, Андрей увидел, что хоть деревни и нет, но там и сям, как будто из-под самой земли, вставали столбики дыма. Это топились печки в землянках. Кое-где, однако, белели вновь поставленные срубы. Но вдруг до ушей Андрея донеслось блеянье овец и мычанье коров. Облако пыли зазолотилось в лучах заходящего солнца. Гнали стадо. «Значит, жива деревня», — подумал Андрей.



Андрей застал отца в его землянке за совещанием с бригадирами. Он планировал работы, предстоявшие на другой день. Отец встретил Андрея словами:

— Засеяли удачно. Немногом меньше, чем в довоенное лето. Стадо нам выдали в форме возврата по нашему счету сдачи.

В углу землянки стоял столик, на столе перекидной календарь, как всегда исписанный заметками. А к дубовому столбу были прибиты ходики.

— Неужели те же самые ходики? — спросил Андрей.

— Нет, те я отдал другу татарину, — ответил отец. — Теперь новые завел. Обзаводимся, обзаводимся, Андрияша. Все будет. Теперь я планирую пятьдесят срубов до уборки, да после уборки спланируем как можно больше. У меня учитывается теперь все точнее. Вон смотри, мне Киселев подарил книжку по планированию сельского хозяйства. И думаю построить себе домик с мезонином — со светелкой; буду уходить в мезонин думать. Краски бы поднебесной опять достать, мать любит поднебесный цвет. Трудно очень уговорить народ распланировку комнат в избах иначе сделать. Привычка к одной комнате. И все воровать печку в угол загнать, тогда как лучше посередине, а от нее — во все стороны комнаты. Экономия: одна печь все комнаты греет. И удобство: несколько комнат в избе.

Мать была на деревне, и Андрей пошел ее искать. Несмотря на вечерний час, деревня еще гомонилась.

Бондарил, постукивая молотком, бондарь Анисим.

— Трудимся, не глядя на вечерний час, — сказал дед Федор, чинивший ведро, — трудимся, не покладая рук. Надо обзавестись всем до холодов. Многие старики наши перемерли. Ну, да зато мальчишки нынче герой к герою стали. У него теперь в десятилет ума, как у другого седебородого.

Перед землянкой деда Егора, по прозвищу Вытряхай, Андрей увидел новотесанный еловый шест, а на нем скворешник.

— Ребятишки сберегли скворешник, привезли и поставили на высокий шест. Им мать говорит, примета есть — коли старый скворешник цел, хоть изба сгорела, как будто старое счастье прилетит, вернется. — рассказывал, улыбаясь, Егор. И видно было по его улыбке, что этой доброй примете он верит всей душой.

Мать Андрея была занята на лужайке с бабами и девками расплетением одежды, утвари, обуви.

— Из братских республик нам присылают в дар как пострадавшим, — объяснила мать.

Андрея удивила его деловитая озабоченность. И огорчила эта сдержанная сухозатая встреча.

— Подожди, я скоро закончу, пойдем вместе домой, — сказала мать. Андрей остался.

Приглядевшись, как мать обращается с людьми, Андрей увидел в ней большую перемену. Он и раньше много раз видел, как мать оделяет людей подарками. Но раньше ее всегда наполняло умиление без разбора, — заслуженно ли дает она дар, и как он будет применен. Теперь же в ней появилась деловая расчетливость. Она строго смотрела, чтоб дар попал в те руки, куда он должен попасть по справедливости и по разумному хозяйственному назначению. Теперь ею руководила не просто жалость и сочувствие несчастью, а какая-то новая любовь к людям, сочетающая беспристрастие с требовательной справедливостью и заботой об общем интересе. Андрею казалось, что он узнает теперь в матери черты, перенятые ею от отца.

Тут же был представитель от района.

— А где Матвей Матвейч? — спросил Андрей.

— Честной смертью лег в бою. — услышал он в ответ.

★

Был капут воскресенья, и спускался тихий прохладный майский вечер. За прудом, как всегда, пели дивки. Лягушки на пруду завели свои рассыпчатые трели. Земля и воздух благоухали.

Андрей направился к своей любимой ветле над рекой. Он прошел мимо тех мест, где он метал гранаты в немцев. Всюду было разрушенье.

Ветла не упала. Ряденная у корневища, она как-то по-новому закрепилась на откосе, и через ее старую кору пробивались новые

побеги. Андрей сел у подножья. Поля зеленели. Андрей чувствовал, что вокруг все поднимается к возрождению, и радость просится, чтобы люди снова пустили ее к себе в сердце.

Андрей думал о счастье. Ему виделось впереди творчество, к которому он нашел дорогу через тяжелые и омраченные несчастьем дни.

Счастье не приходит к нам гостем. Оно живет в нас нераздельно с жизнью, всегда и постоянно.

Оглянувшись на пережитые испытания Андрей вспомнил, что даже в самые страшные минуты счастье стояло возле, отделенное от него разве лишь пеленою его отчаяния и неверия в свои силы.

Андрей теперь твердо верил, что он достоин счастья. Он будет хранить перо жарптицы, — высокий, чистый строй души и бескорыстную любовь к родной земле. Он будет помнить, что его поколению назначено совершенствовать себя для достижения великих целей.

Склоним головы перед нашими старшими братьями. Они сражались и многие из них умерли за наше счастье. Будем же достойны их бесстрашия, их бескорыстия, их чистых и высоких помыслов, их глубокой верности родине.

Поздний бледный месяц низко повис над землею, и чудилось, что из-за леса над полем встает волшебная сказка, и уже идет. Подходит и где-то близко ступает счастье.

★

Милая отчизна, в каком новом очарованьи восприняешь ты из испытаний.

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

Дремлет лес литовский. Тишина.
Запах хвои в воздухе согретом,
Вереск, пробудившийся от сна,
Зажигается липловым светом.

Как-то грустно мне в тиши почвой.
Звездопад. Дорога серебрится.
Закачались ветви надо мной.
Запечалилась, запела птица.

Смоляки сердце! Слушай сквозь листву
Щелканье, и трели, и раскаты,
Ты не раз меня, певун крылатый,
Песнею переносил в Литву.

А теперь я на земле литовской
Вспоминаю о весне московской.

Перевела с литовского Сусанна Мар

Брусилов¹

Р о м а н

VII

Манусевичу-Мануйлову чертовски не хотелось ехать на фронт. Он всячески уклонялся от этого поручения. Он считал себя человеком штатским. Горячо убеждал Мануса, что ему не справиться с задачей, требующей навыка и специальных знаний. Игнатий Порфирьевич Манус смотрел на него равнодушным взглядом, глаза его завлакивали туман — попробуй сообрази, что у него там в черепной коробке?.. Выслушав Ивана Федоровича, Манус промямлил:

— Именно потому, что вы ничего не смыслите в военном деле, вам и дается это поручение.

— Но почему же не Резанцев, — начал было снова Манусевич. — Он, так сказать, в курсе...

— Загляните к Анне Александровне, она передает вам письмо Николаю Иудовичу. Ничего больше от вас не требуется! Во дворце интересуются здоровьем его высокопревосходительства... Он, по слухам, чувствовала себя неважно последнее время... Можете от себя сообщить ему, что его не забывают в тылу, высоко почитают и всегда готовы прийти на помощь всем, что только требуется для нужд доблестной его армии...

Смотреть больше не приходилось. Надо выполнить директиву. Конечно, Иван Федорович, как никто, справится с нею, и ни при чем тут навыки и военные знания! Просто ему хотелось быть подальше от такого рода деятельности...

Примирившись с неизбежностью, Манусевич съездил в Царское к Вырубовой, от нее получил письмо и на словах — благословение Распутина дорогому Николаю Иудовичу с приложением пузырька от Бадмаева с вощеной жидкостью для растирания больных ног; прихватил из «Нового времени» корреспондентский билет, посулив написать очерк «В гостях у генерал-адъютанта П. П. Ива-

нова», сел в пульмановский вагон и укатил в Бердичев, где находился штаб Юго-западного фронта.

В Бердичеве — шумном, многолюдном городе, в эту пору года неизменно грязном, слегка только припудренным по крышам домов волглым снегом, — Манусевичу показалось весело. В гостинице, где он остановился, первый этаж был занят под ресторан опешеломтяющего безвкусицы. В нем круглые сутки изнывал в любовной тоске и захлебывался от бешеной страсти румынской оркестр, господа офицеры «наворачивали ерундель», девицы полуголого обличья повизгивали и танцевали танго, шампанского хватало на всех в избыток.

Приодевшись для солидности в английский долгополый сюртук, прихватив с собою письмо и склянку с жидкостью, Иван Федорович на утро отправился «выполнять директиву».

Конечно, в штабе нашлись у него знакомцы, но он пошел за благо не открывать им, что приехал сюда по поручению высокой особы, а соврал, что жаждет «запечатлеть образ великого полководца». Главнокомандующему доложили о прибытии корреспондента. Николай Иудович милостиво согласился дать интервью, с оговорочкой, что, как правило, он избегает излишней гласности, но из уважения к такой авторитетной газете, как «Новое время», делает исключение.

— Его высокопревосходительство примет вас у себя в опочивальне... Он чувствует себя не совсем здоровым, — предупредил Манусевича чрезвычайно любезный адъютант — и, ступая на цыпочках, побежал вперед.

В спальне царя полумрак от приглушенных штор, в углу перед походным кичом горели лампы. К лампадам подвешены были пасхальные фарфоровые, различных цветов яйца с императорскими вензелями и буквами «X. В.». В большом камине жарко тлели угли. К камину был придвинут простого, некрашеного дерева стол, заваленный

¹ Продолжение. См. № 7—8 журн. «Октябрь» за 1944 г. Роман печатается в сокращенном виде.

грудью карт, папок с бумагами, моделями орудий, какими-то диаграммами. За столом в глубоком кресле сидел Николай Иудович. На коленях у него, свернувшись клубком, спала ангорская кошка.

При входе Манусевича Иванов привстал, крихтя и морщась. Кошка шлепнулась на пол, фыркнула и пошла прочь, задрав хвост.

— Не обессудьте,— проговорил он с превеличезным стариковским добродушием,— занемог некстати... Стоять — и то не могу... Пароксизм застарелой манчжурской хвори, пухнут ноги, прямо беда...

Манусевич просиял, точно услышал долгожданную радостную весть, всплеснул руками, приостановился и засеменял с благоговейной поспешностью к генералу.

— Само провидение послало меня к вам, ваше высокопревосходительство! — воскликнул он, схватив обеими ладонями дряблую руку Иванова. — Ну как не поверить в шестое чувство? Собираясь ехать сюда, думал о вас, готовился к беседе с вами и точно кто-то шепнул: «захвати с собой бальзам чудодея Бадмаева!» И вот!

Он вытаскивал из внутреннего кармана скрутку, завернутую в розовую папиросную бумагу бутылку с воючей жидкостью и поставил ее на стол.

Иванов благодушно кивал головой, мля в кулаке седую бороду, ухмылялся, хитро приглядываясь к посетителю.

— Ах, действительно, какое совпадение! — восклицал он с наигранной глуповатостью. — Даже и не знаю, как вас благодарить. Давно искал случая воспользоваться услугами целителя. Насыпая о нем от высоких лиц, да все никак не случалось. А тут вдруг такой подарок! Чувствительно, чувствительно вам благодарен. Простите, не имею удовольствия знать вашего имени-отчества.

— Иван Федорович, ваше высокопревосходительство. Простое русское имя Иван, по прозванию Манусевич. Очевидно, хохляцких кровей, судя по фамилии! Признаться, далеко не заглядывал в свою родословную, все некогда, все в хлопотах, все больше о других любопытствую... Вот и сейчас гвоздем гвоздит: сидишь ты перед самым прославленным человеком великой России! Смотри, виждай, запечатлевай! Тебе дано счастье передать потомству черты славного воеводы, его мысли, его чувства...

— Ай, что вы! Что вы! — замахал руками Иванов.

— Нет уж, позвольте! Я знаю, что скромность сопутствует величю, но на сей раз скромность — преступление! Поймите, ваше высокопревосходительство! Ведь это не

я, Иван Манусевич, сидит перед вами, а народ! Он требует всей правды, ваше высокопревосходительство!

Манусевич даже вспотел от этой тирады. Уж не перехватил ли он через край?

VIII

От камина пышет жаром. Гот уставился на незнакомца зелеными глазами с явным намерением прыгнуть ему на колени. А Манусевич терпеть не может кошек!

Иванов глубоко ушел в кресло, жует бороду, прикрыл глаза, на лице молитвенное выражение, но биться можно об заклад — пристально следит и выжидает.

«Давать ему сейчас письмо или ~~коммюнике~~ мять?» — соображает Манусевич.

— Итак, ваше высокопревосходительство, я жду, я готов! — Иван Федорович вынул изящный блокнот с костяными дощечками и приготовился записывать. — Конечно, редакция понимает, что она имеет право рассчитывать на правду в пределах возможности...

Манусевич метнул острым взглядом в сторону генерала. Иванов сидит не шевелясь.

«Ну что же, подождем, над нами не каплет...»

И внезапно — из генеральской груди глубокий и тяжкий вздох. Кулак выпускает бороду, глаза открываются — в них кроткая ясность.

— Тяжкую вы мне задачу задали, Иван Федорович, — произносит Николай Иудович подавленно. — Понимаю вас и всей душой сочувствую вашему требованию. Война — великая страда народная. Нужно говорить — всюю правдивостью. А как ее скажешь — правду-то? По силам ли это нам грешным? Откроюсь вам, как на духу, милейший Иван Федорович!

Иванов опустил руки на подлокотники, вытянул шею, борода лопатой встала торчком — на уровень лица Манусевича.

— Не по силам! Нет! Суждено нам по долгу службы своей и во благо ратного дела нами ведомого, лукавить... На том стоим я смиренно грех этот берем на себя. Велика власть, велик ответ. Главнокомандующий! — Иванов поднял палец. — Только виждайте! Эти слова: водилея миллион человек! Ко спасению их или к гибели? Как ответчу? Каюсь, не дано мне знать это. А кому дано? Потому и лукавим...

Иванов откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, открыл снова и устремил их на огонь лампад.

— Не разверзается перед смертным заве-

са будущего. Темно, Иван Федорович! К победе призываем, победу готовим, победе верим, а сокровенного ее блага для России провидеть не можем. Оттого — смятение духа...

«Ну нет, хватит! — думает Манусевич. — Пора отдавать письмо», — и, выждав приличествующую случаю паузу, легонько вскрикивает:

— Ах, бог мой! Какая рассеянность! Совсем выпало из памяти! А у меня к вам поручение. Просили передать в собственные руки. Отправитель мне неизвестен, но особа, доверившая письмо, просила меня отнестись к нему особенно бережно...

Медленно на ладони Иван Федорович протянул генералу конверт. Иванов принял его так же очень осторожно, точно боясь уронить, прочитал адрес, помедлил, взглянул на Манусевича.

— Уж вы мне разрешите, старику... Давно вестей не имел, любопытству прочесть...

— Помилуйте! Ради бога!

Манусевич отвернулся, оглянул комнату, осторожно прислушиваясь к хрусту конверта. Взгляд его упал на походную койку главнокомандующего. Жесткая раскладушка покрыта была великолепным стеганого голубого шелка одеялом!

— Подарочек! — раздался прочувствованный голос Николая Иудовича.

Иван Федорович повернул голову.

— Изводили любоваться одеяльцем? — продолжал Иванов, все более умиляясь. — От ее величества матушки нашей государыни... Взыскан ее милостями. Не оставляют, не оставляют меня без внимания... Прямо даже и не знаю за что такое... Видит бог, не заслужил... Никакими талантами особыми не взыскал, а милостивая рука благословит! Ничего, мол, старик, крепись! — Иванов тупенько и счастливо рассмеялся. — Конечно, вам далеко, скажем, до его высокопревосходительства Руцкого, Николая Васильевича, или мудрейшего нашего Алексея Николаевича Буропаткина... но тоже кое-что и мне дается... тут уж чего скромничать! Показываем супостата, как умеем! В отношении побед не в последнем ряду, даже вот говорят — в первом...

Иванов утер клетчатый платком увлажнившиеся глаза, положил на стол перед Манусевичем развернутое письмо Вырубовой, не предлагая его прочесть, но с явным расчетом на то, что его все-таки прочтут.

Манусевич не замедлил это сделать. В письме, однако, ничего примечательного и тайного не было: привет и пожелания от врицы, поздравления с победами дорогого

крестного от наследника, восторженные удивления самой Вырубовой перед мужеством «святых воинов». «На вас обращены все взоры, вы среди наших генералов — первый, так отзывается о вас наш Друг».

— Да, взыскал, взыскал, — шептормя Иванов молитвенно.

— Не знаю, смею ли, — перебил его Манусевич шопотком, как бы стесняясь и не вполне уверенно, — но меня просил еще один человек передать вам свое благословение...

— А кто же такой?

— Искренний ваш почитатель, Григорий Ефимович...

— А... а...

Иванов не повел и бровью.

— Благодарствую... хотя не имею чести лично быть знакомым, но слышал...

И с внезапным воодушевлением, точно в чем-то уверившись:

— Великий разброд идет! Злоречие, злопыхательство, подозрение! Шатание устоев! Мало бед от врага приняли, так нет! — свои в спину норовят ударить! Честных, преданных людей порочат — и кто же? Ближайшие помощники! Ну, как тут быть простому солдату? Ума не приложу! Нынче собираюсь на большое дело. Все точно расчел, обдумал. Решил обратно на Стубель, на старые позиции. Спрятаться в лесу восточнее Колков... Понимаете? Только немцы вытянутся по дороге из Колков на Клевать, а их мы по флангу и всем фронтом в наступление. Военная хитрость! Это я, конечно, к примеру говорю... А вы, скажем, возьмете, да об этом напишете... Что будет? Катастрофа! Напрасное пролитие крови! Не в обиду вам — сколько таких вестников по нашим газетам, по министерствам, по гостиним ходит! Вот потому и лукавим. Как быть иначе?

Иванов опять потянул себя за бороду, огорченно покрутил головой.

— Победы тоже на худое могут обернуться. Иной раз отступить, уступить, — себе же и прибыль. Особенно, когда в тылу шатание, забастовки... И знаете, я имею сомнение...

Николай Иудович склонился к самому лицу Манусевич, борода его шекотала подбородок Ивана Федоровича.

— Имею сомнение насчет того, не вражеские ли тут проежки? Не германские ли тут денежки звякают?.. Ась?

Взгляд в упор, острый, медвежий.

Манусевич выдерживает этот взгляд, говорит с нескрываемым цинизмом:

— Ничего, Николай Иудович, не страшно! Наша кельека тоже не шербата!

Начальник штаба Саввич, обычно во всем согласный с командующим, нынче тоже стал перечить. В нем появилось какое-то подозрительное упрямство. Иванов поглядывал на него, насупясь, медведем, сошел, крутил носом, отмалчивался, но с дороги не сворачивал.

— Простите мне, Николай Пудович, — говорил Саввич с обычной своей учтивостью, — на этот раз доводы командарма восемь мне кажутся основательными. По сведениям, добытым воздушной разведкой, значительные силы германцев двигаются с северо-востока на Колки, в общем примерно около двух пехотных дивизий. Не подлежит сомнению, что противник направил эти силы с таким расчетом, чтобы выйти на правый фланг Восьмой армии и отбросить ее обратно на восток... Генералу Брусилову не оставалось ничего другого, как предупредить маневр германцев. Он, согласно его донесению, двинул к Колкам обе дивизии Тринадцатого корпуса, усилив их Четвертой стрелковой и Седьмой кавалерийской... В его распоряжении в качестве резерва оставлена одна дивизия. Она расположена в районе Клевань — Ольки. Такое распределение сил командарм восемь считает достаточно крепким и вполне обеспечивающим от неприятельских сюрпризов... Я вполне разделяю его точку зрения.

Иванов фыркнул в бороду.

Саввич продолжал настойчиво:

— Получив нашу шифровку с приказом правому его флангу отойти от Луцка обратно на Стубель, с таким расчетом, чтобы к утру быть опять на старых позициях... и так далее... Алексей Алексеевич ответил, что приказ выполнит, но считает долгом предупредить: на всю процедуру доведения нашей директивы до начальников частей потребуется не меньше десяти-двенадцати часов.

— Можете не повторять — знаю, — перебил главноюз.

— Осмелюсь повторить, ваше высокопревосходительство, — не подымая голоса, но с еще большей корректностью продолжал Саввич: — только потому, чтобы яснее были мотивы моего согласия с доводами командарма восемь. Такая спешка с коренной перегруппировкой сил, выдвигающей перед нами новые задачи, на мой взгляд, неминуемо вызовет суету и беспорядок во время операции и большое неудовольствие в войсках...

— Что-с?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Войскам придется после удачного

наступления бросать взятые с бою позиции и уходить назад...

Саввич помолчал, ожидая нового окрика, но его не последовало.

— Это всегда обидно... К тому же, по причинам уже высказанным, в вечер получения нашей директивы незаметного отхода произвести невозможно. Он состоится только завтра вечером, не раньше... Еще менее выполнима, как я уже предупреждал, ваше высокопревосходительство, данная вам задача в течение одной ночи, когда войска вынуждены из предосторожности двигаться медленно, одним махом перескочить со Стубри на Стубель. Между этими реками пятьдесят верст расстояния...

— Можно. Взор...

— Можно, конечно... только окончательно расстроив ряды и выбив из сил и без того обескураженных солдат... Требуется два перехода. А тем временем воздушной разведкой противника наше отступление будет выявлено.

Саввич оборвал на этот раз резко, подчеркнуто и твердо глядя в прищуренные медвежьих глазки.

Иванов не шевельнулся, не приподнял век.

— Командарм восемь резонно вполне, на мой взгляд, — чеканил Саввич, не отводя глаз и, видимо, готовый к открытой борьбе и уверенный в своих словах, — доносит, что приказание главнокомандующего задержать в окопах разведчиков и дивизионную конницу, чтобы замаскировать наш отход, цели не достигнет. Артиллерию оставить с разведчиками опасно — ее неминуемо потеряешь. А отсутствие артиллерии тотчас же будет замечено неприятелем. Наконец самое существенное и неоспоримое в доводах Брусилова: трех дивизиям пехоты и одной кавалерийской спрятаться в лесу у Колков невозможно. В этих местах обширные болота, германский корпус идет, конечно, с разведкой и не пропустит незамеченной такую массу наших войск.

Снова намеренное молчание и чрезвычайное почтительно звучащий вывод:

— Все вышесказанное дает мне смелость, ваше высокопревосходительство, настаивать на отмене данной нами директивы. Я охотно возьму это на себя. В противном случае командарм восемь слагает с себя всю ответственность за успех операции. Я же, как начальник штаба Юзфронта, останусь при особом мнении, какое изложу формально в докладной записке.

— Все?

Иванов открыл глаза, в них проткое приятие неизбежного.

— Все, ваше высокопревосходительство.

— Благодарствую, благодарствую, ваше превосходительство. Отменно рад был выслушать нелицеприятную критику. Но...— Николай Иудович, приподняв плечи, развел в стороны ладони.— Но в ошибках своих тверд, ибо никому кроме господина не дано быть правым. Перед ним отвечаю.

И с неожиданной силой:

— Приказу моему отмены нет. Так и передайте командарму восемь.

IX

Главнокомандующий знал своего командарма. Он знал, что Брусиллов только сторяча может сказать, что слагает с себя ответственность, а в действительности никогда ее с себя не снимет, как бы, на его взгляд, ни была нелепа возложенная на него задача. Комфронта знал, что выполнение его директив никогда не поставит его самого в положение виновника катастрофы; катастрофы Брусиллов не допустит. А победы Николай Иудович не искал. Гораздо более тревожна была угроза Саввича. Этот генерал очень себе на уме. Каждый его шаг рассчитан, каждое слово взвешено. Долгое время он был безукоризненным исполнителем пожеланий своего начальника. Он понимал его с полуслова, развивал то, что только давалось в намеке. Это пастораживало. Его высокопревосходительство не жаловал тех, кто угадывал его мысли. Но в конце концов пожаловаться было не на что. Начальник штаба не затруднял комфронта излишними вопросами, не докучал ему собственным мнением. А тут пате вам! Особое мнение, да еще в письменной форме. Это неспроста. Это бунт. Тем более опасный, что поднял его осторожный человек, превыше всего ставящий свою карьеру. Если он рискует — значит наверняка. Значит у него есть основания, есть уверенность в победе. Откуда пришла уверенность? Когда? Приезд этого щелкопера? Вздор! Вздор! Иванов слово в слово передал своему начштаба свою беседу с Манусевичем, прочел письмо Вырубовой... Скрывать было нечего... Чисто. Чистенько... А ежели что наболтал журналистик, так ведь на чужой роток не накинешь замок, за собачий лай — хозяин не ответчик... Всего вероятней — другое. Начштаба пронюхал о настроениях. Неужто царича-матушка уже не сила? Царь-государь со своей лаской — не защита?

X

Алексеев сидит за рабочим столом в большой комнате в два окна. Вся кабинет-

ная обстановка стоит так, как ее поставил до него.

Он равнодушен к вещам, если они служат по прямому своему назначению. Он не замечает казенной скуки в том, как размещена мебель, какого унылого цвета портьеры на окнах и беспорядочно громоздки письменные приборы. У него нет эстетических потребностей, это сразу же отмечает Саввич, оглядевшись вокруг.

Сдержанно кланяясь, начштаба, не подходя к столу, ждет, когда ему предложат сесть.

— Здравствуйтесь, Сергей Сергеевич. Садитесь. Я вас слушаю.

Такой быстрый переход к делу обескураживает Саввича.

Хотя бы приличия ради задали бы несколько вопросов. По ним можно было бы поймать верный тон, угадать, с какой стороны подойти к той щекотливой теме, которой он собирался коснуться.

За семь с половиной часов ожидания начштаба юзфронта успел десяток раз передумать и взвесить каждую фразу предстоящей ему сугубо ответственной и чрезвычайно секретной беседы.

При нем были кое-какие письменные доказательства, но существенное заключалось в мелочах, дополняющих и изобличающих друг друга.

Логика мелочей была неоспорима. Но что известно Алексееву? О чем он только догадывается? Чего он совсем не знает? Излагать или не излагать внешнюю сторону событий, послуживших поводом к расхождению мнений двух военных авторитетов, двигающих одно дело? Эта внешняя сторона также очень существенна с принципиальной и чисто оперативной точки зрения. Но не в ней, конечно, суть. Существо дела в том, что он — Сергей Сергеевич Саввич считает для себя вредным и даже опасным продолжать работу с Николаем Иудовичем Ивановым.

Иванов ведет игру, которая не кажется Саввичу верной. Николай Иудович к тому же медальонный, можно сказать уверенно, — безграмотный политик. Он запутан в чужих тенетах, а Саввич привык раскидывать свои собственные, прикрепив их к безусловно прочным точкам опоры. Алексеева не могут не заинтересовать именно внутренние пружины существа дела. Он и его партия (Сергей Сергеевич уверен, что Алексеев возглавляет целую партию влиятельных людей и даже выдвигается ими в диктаторы) за войну до победного конца.

следовательно, так и надо повернуть вопрос, в этом смысле преподнести существо дела.

Сергей Сергеевич заговорил уверенным, очень точным, без лишних слов, деловым языком...

Михаил Васильевич слушает. Он сидит склонившись к столу, брови его хмуро нависают над прищуренными от внимания глазами. В иных местах он останавливает Саввича и коротко переспрашивает. Потом кивком головы, не глядя, проощряет к дальнейшему...

Все это мерещилось ему неясно уже давно. Перед ним возникает бледное лицо Брусилова, звучит его вопрос в тот памятный вечер... На него пельза было ответить. Но то, что говорит Саввич — чудовищно. Михаил Васильевич следит за каждым его словом, пытается поймать на противоречии, самый строй речи пачштаба — деловитый, спокойный вызывает сомнение и вместе с тем доходит до сердца какой-то безжалостной оголенностью. Нет, Саввич, бывший начальник жандармского управления, осторожный человек. Чем дальше говорит, тем противнее он своими безукоризненными чертами лица, не искаженными ни одним чувством, хотя бы низменным, своими усами в стрелку, пахнущими омерзительно фиксажуаром. Но он умен и отвечает за свои слова. И Михаил Васильевич слушает до боли в ушах и в висках... Скрипит дверь. Без стука, что допускается в экстренных случаях, заглядывают в полуоткрытые створки адъютант граф Капнист.

Алексеев подымает голову, но плохо видит, кто вошел, настолько обострено его внимание к рассказчику.

Капнист — при оружии, в полном параде. Он принимает взгляд начальника, как разрешение войти и бесшумно подходит вплотную к Алексееву, наклоняется к его уху:

— Государь прибыл и сел в машину.

— А-а... — бормочет Михаил Васильевич, все еще не вполне овладев собою.

Но тотчас же приподнимается, в глазах озабоченность, в движениях сдержанная тревопливость. Нужно идти встречать. Адъютант подает ему оружие. Он поправляет аксельбант, трогает усы сложенными щепотью пальцами и только тогда всматривается на стоящего перед ним Саввича.

Очень хорошо, что их прервали. Все равно Алексеев твердо решил не высказываться.

— Вы затронули такой серьезный вопрос, — говорит он, с особым старанием пристегивая шапку.

Среди георгиевских кавалеров, прибывших в ставку на свой праздник, был Игорь Смолитч. Брусиллов знал, что отец Игоря, Никанор Иванович, после своих боевых неудач отстраненный от командования корпусом жил в Могилеве в качестве генерала для поручений при верховном.

— Поцелуй от меня старика, утешь его, — сказал Алексей Алексеевич. — Он у тебя славный старик, только напрасно судьба кинула его воевать, да еще в наше время. Совсем он к этому делу не приспособлен. Тут нужны канатные нервы и железное сердце. А он музыкант, фантазер... Это я не в обиду ему... Не один он у нас в России не на свою полочку попал — беда!

Но самолюбие Игоря, несмотря на дружеский тон командарма, было задето, и всю дорогу до Могилева Игорь не мог отделаться от горького сознания, что отец его вычеркнут из списка действующих лиц, выбыл из строя и такой человек, как Брусиллов имеет все основания презирать его, как бы он там ни золотил пилюлю.

Эта обида за отца помешала сыновней встрече с отцом быть такой искренней и горячей, какой она представлялась в воображении Игоря и какой должна была бы быть в действительности. Игорь расстался с отцом еще задолго до отправки своей на фронт. В памяти он рисовал его себе бравым, красивым генералом, всегда оживленным на людях, раздражительным и бестолково суетливым у себя дома. Фотографические аппараты, гармошки поглощали все его внимание, служба — где-то на втором плане. Нынче Игорь обнимал похудевшего и как будто даже ставшего меньше ростом старичка. Старичок прослезился, неожиданно увидев сына у себя в номере гостиницы «Франция», но тотчас же, сморгнув слезу, закричал, замахал по-обычному руками, затормозился по маленькой комнатенке, заваленной все теми же ящиками с фотоаппаратами, гармошками, завешанной фотографиями дочери Ирины (их было больше всего), жены, товарищей, знакомых.

— Ну, я сейчас тебя кофею... — кричал он. — Я теперь его сам... по собственному способу... Вася! — И, оглянувшись и не увидав Васи, спохватился: — Ах, да он на службе... болтается где-нибудь, каналья... Ты знаешь, я его привез с собой... да... устроил при птабе... привык... и он так мне напоминает Иринучку... А ты? Что же ты мне не рассказываешь? А-а! Георгий! Поздравляю! Поздравляю!

Он снова обнял Игоря, забыв, что уже давно знал о награждении. Усталые, грустные глаза на минуту остановились на георгиевском крестике в петлице сына. Старик внезапно почувствовал слабость и сел на первый попавшийся стул.

— Да... вот... — пролепетал он по-детски. — Так-то вот...

У Игоря сжалось сердце, он торопливо обнял отца за плечи.

— Папа... брось. Это несчастье, но ты не виноват... Меньше всего ты.

Игорь любил отца. Была ли то сыновья любовь, он не знал. Но при мысли об отце безмятенно на душе становилось как-то особенному тепло и грустно.

— Папа... — проговорил он снова и заплакал.

Он ничего не думал, не чувствовал, не стыдился своих слез, как бывало в юности. Он только глубоко всхлипывал, вздрагивая всем телом. Даже много после он не мог объяснить себе, что с ним тогда стряслось. Приблизженный ли вид отца, или этот жалкий номеришко гостиницы, загроможденный такими с детства знакомыми предметами, или своя судьба, внезапно представшая в образе старенького генерала, придавили его?.. Он плакал. Отец прихватил его голову щеками, как-то неловко сгибом руки, задал ее и не выпускал долго, сухими глазами глядя куда-то в угол.

Так их застал с шумом ворвавшийся Вася.

— Приехал! — воскликнул он. — Я уже знаю! Мне в штабе сказали... Игорь, здравствуй! Или ты все еще сердился?

Он остановился недоумевая. Ему казалось, что их давняя распря из-за Сонички все еще памятна Игорю, и не совсем уверен был, как его встретят. Но увидеть слезы на глазах своего врага-друга он уж никак не ждал. Еще меньше ждал его появления в эту минуту Игорь. Он поднялся и какое-то шивоненье смотрел на Болховишнова отсутствующим взглядом.

— Да, нет, что ты... — наконец произнес он, и они поцеловались.

— Поздравь — кавалер, видишь! — слова зачастил Никанор Иванович. — Не то что ваши штабные петанлерчики... Чины, ордена на протертые штаны — и ничего не знают, армию губят, подлецы! Я еще расскажу, тут какое, доложу я тебе... Ах да, кофе! Где у меня, Вася, кофейница? Никак не разберусь во всем этом хаосе! До сих пор половина вещей в ящиках! Живем, как на вулкане — сегодня-завтра переезжать. Поговаривают, что ставку в Смоленск... Позор! Наши

главнокомандующие — один допинга требует, другой — советов, третий — возжей? А ну — угадай, кому что?

Никанор Иванович неожиданно рассмеялся, видимо, радуясь этой загадке, давно уже ходившей по штабам.

— Первый — Иванов, второй — Эверт, третий — Рузский. Рузский все уняться не может, что он не на месте Алексеева, а то и верховного! Уверю тебя!

Генерал молчал кофе, зажав между острых колен кофейницу; ему это трудно было делать, но он бодрился, не уступая Васе.

— Сам... сам... не мешай!.. Алексей — тот в конце концов диктатором будет. Помня мое слово. Об этом все шепчутся. Есть такие люди... — Никанор Иванович понизил голос до шопота. — Такие господа, которые каждое приказание его исполняют... включительно даже до ареста в могилевском дворце...

— Ну что вы, право, ну какое там! — перебил его Вася, видимо, не раз уже слышавший эту тайну. — Ты слушай, Игорь, надолго к нам? Уж не останешься ли? Конечно, здесь дыра...

— Нет уж позволь! — багровея, закричал Никанор Иванович и с грохотом поставил кофейницу на стол. — Ты уж мне не мешай говорить, что думаю! Сын у меня не такой остолоп, как ты, извини! Он широко видит, он болеет душой, он весь в меня! У него твердые принципы, — и в упор к сыну: — Уму непостижимо! Все знают, все вот, как он, — генерал тыкнул в воздух пальцем, указывая на Васю, — отмахиваются! Всем все равно! Ходят в кинема с этим шпютом Кондзеровским, за бабами волочатся и не видят, что у них под ногами земля горит... Земля горит!

Никанор Иванович вспотел, распахнул китель, снова схватился за мельницу, вытянул из нее ящичек, понюхал, покрутил носом, ударился локтем об стол, рассыпал кофе на пол и совсем расстроился.

— Всегда вот так, под руку. Никакого чутья! Никакого!

Игорь взял у отца кофейницу, насыпал зерен. Он понимал отца и как никогда жалел его в эту минуту нежной жалостью взрослого к беспомощному ребенку. Его трогало, что старик ни словом не пытался оправдать себя в своей неудаче, хотя имел полное основание свалить всю вину на Плеве, потому что все напугал и погубил людей своими вздорными директивами ни кто иной, как Плеве, а отец... Ну что отец! Он, конечно, все еще жил японской кампанией, устарел... но он честный, прямой человек...

Никанор Иванович опять что-то выкрикивал, но Игорь не слушал его, шум мельницы заглушал слова, уводил куда-то далеко, в глубоко запрятанные, прерванные войною печальные мысли об отчем доме, о всей их большой растрепанной теперь семье.

Самый одинокий из них, конечно, отец. Его не любит жена, дочь позволяет ему себя любить — и только, Олег — прощальга, эгоист... Он сам, Игорь, слишком поглощен собою и никогда не находил для отца нужных слов. Они ни разу не говорили по душам, хотя оба стремились к этому. Какая-то застенчивость мешала им, а может быть, самолюбие или стыдливость... А ведь только отцу он мог бы признаться, что ему очень трудно жить, хотя до последнего часа он будет бороться за жизнь...

Склонив набок голову, Игорь старательно вертел ручку кофейной мельницы. Вася накрывал на стол. Отец зажег спиртовку, кипятил воду, рассказывал:

— Здесь, в этих дрянных номеришках, живут дворцовые чины... и те, что приезжают к парю... Мой, конечно, самый скверный... в «Бристоле» — военные представители союзников, в «Метрополе» — административная мелкота... Их пропасть! Бездельники! Генштабисты, представляешь, изволят являться в управление не раньше девяти... «Подымают карту»! Вранье! За них и до них это делают топографы... Не бог весть что — накалывать флажки по линии нашего расположения. На службе болтают вздор, читают газеты, ловят мух! Я не шучу: всамделе ловят! На пари! Вася, скажи ему. Игорь не верит!.. Ну вот, давай кофе — вода готова...

И вдруг с испугом:

— Да... ты знаешь.. от Ирины... вот уже два месяца — ни строчки...

ХИ

За кофе Игорь узнал все, разобрался во всем. Отец примолк, подсовывал сыну сухарики, размешивал ему сахар в стакане, не глядя, украдкой пожимал ему руку... Вася, напротив, болтал без умолку! Игорь с любопытством к нему приглядывался.

После кофе генерал лег отдохнуть; молодые офицеры пошли до обеда побродить по городу.

Генерал Смолитч жил в ставке с первых же дней вступления паря в верховное командование. По сути, он оказался не у дел, хотя и допускался к царскому столу. Со всеми был на «ты», все называли его Никашей, все выбалтывали ему свои неприят-

ности и обиды, все знали, что Никаша не сочувствует, возмутится несправедливостью: расскажет другим о горестях своего приятеля...

— Уж очень чудной добряк твой отец! — заметил Вася и рассмеялся.

— Но... но знаешь... это безделье... боже оно его докопает. Мы все так военные пока на коне — молодцами, а слезешь седла — и жизнь, как из дырявой манерки. Несправедливо с ним поступили!

Вася недавно словчился махнуть в Петроград, думал застать Ирину, но не застал: очевидно, она так и застряла в Минске — оттуда было последнее от нее письмо... Вася был огорчен и даже обижен невниманием невесты, но в сердце давно порешил, что «дело это пропащее», что Ирина потеряна для него навсегда... Он узнал — это было сказано вскользь и с неожиданной для Васи стыдливостью — об увлечении Ирины каким-то студентом-путейцем, но, конечно — «ты не подумай, я не придал никакой значення... Твоя мама о нем говорила презрением...»

Игорь тотчас представил себе, как мог говорить его мать о «несчастном студентике», но так ли небрежно отнеслась к нему Ирина? Шальная, чудесная Иринка с рыжими глазами... Где-то она теперь? И чем кончится это ее увлечение? Так ли бесследно, как увлечение театром, жениховство Васи, милосердными делами сестры...

Игорь глянул на Болховинова. Бесконечно кочевье по разоренным усадьбам и городам грязь, случайные связи с первыми попавшимися женщинами, не успешными скрывая от лыхих кавалеристов, голод и обжорство безделье с похабными анекдотами и руганья бессмыслица многосубточных маршей и на дельных спячек в вонючих халупах, вода и гнилая болотная вода не достожили Васи физически, но притужили бодрой, почти младенческой ясности... И вместе с тем если присмотреться пристальней, за ясностью попрежнему веселых голубых глаз было темно и пусто... Война выбила у него веру в то, что в мире все обстоит благом лучше...

По словам Васи — он теперь не верил «в какие заповеди», потому что на войне они «ни к какому шуту не годятся». Он «плевал вверх — на всяческое начальство законы и вниз — на тыловое быдло, годив разве на то, чтобы служить коням подонным кормом». Мирная жизнь потеряла для Васи свое обаяние, когда-то приятно делавшее самолюбие тапдора, корнета, жемчуга... Но и войну Вася презирал за то, что

она была уродлива, здесь «чорт-те знает как, сматывала лучших коней», «по мелочишкам» подвергла жизнь людей смертельной опасности и даже не вызвала законной ненависти к врагу. «Немы такое же зрелье, как мы», — кратко заявлял Вася.

Воспоминание о Мазурских болотах осталось в памяти навсегда как облик войны — невылазной и бессмысленно жестокой. Вот почему Вася охотно бросил полк и ушел адъютантом к генералу Смоличу и с ним же, покинув штаб корпуса, перебрался в ставку.

— Наворачиваем здесь помаденьку известь чего!

Если старик, Никанор Иванович, ощущал свое пребывание в ставке как обиду, превысившую его вину, и потому не говорил о ней, продолжал кипятиться, давать советы, строить планы на будущее, то молодой корнет, полный сил и здоровья, вел себя с таким же наплевательским равнодушием здесь, в ставке, как и в любом захваченном доме, в котором скуки ради расстреливал портреты.

— Кабак!

Это слово не сходило с его уст, но проносилось оно без возмущенья, а с убеждением, что иначе же и быть не может!

— Ты шибко пьешь? — спросил его Игорь.

— Нет! Не очень, — усмехнулся с каким-то горьким недоумением Болховитнов. — Прямо даже не пойму, никогда пьян не бываю... каждый раз других по домам развожу... должно быть, организм такой... А ты как?

Вася попрежнему смотрел на товарища светлыми, бездумными, добрыми глазами, сверкая в улыбке верхним рядом белых зубов, а слова его пропускал мимо... Он верил теперь значению только трех слов: спать, жрать и трепаться. Все остальное было «кабак».

XIII

В номере генерал зажег электричество, поставил на спиртовку кофе, достал со дна платяного шкафа бутылку бенедиктина.

— От мирных дней... принас... до случая...

Суетливость в нем исчезла, ушла вместе с парадным хаки, повешенным в шкаф, и зангранная молодость, но засветилась наступающая молодость в подобревших глазах.

Он пошел к окну задернуть портьеры и вскрикнул:

— Ай-яй! Вот те на! Снежок! Снег... Это же в третий раз. Значит, накрепко... зима!

Игорь положил на похудевшее плечо руку, повторил вслед за ним:

— Зима...

Они постояли минутку в молчанье, задернули шторы, которые долго не хотели задерживаться (отец и сын тянули одновременно за оба шнура, отец чертыхался, сын посмеивался), потом вернулись к столу, шли из тоненьких японских чашечек кофе с ликером.

— Ты помнишь? — спросил отец. — Я их привез из Манчжурии, после японской...

— Помню, конечно... А это? — Игорь кивнул на стену. — Последний Иринин?..

— Да, как же!.. Разве не при тебе? Она плясала русскую... Как плясала! — Генерал закивал головой, причмокнул языком, вскочил, снял со стены рамку, поднес ее к свету лампы. — Ты посмотри до чего хороша! Какой поворот! Какая ножка!

— Очень хороша, — согласился Игорь, — вспоминая, что уже когда-то слышал от отца эти же самые слова, и радуясь услышать их снова, но по-новому. — Ты не волнуйся, папа, — тотчас же добавил он, угадывая, какие чувства сейчас тревожат отца, — она ведь лентяйка... ты знаешь... мы все не любим писать письма, но она очень, я знаю, очень тебя...

— Да, она сокровище, — обрадованно и стыдливо перебил его отец и аккуратно повесил рамку на прежнее место.

И тут пришла минута, которую никогда не переживал Игорь.

Душа его легко, без принужденья, без видимого и намеренного повода раскрылась перед отцом. Слова сами сорвались с языка, опередили сознание, возникла необходимость говорить, исповедаться, исчерпать все, что помнилось, чем жил...

Никанор Иванович сидел недвижно, поставив локоть на ручку кресла, ладонью подперев щеку, прикрыв глаза. Он боялся взглянуть на сына, потревожить его. Худое, старое тело его напряглось, сердце билось неровно, это он, а не сын проверял, взвешивал каждое слово, звучавшее в его ушах. Исповедывался не сын, а он, старый генерал Смолич. Ответ должен держать он, Никанор Иванович. И он же обязан вынести приговор себе, сыну. Для него тоже пришла минута глубокого раздумья, итога. Минута, какой он никогда еще не знал...

Так они сидели друг перед другом — отец и сын; над столом горела электрическая лампа со стандартным гостиничным колпаком, засиженным мухами, перед ними на столе стояли крохотные чашечки с недопитым ко-

фе и ликер в рюмках и за окном шел тихий снег, снежок. Неподалеку в штабе работали над планами войны, и далеко сережета война... Все шло, как много дней идет — вот уже полтора года...

Но Игорь и Никанор Иванович жили сейчас в этом мире. Игорь торопливо, сбивчиво рассказывал отцу все, что с ним произошло за эти полтора года. Он не пытался ни объяснять, ни анализировать события и свои поступки, он не успевал, не хотел, да и не мог этого делать. За него думал сейчас отец. Повторил, возвращался назад, задавал вопросы и не ждал ответа.

Преображенский полк, ранение, позвистневский отряд, похвистневские речи, разгром, окружение, смерть генерала, ставка, Коновницын, охота за Распутиным, снова фронт, Брусилов...

Конец рассказа пришел так же внезапно, как и начало.

— И все-таки я решил вернуться в полк... теперь, когда преобразенцы на Юго-Западном... Ты понимаешь, папа?..

Это был вывод из чего-то такого, что не было сказано. Но отец понял. Он не шевельнулся, только протянул руку и горячей ладонью прикрыл кисть руки сына, лежащую на столе.

— Да, — произнес Никанор Иванович охрипшим голосом, — я понимаю... Но если останешься жив — опять к Брусилову, мой совет. И вот что я тебе скажу, Игорь...

Он крепко сцепил пальцы опущенных на колени рук, лицо стало очень строгим и постариковски выразительным.

— Я все выслушал. Внимательно. Каждый твой шаг во мне... в моей душе. И скажу тебе прямо: самая большая твоя беда — один ты. Да. Ты вот о Похвистневе. Он был умница, не спорю. И все его речи, я понимаю, могли увлечь... Ты спорил с ним... по не в главном. Правда, правда... это хорошо. Тут нет спора. Ошибка его и твоя в том, что вы как-то отдельно... отдельно от всех хотите держать ответ. А это, Игорь, вздор! Вздор! — повторил старик твердо и властно.

Игорь никогда не слышал у отца такого голоса. Он не кричал, как обычно, а голос раздавался отчетливо, весомо.

— Вздор! Мы отвечаем все. Все, кто бы ни был. Больше, меньше — неважно. Для тебя это не должно быть важно...

Голос упал, рука опять потянулась к руке Игоря.

— Только тогда ты станешь на свое место. Пусть маленькое, неважно. Не в этом честь... не в этом...

Он смолк, сгорбился, лицо стало маленьким, сморщенным, в глазах разлилась такая скорбь, что у Игоря захватило дыхание.

Отец встал, пошатнулся.

— Разгром легко не дается, — проговорил он точно самому себе. — Они думают — самолюбие, обида. Я тоже так думал раньше... Какое там к черту самолюбие? Когда разгром... когда русская армия... Кто бы ни был виноват, кто бы ни был! Я, ты, Иванов, Сидоров...

Теперь он говорил с набухшими венами на висках, бледный, дрожащий:

— Армия русская разгромлена... а мы... самолюбие!..

На десятый день после отъезда из Могилева, 6 декабря, Игорь в составе Преображенского полка, отходящего в гвардейский отряд Безобразова, ждал приезда царя, традиционно встречавшего свои именины с гвардией. Но 4 декабря, не доехав до Жмеринки, Николай неожиданно решил вернуться в ставку. Заболел наследник, простудившийся на георгиевском параде. Пробыв на вокзале около трех часов, царь не выходил из вагона. Алексеев и Пустовойтенко ездили к нему с докладами. Докладывать и говорить надо было о многом и очень серьезно, но внимание царя было отвлечено высокой температурой сына, и выслушивал он своего начальника штаба неохотно и вяло.

Именины не задались, надо было возвращаться домой, в Царское...

— Вы уже как-нибудь сами, Михаил Васильевич, без меня... ведь не так уж к спеху... Я вернусь, если все обойдется благополучно, не позже тринадцатого... с тем чтобы успеть повидаться с гвардейцами до наступления... У нас, кажется, начнется четырнадцатого?

Алексеев со стесненным сердцем отправился в свое управление. Нынче снова день казался тяжелым и загруженным сверх меры.

Утром пришла паническая телеграмма от сербского королевича Александра из Скутари. Он умоляет царя помочь голодающей сербской армии. Войска надо перевезти в безопасное место. Союзники предполагают не отправить в Велону. Но сухим путем, по козьим тропам, из Скутари в Велону им не дойти. У них нет ни продовольствия, ни вооружения. Снабдив всем необходимым, их можно перевезти туда только морем, но морского транспорта у них нет. Одна надежда на русское верховное командование...

От Жилинского получено пространно

письмо. Генерал испуган, но сообщал начальнику штаба верховного о крайнем раздражении, какое выказывает Жоффри. Маршал настаивает на активном наступлении русских войск. Он считает, что Франция десет на себе всю тяготу войны, тогда как Россия, Англия и Италия отсиживаются. Он полагает, что русские войска должны незамедлительно оказать активную помощь Румынии, чтобы склонить ее на сторону Антанты...

«Русское командование, — сказал Жилинскому Жоффри, — может свободно выделить 200—250 тысяч солдат из своих неисощимых людских резервов и кинуть их в Добруджу против Болгарии...»

Третье неприятное сообщение пришло из штаба Северного фронта. Начальник штаба, генерал Бонч-Бруевич, телеграфировал, что 2 декабря в штаб 8-й армии явилась для допроса прибывшая из Австрии фрейлина государыни императрицы — Марья Александровна Васильчикова. По ее словам, она владеет около Вены у станции Клейн-Вартерштейн имением Глогниц, где и была задержана с начала войны. Получив из России известие о смерти матери, Васильчикова добилась, при содействии великого герцога Гессенского, брата нашей царицы, и за его поручительством, разрешения приехать в Россию сроком на три недели. В случае если сын не вернется к сроку, ее имение будет конфисковано. «Ее превосходительство, — писал Бонч-Бруевич, — предполагает выехать обратно через 15—20 дней. Прошу указаний, надежит ли допустить Васильчиковой выехать за границу и, в утвердительном случае, можно ли ее подвергнуть при выезде самому тщательному опросу и досмотру?»

Эта телеграмма взволновала Алексеева более всего остального. Он не знал, как доложить о ней царю и стоит ли вообще докладывать.

Но в вагоне царь на прочитанное ему послание королевича Александра, рассеянно заметил: «Ну что же... конечно. Его нужно областать. Вы уж составьте полюбезнее, Михаил Васильевич... Сообщите ему, что по моему повелению Сазонов неоднократно напоминал союзникам о необходимости скорейшей помощи... Заверьте его высочество, что я, со своей стороны, по окончании войны приму меры... Сделаю все возможное для возрождения его несчастной страны... Дальше?.. Только, пожалуйста, покороче. Михаил Васильевич...»

На предельно сжатый доклад о претензиях Жоффри Николай с таким же отсутствующим выражением лица процедил: «Что ж, он прав, как-никак... последнее время мы действитель-

но... — Но, встретив немигающий взгляд Алексеева поспешно и раздраженно добавил: — Впрочем, отвечайте, как знаете...» — И, сорвавшись с места, побежал на голос сына в соседнее купе.

Тогда Михаил Васильевич решил доложить о Васильчиковой.

— Ваше величество, — сказал он, следуя за императором до порога его купе, — я осмелюсь задержать вас еще только на одну минуту. Решение требуется немедленное.

Царь обернулся, поморщился, зеленые огоньки вспыхнули и погасли за усталой поволокой глаз.

— Что еще?

— Рапорт начальника штаба Северного фронта.

И, поднеся к глазам телеграмму, Алексей прочел ее медленно, отчетливо, от слова до слова.

Он знал, что царь догадывается об его мыслях, о том, как и что он, начальник штаба верховного, считает должным ответить Бонч-Бруевичу. Снова глаза их встретились. Начальник штаба стоял навытяжку, император мял в руке папиросу; он был бледен, но мысли его не отсутствовали, как раньше, зеленые огоньки не затухали.

— Потрудитесь на рапорт начштаба Севфронта ответить дословно, — отчетливо и с редкой для себя определенностью произнес Николай: — Пропустить можно. Опрос учинить можно. Досмотр только при сомнениях. Наносить лишнее унижение надобности нет.

И, повернувшись на каблучках, не пожав руки своему начштаба, даже не кивнув головой, ушел к сыну.

XIV

Немилость верховного была очевидна. Очевидно было и то, что царь понял, зачем Алексей прочел ему донесение Бонч-Бруевича, что он понял намерение Алексеева подчеркнуть свое подозрение в том, что у фрейлины могут оказаться документы и письма сомнительного содержания. Николай читал первое обращение к нему Васильчиковой с предложением мира, но не ответил на него. Александра не раз возвращалась в разговоре с мужем к содержанию этого письма. Николай рекомендовал ей забыть письмо, так как не пришло время затевать переговоры о сепаратном мире, раз все идет хорошо и он становится во главе своего войска... Но, как знать, у императрицы свои соображения... Наконец она могла переслать с Васильчиковой письмо своему брату...

Ход мыслей Николая при чтении рапорта начштаба Севфронта был вполне ясен Але-

ксееву. И именно потому, что он был ясен, Михаил Васильевич пошел на такую «дерзость».

Прежде всего нужно было ответить генералу Жилинскому. Одновременно с письмом Жилинскому послать несколько строк и Сазонову. У министра тонкий ум, он сообразит...

«Изучение присланных вами протоголов конференций и письма, полученного мною сегодня,— писал Алексеев Жилинскому своим круглым, убористым почерком, аккуратно подложив под писчий листок новый лист промокательной бумаги,— показывает малое понимание сложности обстановки и положения, общих интересов, а главное — тенденции Жоффра. Заключение, что Франция, имеющая 2 миллиона бойцов должна быть пассивна, а Англия, Италия и Россия должны «истощать» Германию — тенденциозно и не вяжется с грубым мнением Жоффра, что одна Франция ведет войну. Думаю, что спокойная, внушительная отповедь, решительная по тону, на все подобные выходки и нелепости стратегические безусловно необходимы. Хуже того, что есть, в отношениях не будет. Но мы им очень нужны, на словах они могут храбриться, но на деле на такое поведение не решатся. За все, нами получаемое, они снимут с нас последнюю рубашку. Это, ведь, не услуга, а очень важная сделка. Но выгоды должны быть хоть немного обоюдными, а не односторонними...»

Сазонову Михаил Васильевич писал вполне доверительно и в личном порядке, что он очень просит дорогого Сергея Дмитриевича выразить как-нибудь помягче, но вразумительно господину Палеологу для передачи его правительству, что требования Жоффра ставят русское командование в невозможность действовать согласованно с военным командованием Франции.

Закончив письмо и запечатав оба конверта к Жилинскому и к Сазонову, Алексеев откатнулся от стола, облокотился о неудобную деревянную спинку кресла и закрыл глаза. Так, в полном бездумье, стараясь слушать только свое дыхание, как учат ноги, начальник штаба просидел четверть часа. Это было очень трудно при возбужденных нервах, по крайнему необходимости. Без этого короткого отдыха трудно было сделать все дела сегодняшнего дня. А впереди осталось ответить сербскому королевичу в духе пожеланий государя, то есть по сути ничего не ответить... Снести с новым главнокомандующим Северного фронта Плеве, назначенным вместо Рузского по собственному вы-

бору Николая и без ведома Алексеева... Соединиться по прямому проводу с командармом семь Щербачевым. С обоими генералами предстоит серьезный разговор.

А там... ложась спать, после того как быдет брошен последний взгляд на карту наших и союзнических военных действий, все свое внимание, всю свою сообразительность надо отдать решению вопроса, как быть дальше с Ивановым...

Саввич снова напомнил о себе. Он окончательно покидает Иванова до начала операций. На его место Михаил Васильевич рекомендовал Владислава Наполеоновича Клембовского, очень дельного, знающего генерала. Но это не выход. Больше того — честный человек, серьезный работник Клембовский легко может убедиться в том, что его начальник... Нет, этого нельзя допустить! Но что, что делать? Иванова нужно устранить от командования. Но как сделать это так, чтобы не задеть царя? Но нельзя же и предстоящее наступление свести на нет!..

Наступление было сведено на нет. Тридцатого декабря царь вернулся в Ставку без сына, сообщил Алексееву, что наследнику лучше и сам себя чувствует бодро и рад скорей встрече с гвардией, смотр которой он собирается произвести 15-го. Ни тени былого недовольства своим начальником штаба.. Михаил Васильевич тотчас же это отметил. Чтение рапорта Бопч-Бруевича, очевидно, возымло должное действие. Надо было воспользоваться удобным случаем и поднять вопрос об Иванове. Подложив в общих чертах создавшуюся перед наступлением обстановку на боевой линии Юго-Западного фронта, Алексеев просил его величество всемилостиво обратит особое внимание на неудовлетворительную работу штаба Юзфронта.

В самый важный период подготовки операций главнокомандующий ссорится со своим паштабом и увольняет его. Виповняком этой ссоры безусловно является Николай Пудович. Он не верит в операцию 7-й армии, хитрит, оттягивает без нужды начало операции, отчего она утрачивает всякое подобие внезапности... Не дает руководящих указаний для объединения работы армий, ограничивая свое руководство только липкими критическими замечаниями... Генерал Щербачев жалуется на предвзятость комфронта и тоже готов потерять веру в благополучный исход.

Все это подрывает дух армии. Командиры частей, штаб- и обер-офицеры давно уже весьма неслестно отзываются о своем главнокомандующем, и, что всего печальней, это мнение нельзя оспаривать...

— Я сам, ваше величество с прискорбием прихожу к выводу, что Николай Пудович, видимо, устал, потерял нерв в работе и не в силах больше справиться с таким ответственным делом... Он не однажды лично повторил мне это и просил отпустить его на покой. По мере сил я поддерживал в нем бодрость, говорил ему о том безусловном юверни и уважении, какое питаете к нему вы, ваше величество, но... боюсь, что Николай Пудович прав... годы сказываются... Тяжелая и героическая задача, какая выпала на долю Юго-Западного фронта во все время войны не могла не измотать старого человека... И я склонен думать, что для блага дела... вашему величеству придется, как это ни больно...

— Да, да... пожалуй...

Царь улыбнулся, вспомнив что-то веселое, я посветлевшими глазами посмотрел на Алексеева.

— Вы знаете, Михаил Васильевич, я это заметил... он уже не может удерживать... вы представляете себе? Громко при всех! Он так, бедняга, растерялся...

И, смеясь, Николай неожиданно пожал Алексееву руку.

— Я очень благодарен вам, Михаил Васильевич. Вы ограждаете меня от многих неприятностей... Я ценю и вполне вам доверяюсь. Теперь, как никогда, надо быть осмотрительными. Мы с вами окружены врагами и подозрительными субъектами... Маленький опрометчивый шаг... Вот с этой величикохой... В Петербурге о ней, знаете, знают очень дурные слухи...

Он помолчал, потрогал усы, не зная, что еще сказать, устав от долгой речи.

Алексеев стоял перед ним, ожидая дальнейшего. Но царь отпустил его, так и не добавив ничего больше об Иванове.

Он уехал в Киев, оттуда в Волочыск.

15 декабря в 8 часов утра верховный департамент смотр 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Утро было по-весеннему теплое, поля дымились, выпавший было снег растаял, к полудню развезло по дорогам невымытую грязницу. Второй смотр 3-й Варшавской гвардейской дивизии пришлось произвести у самого поезда. В три часа Николая оставили в Подволочиск, где ждали его 1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии с их артиллерией.

Уже темнело, когда царь в своем автомобиле проехал дважды вдоль рядов — снаружи и внутри, после чего придворный протокол Шавельский отслужил молебен в центре

огромного кара, одну сторону которого заняли преображенцы.

Игорь стоял на правом фланге своего батальона. После молебна из тьмы раздался тусклый голос:

— Прощайте, молодцы!

На невидимом поле поднялся глухой рев тысячи глоток, кричавших «ура». Но как не похож был этот рев на те грозные волны, подгоняющие друг друга и слышные за много верст, каким внимал Игорь, стоя с Зайончковским на прилуцком холме...

На другое утро, едва забрезжил свет, гвардия двинулась в наступление.

Туман мешал артиллерийскому огню.

Преображенцы доползли до проволочных заграждений австрийских позиций и в нескольких местах взяли первую линию обороны.

В тот же день части 9-й армии, начавшие атаку 14 декабря, тоже добрались до проволочных заграждений, штурмовали некоторые участки, но неудачно.

16 декабря начала штурм 7-я армия. В течение трех дней двумя корпусами она овладела тремя линиями окопов. Теснимый 3-й финляндской дивизией, противник отступил на правый берег Стрыпы, не успев даже уничтожить мосты. Спустя два дня части 7-й армии продвинулись еще дальше, захватили высоты юго-восточнее Куйданова, но закрепиться не сумели.

В высшем командовании шел разброд и недовольство. Никому не были ясны задачи, поставленные перед войсками штабом фронта. В ходе боев, Иванов изменил свой первоначальный план и дал новую директиву. Предполагалось привести ее в исполнение не позже 14 января, но «ввиду недостаточной подготовки армии», как заявил Алексееву главнокомандующий, отложена им впредь до распоряжения. На это Алексеев, окончательно уверившийся в том, что Иванов сознательно сорвал наступление, заявил ему, что никаких новых задач армиям ставить незачем.

Германия требовала от Румынии немедленного выступления на ее стороне. Русское командование принуждено было самым держать наготове свободные войска и не начинать сражения, которое могло связать руки.

Так безрезультатно и бесславно закончилось декабрьское наступление.

Молодая армия Щербачева, с первых же дней боев показавшая свою боеспособность и выдержку, была растрепана по пустыжкам. Потери фронта в людском составе достигли пятидесяти тысяч.

Алексеев докладывал царю о печальных итогах боев, просил его подумать о замене Иванова.

— Эти невознагражденные потери, — сказал он.

— Ну что же — потери! — возразил царь. — Без потерь нельзя... Да и кто может заменить Иванова? Сейчас не время об этом говорить... отложим до другого раза, Михаил Васильевич... Старика распушите как следует... Скажите, что я доволен...

И началась переписка. Ставка отчитывала штаб фронта. Иванов пушил командующих армиями. Командующие резонно возвращали упреки главнокомандующему. Все валили друг на друга и на дурную погоду.

Погода и точно стала из рук вон плоха. Шел снег, таял, разводил непролазное месиво на полях и дорогах. Люди и лошади вязли, изнемогали, продовольствие застревало в пути.

О главной причине беды знали, пожалуй, только два человека. И оба они томилась этим.

Алексеев бесплодно корил себя за то, что у него пехватило духу во-время настоять на смещении Иванова.

Брусиллов возмущался, что он, командарм 8, не достаточно резко выступил против плана главнокомандующего, не сумел настоять на своем, не добился разрешения организовать ударную группу.

— Мы все, все мы, командующие армиями, должны были бы просить верховного о смещении Иванова! — говорил Алексей Алексеевич. — Ну какой же грамотный командующий мог отвести армии Щербачева такой широкий фронт? Какой злостный кретин мог позволить Безобразову так безобразно растрепать гвардию в бессмысленных стычках? А что делали мы? Как идиоты, находясь в полной боевой готовности, смотрели на уходящие к 7-й армии мимо нашего поста резервы противника! Высылали разведчиков, беспечно болтавшихся по ночам! Срамота! Хуже того — издевательство!

И самому себе, убежденно:

«Сомнения нет места — Иванов предатель».

Но тотчас же, затаив боль, говорил своему начальнику штаба:

— Ну, что же, давайте работать. Будем готовиться к наступлению, к победе. Наступление мы вырвем у командования... а победу... Победа никогда не уйдет от нас. Надо только всегда быть к ней готовым и уметь схватить ее во-время. Знаете, как счастье... Это мною уже проверено, в молодости, когда я ухаживал за любимой девуш-

кой. впоследствии ставшей моей женой... Итак, главный удар мы с вами намечаем на Луцк. Два вспомогательных участка... вот смотрите...

Но начальник штаба не смотрел туда, куда ему указывал командарм. Он вглядывался все с большим сочувствием и тревогой в обострившийся профиль Брусиллова, в покрасневшие веки, в глубокую стеньгу под глазами. И, боясь обнаружить это сочувствие и тревогу, проговорил нерешительно:

— А не пора ли нам отдохнуть, Алексей Алексеевич? Уже второй час ночи... Вы очень устали...

Брусиллов оторвал глаза от карты, помолчал, поморгал глазами, как бы проверяя, достаточно ли хорошо они видят, и сейчас же уверенно ответил:

— Нет, еще не устал...

Потом, понизив голос, строго:

— В России теперь никто не имеет права уставать... Вот смотрите: если соответствующим образом перегруппировать войска, то всего удобнее будет...

И оба, командующий армией и его начальник штаба, прилежно склонились над картой.

XV

В 6 часов 32 минуты мартовского утра 1916 года в штаб 8-й армии была принята шифровка. Забланный дежурный офицер оперативного отдела принял ее и, с трудом разбираясь, так ему хотелось спать, стал переводить на бланк. Но с первых же строк лицо его протрезвело, в глазах появился испуг, потом восторг и, наконец, полная растерянность. Он кинулся будить начальника. Начальник оперативного отдела, пробежав при свече телеграмму, не глядя, потянулся за бельем, за брюками, сапогами, гимнастеркой и, не успев затянуть кушак, побежал к Сухомлину. Офицер оперативного отдела последовал за ним. Денщик начальника штаба решительно запротестовал.

Но начальник оперативного отдела не слушал рачительного денщика. Он отстранил его от дверей и вошел в спальню Сухомлина со словами:

— Уж вы там как хотите, но извольте вставать, ваше превосходительство! Событие первостепенной важности! Вот глядите, что получено... — и протянул Сухомлину бланк.

Начальник штаба поморгал веками, уставился на стоявших перед ним офицеров. Денщик поднес к его глазам лампу. Генерал внимательно и очень медленно, как показало стоявшим около его постели, прочел

телеграмму, потом опустил ее на колени, прикрыв глаза и просидел так еще некоторое время в полном безмолвии и неподвижности.

— Благодарю тебя, господи! — наконец, проговорил он, серьезно и сосредоточенно перекрестился, неслышно шевеля губами, и решительно опустил с кровати ноги. — Надо будить!

Они шли темными коридорами, не произнося ни слова. Так, гуськом, вошли в приемную, где спал дежурный адъютант.

— Нам нужно видеть Алексея Алексеевича, — строго сказал Сухомлин, когда Саенко вытаращил на него удивленные глаза.

— Но, помилуйте... Алексей Алексеевич лег только два часа тому назад!..

— Вот, читайте, — вместо ответа ткнул ему в руки телеграмму начальник штаба.

Саенко сморщил нос, поджал пухлые губы для большего внимания к тому, что надо было прочесть, но тотчас же широко раздул ноздри, выдыхнув «давивший» ему грудь воздух, распустил губы, девичьи глаза его подернулись влагой и засияли от счастья.

— Господи! — вскрикнул он и опрометью бросился в кабинет, где спал Брусиллов.

Алексей Алексеевич спал. Сон его был мирен и по-утреннему особенно сладок.

Ворвавшийся срыву и готовый было крикнуть Саенко замер. Трое остальных, вошедших, хотя и не полагалось, вслед за адъютантом, смущенно попятились. То состояние покоя и мира, в каком они, все четверо ближайших помощников командарма, ежечасно общающихся с ним, застгли его, было настолько для них ново и так разительно в минуту наивысшего для них волнения, что у них не достало сил как-либо проявить себя.

Дляось это сосредоточенное забытие какой-то короткий миг. Первым очнулся от него самый молодой из них и всех более взволнованный и счастливый — Саенко. Он оглянулся на Сухомлина, тот ответил ему легким наклоном головы. Саенко на цыпочках подвинулся к походной койке и дотронулся до обнаженной руки Брусиллова.

Брусиллов мгновенно открыл глаза и совершенно трезво глянул на своего адъютанта.

— Что-нибудь важное, голубчик? — спросил Алексей Алексеевич и, протянув руку к ночному столику, не глядя, взял наполовину недопитый стакан чая и выпил его залпом.

— Алексей Алексеевич... — совсем по-домашнему и от всей полноты чувств проговорил Саенко, и полные щеки его задрожали,

пошли розовыми пятнами. — Алексей Алексеевич... тут такое важное... мы все...

Брусиллов удивленно и чуть насмешливо взглянул на адъютанта, потом на незаметно пододвинувшихся к нему Сухомлина, начальника оперативной части и дежурного офицера.

— Какой час? — спросил он.

— Семь часов две минуты, — торопливо ответил дежурный офицер.

— Прекрасно. Вы меня разбудили вовремя. Я мог проспать — и, снова обведя всех взглядом, добавил: — Но почему же все-таки таким большим обществом? И с такими торжественными лицами?.. По-моему, день моего ангела еще не наступил...

— Больные! Больные, Алексей Алексеевич! Прочтите!..

Брусиллов посмотрел на протянутый ему листок, а потом на вестового, поднимающего штору, на сизый туман за окном. Свет из окна был так робок, что не мог перебить огня лампы, горевшей с вечера на письменном столе.

Телеграмма была от Алексеева. Брусиллов прочел ее внимательно. Сухомлин, начальник оперативного отдела, дежурный офицер, Саенко и вестовой впились в него глазами. Им показалось, что в лице командарма что-то дрогнуло, между бровей залегла суровая морщинка, глаза глядели сквозь бумагу, читая не то, что прочли другие...

— Так... — произнес, наконец, Брусиллов и положил листок на тумбочку.

Короткое это слово прозвучало как ягоч давивших тяжелых дум — приглушенно и замкнуто. Глаза медленно поднялись и во всю ширь оглядели стоявших у койки. Все зашевелились, подались еще ближе, без чинов касаясь локтями, невольно отстраняя друг друга. Перед ними сидел на кровати худой, в распахнутой на груди полотняной сорочке старый человек, ставший им в эту минуту бесконечно дорогим. И, чувствуя эту свою близость людям, стоящим перед ним, Брусиллов проговорил очень душевно, очень тихо:

— Я знаю, с какими чувствами вы пришли. Благодарю вас... Не скрою, друзья, назначение мое главнокомандующим не стало меня врасплох. Я к этому готовился давно. Но не ждал... А теперь... Он протянул им обе руки, кивнул смущенно и ласково головой:

— Спасибо. Ступайте. Через полчаса присоединюсь к вам...

Розовая, с рыжеватым пухом рука вебрежно поигрывает длинными, тонкими, прекрасной зольгенгеской стали ножницами, постукивает их острыми сомкнутыми концами по зеркальному стеклу, покрывающему зеленое сукно письменного стола. В стекле отражаются и ножницы, и рука, и чернеющего серебра изысканный прибор, и пламя двух прозрачно-белых свечей в серебряных прекрасной работы подсвечниках. Рука медленно тянется к внутреннему карману визитки, достает оттуда плотную продолговатую чеховую книжку, распахивает ее на столе, опять поднимается и через мгновение опускает на жесткий зеленоватый листок книжки золотое перо вечной ручки. Перо скользит по бумаге и выводит всего лишь несколько слов и цифру с тремя нулями... Потом привычным движением вырывает листок двумя пальцами и протягивает его куда-то в сторону, в колеблющийся сумрак.

— Помилуйте... Игнатий Порфирьевич... Зачем? Видит бог, я от чистого сердца...

Голос из полумрака дрожит неподдельным чувством, со слезой, органичными переливами.

Темная рука в мундирном рукаве принимает листок.

Перед Манусом сидит на кончике стула генерал Артамонов. У него бравое лицо старого служаки, широкая грудь в орденах. «Почему-то все они — генералы и вахмистры — одинаково принимают на чай... Дам ему еще пять минут для изъяснения признательности — и хватит», — думает Игнатий Порфирьевич, покачивая головой и улыбаясь с благодушной короткостью доброго приятеля, всегда готового поделиться, чем может. Правая рука его незаметно нащупывает у края письменного стола под дубовой верхней доской крохотную кнопку электрического звонка. Ровно через пять минут он нажмет кнопку, явится секретарь и доложит о следующем посетителе.

История генерала давно известна. Все, что можно ждать от этого человека, ясно, как на ладони. Сообщенные им новости уже не новы. Только одна деталь, незначительный, но мнению генерала, факт, стоит больше врученных ему пяти тысяч... Но пусть генерал думает, что это аванс в счет будущих услуг... Какая ординарная физиономия! Нет, в швейцары я бы его не взял. Он пропустит ко мне любого, давшего ему самую ничтожную взятку.

Генерал Артамонов — покорный слуга Иванова, Николая Нудовича. Он командовал

1-м корпусом в армии Самсонова и провалил операцию. Его корпус спасся от полного разгрома случайно. Но сам генерал не без личной отваги. Перейдя мост у Сольдау с остатками корпуса, всего лишь с одной ротой, он сел на валу у окопа под артиллерийским обстрелом... Зачем? А вы спросите его. Потом посмотрел на часы, сказал, что «время», мост взорвали, рота стала отходить. «Ну, положим, он знал, зачем сидел, — лениво размышляет Манус. — Он уж совсем не такой храбрый дурак. Ему нужен был этот фортель, чтобы себя реабилитировать»...

И Артамонов добился своего! Николай Николаевич расцеловал храбреца. Артамонов втерся в 11-ю армию Селыванова, осаждавшую Перемышль. А когда 8-я армия своими действиями принудила Кусманека к сдаче, разделил лавры Селыванова и был назначен Ивановым командиром крепости. Тут он и показал себя. Он поместился, как сидит сейчас, расставя ноги, счастливый, под портретом Франца-Иосифа. Американский корреспондент Вашбурн сфотографировал генерала, поглядывающего табсбургскую монархию! Потом он издал приказ на двух языках — на русском и на немецком. Он предложил воздать должное храбрым побежденным и сохранить австрийским офицерам их оружие... Но... опять Иванов, несравненный Николай Нудович... Он-то знает, за кого заступается! И Артамонов, не мешкая, «упустил» целых двадцать тысяч пленных.

«Ну да, их просто не оказалось к поворочному подсчету! — думает Манус — Это надо уметь! Такое дурак не сообразит!.. Нет, мои пять тысяч даром не пропадут. Он отслужит...» Конечно, пришлось пожертвовать карьерой... Письмо Иванова в ставку с просьбой прикомандировать Артамонова в распоряжение штаба фронта несколько запоздало... Вопрос о замене Иванова Брусиловым был решен окончательно. Теперь генерал зачислен в резерв чинов Северного фронта. И вот сидит, плачется, рассказывает анекдоты про ставку, просится на службу... «Кем? Швейцаром? Нет! Пусть еще походит при всех регалиях... Пригодится. Конечно, Иванов перемудрил. Зачем нужно ему было так явно высказываться против наступления на этом дурацком февральском совещании? Предсказывать то, что потом сам же скомбинировал — провал операции Щербачева? Беда с этими генералами! Поменьше бы храбрости, побольше ума. Сейчас обиды, сейчас «я болен, я устал, пусть за меня молодые поработают»... И это тогда, когда, почувствовав

нездное, Игнатий Порфирьевич принял свои меры. Григорий Ефимович совершенно твердо сказал Вырубовой, что считает Иванова подходящим кандидатом на пост военного министра. Царница писала об этом царю, царь был склонен... Так нет! — надо же было говорить эти глупые слова о болезни... И Алексею, и Эвергу... И все поверили. И назначен вместо Поливанова Шуаев»...

— С его авторитетом, мудростью, военным гением — сидеть без дела! — говорит с пафосом Артамонов. — Состоять при особе его величества, конечно, великая милость, но, судите сами, Игнатий Порфирьевич, разве это подстать Николаю Иудовичу? Ему бы начальником штаба верховного!

«Положим как раз не надо, — думает Манус, — пусть сидит Алексеев, пусть отвечает он. Советы можно давать не официально, если они умные...»

И розовый короткий палец Игнатия Порфирьевича нажимает кнопку. Секретарь почтительно докладывает, что следующий по очереди — Брандаков, Савелий Онисимович.

— Вы мне простите, генерал...

Артамонов готовно вскакивает, басит, что чрезвычайно обязан, всегда к услугам, и бодрым шагом ретируется.

Манус мгновенно сидит неподвижно, глядя на полницы, лежащие перед ним, его тянет взять их слова — это прекрасные полницы, он их купил вчера, они лучше всех, что лежат в правом ящике его письменного стола. Они режут бумагу беззвучно, одним незаметным движением. Игнатий Порфирьевич еще не успел ими насладиться, он откладывает это до того времени, когда никто уже не помешает. Он принуждает веки, чтобы не устали. Они у него всегда чуть воспалены и не выносят яркого света. Поэтому в его служебном кабинете горят свечи. Разговаривая с собеседником, Манус едва только протыкивает щелочки, за которыми прячется живость его голубых глаз. По сути дела, он и разговаривает очень мало. Ему теперь не нужно, как в былые времена, изопираться в красноречии. Ему не приходится ни убеждать, ни советовать, ни излагать подлестительно ход своих мыслей. Достаточно сделать приветливое лицо, воскликнуть: «А, ваше превосходительство!» или: «А, мой дорогой, прошу, прошу!» — и ничего больше, ни одного слова во все время визита, ничего для того чтобы человек распахнулся, вылез из кожи, выболтал все, что от него требуется.

Коротким «угу» или кивком головы можно давать своему собеседнику любое направление мысли. Иногда на полуслове, как с

этим Артамоновым, Игнатий Порфирьевич прерывает собеседника медленным движением руки, достающей из внутреннего кармана визитки чековую книжку. Посетитель, как замороженный, уже больше не отрывает от него неморгающего взгляда. Игнатий Порфирьевич пишет некую сумму с тем или иным количеством ноликов и протягивает чек, как давеча Артамонову. Немое восхищение в глазах получателя. Можно быть уверенным в результате. Важно только это первое движение руки к протянутому чеку. Если его не было — разговаривать бесполезно. Такой человек перестает существовать, его уже не принимают. Но что-то редко Игнатию Порфирьевичу встречаются такие люди.

— Я даю столько, сколько стоит человек. Ни больше, ни меньше. За него самого, а не за его услуги. За услуги дают парикмахеру. Он вас делает красивым. А эти? Портят нервы, мешают думать.

Манус знает; о нем поговаривают в Думе, что он эмиссар Вильгельма, глава шпионской организации, заклятый враг России. Доказать этого нельзя. Это вздор! Он петроградский первой гильдии купец, крупный банкир, делец, но в пределах абсолютной законности, поскольку на Руси существует законность и на нее можно опираться. Он крупный держатель акций Международного коммерческого банка, член правления и директор ряда промышленных предприятий. Он ведет крупные дела, участвует в финансовых предприятиях, связанных с германским капиталом. Да. И не собирается от этого отказываться...

Война — случайная и глупая вещь. Войну начинают и кончают, когда выгодно. На это у него свое твердое мнение, и он его не прячет в карман.

Никаких «агентов», никакой сложной сети осведомителей не существует. Все, от чего Манус хочет получить сведения, нужные ему в интересах своего дела, исповедуются перед ним и рады этому.

Никаких «директив» ни он не дает, ни к нему не идет из-за кордона. Чепуха! Пинкертоповщина! Копейки не стоит! Он делает свое личное дело. Если это дело паруку тем, где за спиной явотских окопов, тем лучше. Он помогает им настолько, насколько они ему нужны.

Подумаешь, немецкие деньги! Ну, немецкие! Тем лучше, что они имеют хождение здесь! Вы же сами пользуетесь процентами! И получаете за них все, что вам надо! И пушки, и подметки и еще там что... А если будут французские, английские? Тогда что? Лучше будут пахнуть? Деньги — это деньги!

Каждый зарабатывает себе капитал, как умеет!

— А! Савелий Онисимович! Очень рад! Очень рад! Садитесь. Сигару...

Из-за прищуренных красноватых век привлекливо и оживленно сияют голубые глаза. Розовые пальцы кончиками коротко стриженных ногтей пододвигают коробку с сигарами.

Этот визитер обойдется и без чека. Он вполне разделяет деловую точку зрения Игнатия Порфирьевича. У него у самого крупное дело. Хлеб. Шутка сказать! В наше время — хлеб! Хлеб дает куда больше процентов, чем все капиталы, лежащие в сейфах Международного банка.

Савелий Онисимович сразу приступает к делу. У него педантичный, но весьма серьезный разговор. Он хмурится, он недоволен. Манус слушает, кивает головой, но это не мешает ему думать.

«Германия, сепаратный мир! Ай-ай, какие страшные слова! Да. Германия, сепаратный мир с нею ему нужны. Не понимаете? На эту основу — очень крепкую основу, смею вас уверить! — всего лучше ложится его, Игнатия Порфирьевича, пряжа.»

— Вам нравится сигара?

Замечает, как смешно держит Ерандаков сигару — двумя напряженно вытянутыми пальцами и морщится от дыма, потому что курить не любит, а курит из уважения к хозяину.

Манус слушает толковые слова умнищипосетителя, взвешивает их, соглашается кивком головы и не прекращает монолога, обращенного к самому себе. Он вознаграждает им себя за вынужденное бездействие и внешне невозмутимое спокойствие, дорого ему стоящее. Он сангвиник. В нем все кипит, хлопочет, ему трудно привыкнуть к этой тяжелойвесной поступи. Он бы давно уже хлопал Ерандакова по коленке, смеялся бы, открывая и закрывая бы ящики стола, звонил бы по телефону, одновременно отдавая приказания своему секретарю и целуя какую-нибудь девицу из оперетты... Но... положительно обаявает.

У него есть прекрасное средство для того, чтобы «локализовать» свою бунтующую, переработанную энергию. Пожницы. Он сам это выдумал. Сейчас о чем он думал? Ах, да! О прочной основе для его пряжи. Неплохое сравнение. Да. Ему нужен именно такой царь. Именно такая царица! Именно такая Россия. Ему нужен такой мужик, как Распутин. И такая вот болтливая, бесправная Дума. Нужен приток средств из Германии. дешевые германские товары и машины. Нужно, чтобы из России шла роль самым ближай-

шим путем, то есть в Германию. Для этого нужны железные дороги... Кстати, сейчас расскажу Ерандакову мой проект железнодорожного займа, это его заинтересует... Ну вот, он сам — точно меня подслушал. А ведь его никто не считает эмиссаром императора Вильгельма.

— Хлеб надобно везти за границу, — говорит Савелий Онисимович, хмурия брови и пощипывая носом от щекочущего ноздри сигарного дыма. — Довольно ему лежать зря. Всем хлебец нужен. Война войной, а человек по человечеству, по-христиански должен человеку от излишка давать...

Манус обрадованно подхмыкивает: «Вот вам истинно русский, православный базис».

— Я ведь не против войны был, — продолжает Ерандаков и в эту минуту становится похож на писателя Лескова, судя по его позднему портрету, — такое же хмурое, умное и острое выражение глаз. Манус слушает, лобуетя собеседником.

— Отчего же... К теплому морю дорожка нам тоже нужна. Ой, как нужна! Чего там говорить... Ну, пововаали бы месяца четыре там, пять — цена хорошая, а больше платить — пустой азарт. Не торговое дело — так я скажу. Не вышло, бог не дал, не потянуло на нашу сторону, с другого конца взяться нужно...

— Мириться, значит? — хитро спрашивает Манус, и глазки совсем прячутся за светлыми ресницами.

— Ну, там как хочешь пазывай! — резко и недовольно обрывает его Ерандаков. Он не любит, когда его лобят на слова. Сигара окончательно становится ему противна. Куда ее сунуть? Он гневно тычет ее в подсвечник, рассыпает по столу пепел.

— Не мириться, а сторговаться по-бжески, уменьшко!

И, встав во весь свой рост, широко, грузный, хмуро смотрит на восхищенном Мануса.

— Так как, значит? Согласен с моим предложением? Насчет муки?

— А конечно же! А боже мой! Это же настоящий деловой разговор! — не удерживается от восторга Игнатий Порфирьевич и тоже встает, трясет тяжелой руку Ерандакова, проболкает его до двери.

— Настоящий деловой разговор! — повторяет он, когда дверь бесшумно захлопывается за посетителем. — «Ха! Парламентаризм Англия! В этой стране. Два дня Ерандаков и даст вам муки... А ну-ка! Какие запросы исмогут? Какие продовольственные комитеты разберутся? Больные головы! Они хотят сделать Россию промышленной страной! А у

самых мокро под носом, когда рабочие ходят с флагами по улицам... И кричат караул, и зовут рабочих в свои комитеты, и рассказывают им о свободе и своей ответственности! Кому нужна ихняя ответственность? Кто им вероват? Я шевельну пальцем, Брандаков не даст мукки — и все они полетят к чорту! Одного, другого — выбирай какого хочешь! Родзянко, Миллюкова, Гучкова...»

Манус сжал розовые кулаки, посмотрел с веселой усмешкой сначала на левый, потом на правый кулак, стукнул их друг о друга и раслустил пальцы ладошка к ладошке.

— С этим вопрос покончен! — говорит он громко, и тотчас же гримаса испуга, злобы сжимает ему челюсти. Он с трудом открывает рот, дышит, как рыба, вынутая из воды, учащенно, тяжело. Глаза его на этот раз широко открыты, голубизна их помутнела. Он хочет топтать ногами, стонать, это бы облегчило его. Но нельзя! Он приучился сдерживать свои порывы, даже оставаясь в одиночестве. Ножницы... где ножницы?

Он спешит к письменному столу, по заливной его знакомый голос секретаря:

— К вам баронесса фон Флише...

И тотчас же задыхающийся капризный возглас:

— Я уже тут! Не вздумайте мне отказать! Все равно не уйду.

Баронесса в собольей накидке, с огромной собольей муфтой в руках, в ширококрылой шляпке на пепельных волосах. Она артистически подгримирована, пахнет от нее очень тонкими духами.

В живом пламени двух нагоревших свечей она кажется молодой. Игнатий Порфирьевич расплывается в улыбке, целует ручки, помогает баронессе усесться в уголок громадного дивана, на холодной коже. Она подбирает под себя ножки в малиновых туфельках. Она приниципиавет подведенные глаза на замаслившиеся глазки Мануса, старается прочесть в них то впечатление, какое произвел ее неожиданный визит. К этой встрече баронесса готовилась давно. Она хорошо обдумала свое поведение и тон и направление предстоящей беседы. Игнатия Порфирьевича она встречала изредка на вернисажах и артистических журфиксах, на которых допускалось свободное общение представителей разных слоев общества. Время от времени Марья Карловна обращалась к помощи и совету Мануса по некоторым некотативным вопросам. Баронесса являла на бирже, но никогда не теряла головы, действовала с присущим ей пристальным расчетом. Игнатий Порфирьевич не раз

восхищенно отмечал это ее качество. Она в свою очередь с первого же дня знакомства о нем почувствовала в нем силу, которой пренебрегать не следует. И не потому только, что этот толстенький, короткий человек вочрачал большими делами, как банкир, финансист европейского размаха, комбинатор, а потому, что в его сетях, — она это сразу почувчала, — барахталась такая отменная рыбешка, которая и сама способна была слотнуть любого властительного осетра. По случайным обмолвкам, намекам, сплетням ей удалось с достоверностью установить денежную и деловую зависимость от Мануса самых безупречных в глазах света общественных деятелей, сановников, государственных мужей всех политических окрасок и верований. Но что всего более возбудило тонкое чутье баронессы, так это разгаданное общее направление, в каком следовала деятельность Игнатия Порфирьевича. Спокойно и деловито этот короткий человек не только извлекал материальную выгоду, но выполнял какую-то большую государственную задачу. Марья Карловна легко разгадала направление его деятельности. Оно вполне совпадало с ее вкусами и чаяниями. Оставалось только соединить свои виды с задачами более крупного игрока. Незачем раскрывать свои карты, не о чем договариваться, конспириривать. Надо только войти в русло. Она давно бы это сделала, если бы не Костя. Константин Никанорович, этот сладостный крест, многого не способен понять... Он оказался чрезвычайно негибким человеком. По существу, он делал то, что от него ждали, но от случая к случаю, ради собственных, очень узких, выгод. А надо было служить делу. Принять на себя долю круговой поруки, негласно зачислить себя в ряды группы лиц, идущих в одном направлении. Незримым и всемогущим духом, руководящим этой группой, был, несомненно, Манус. В нем баронесса и решила найти свою опору.

«Что прикажете делать товарищу министра Смолячу?»

Так просто этого не спросили. Но существо разговора должно свестись именно к этому. И нужно во что бы то ни стало добиться ответа и расшифровать его, как бы он ни был загущиван. Время не терпит. Но всем данным, собранным Марьей Карловной, положение очень острое. На фронте готовится большое наступление. Алексеева прочат в ликтаторы. Шуваев, хотя и тормозит работу Особого совещания, по все же далеко не «свой человек» и продолжает начатое Поливановым. Сухомлипов сидит в Петропавловской крепости, несмотря на возмущение го-

сударыня. Васильчикову выслали из Петербурга. Распутина едва не убили. И именно теперь человек, которому обязаны разоблачением низости Хвостова, спасением жизни Григория Ефимовича, предупреждением готовящегося вооруженного бунта на Путиловском заводе,— человек этот почему-то оказался в тени, на волосок от явной немилости... Справедливость должна быть восстановлена!

Так, облекая все это в легкую форму случайных сетований, баронесса передала Манусу положение дел. Она отнюдь не придавала сказанному серьезного значения.

— Вся эта «политическая игра» вообще несерьезна. Не правда ли? Но нас, женщин, всего больше волнует несправедливость... Да, кстати, вы знаете что мне сказал па-дьях его высочество Сергей Михайлович? «*La paix entre l'Allemagne et la Russie est une question vitale pour les deux pays qu'unissent tant d'intérêts commerciaux et en réalité aucune divergences politiques ne séparent*»¹. Не правда ли очень умно? Я никак от него не ожидала!

Глаза ее улыбаются и вместе с тем серьезны, внимательны.

Игнатий Порфирьевич принимает этот взгляд как долгожданный подарок. Можно подумать, что ему признались в любви, лицо его сияет певчим блаженством.

— Я смотрю на вас, баронесса, и мне кажется, что бо мне возвращается молодость! Розовые руки Мануса прижимаются молитвенно к груди.

Баронесса невольно отодвигается подальше, глубоко прячет руки в соболью муфту, в упор смотрит на Мануса. Манус молчит и дышит тяжело. Это не притворство. Съездившаяся комочком, сорокалетняя, худая, чахоточная женщина, закутанная в соболя, неудержимо тянет его к себе. Но мысль Мануса все так же холодна и расчетлива. Он ничего себе не позволит. Он знает, чего она добивается. Ей незачем было выдумывать свою французскую фразу, будто бы сказанную великим князем. Ее карты давно ему известны. Так пусть же научит играть своего Костеньку. Никаких советов он ей не даст. Соображай сама.

— Мы с вами понимаем друг друга с полуслова, баронесса,— говорит он,— даже без слов. Идите с той карты, с какой счита-

ете пужным. И всегда останетесь в выигрыше.

Теперь от слов его веет сугубой корректностью. Он встал, обдернул визитку.

— Справедливость всегда торжествует,— говорит он без улыбки.

Как это понять? Как обещать? Она гибким движением соскальзывает с дивана.

— Спасибо, дорогой Игнатий Порфирьевич, вы меня утешили.

Снова чеховая книжка распластана на зеркальном стекле письменного стола, золотое перо выводит некую цифру и четыре нолика.

— Разрешите мне вручить вам, баронесса, этот мой маленький взнос на ваши начинания... Я много слышал о возглавляемом вами комитете «доброй воли». Замечательная идея! Сократить свои расходы, поступиться своими прихотями в дни народного бедствия!

Он охотя забавен и мил. Он оправляет на ней собольи палантин, задерживает на нем свои пальцы.

— Вы находите, что этот мех — расточительная прихоть? — смеется баронесса.

— О, что вы! Помилуйте!

— Завтра я его продам и на вырученные деньги пошлю от вашего имени подарок.

— Вы злая,— бормочет Игнатий Порфирьевич и целует ей руки по очереди одну за другой,— и вот вам за это. Сделайте мне маленькое одолжение. При встрече с Константином Никишиным передайте ему, что его зачем-то очень хочет видеть генерал Артамонов. Он только что был у меня. Чудесный старик, и, знаете, из тех настоящих героев — рубак, чудо-богатырей!

Говоря это, он незаметно нажимает заветную кнопку. Тотчас же в дверях — услужливый секретарь.

— Простите, Игнатий Порфирьевич... а помешал? Но вы просили напомнить вам, что к шести должна быть подана машина. Сейчас ровно шесть, художник Грушницкий ждет вас...

— О, убийца! — окрикивает Манус и потрясает над головой руками.— Он меня режет по кусочкам каждую минуту! Что мне делать с этим молодым человеком?

Секретарь смущенно улыбается. Баронесса грозит ему пальцем.

— Не смейте мучить бедного Игнатия Порфирьевича! — И проходит величественно мимо секретаря. Когда захлопывается за нею дверь, Манус шипит:

— Никого! На полчаса я умер. Грушницкого отведите в голубой кабинет... И прикажите подать ему коньяк. Пусть пьет. Бур-

¹ Мир между Германией и Россией — это жизненный вопрос для обеих этих стран, у которых так много общих торговых интересов и нет никаких политических разногласий.

Лукова попросите разыскать Манусевича — пусть тот найдет в «Астории» генерала Артамонова — он там остановился — и попросит рассказать свою историю... Особенно об Орлове. Запомните? Орел — царь — птица. Завтра, не позже двух, пусть едут к Смолечу и сообразят. Запомните?

Он один. Вожделенная мнута.

Визитка аккуратно повешена на спинку кресла. Рукава тонкой голландского полотна в глубую полоску подкрахмаленной рубашки засучены. В короткопалой розовой руке прекрасные полноты. Легкий нажим и тонкая лепточка гляцированной бумаги падает на стекло, за ней другая, третья... Шапшающее раздражение, тоска, из каких-то темных недр поднимающийся страх свертываются, уползают, оставляя только щемящий холодок в желудке... Давайте разберемся как следует. В чем дело? Что вызвало это состояние, положее на болезнь?

Откуда пришла тревога? Ерацаков напомнил о секвестровании Путиловского завода... Конечно, большая потеря... Но нет, не то... это уже наверстано. Что еще? Артамонов рассказал о каком-то пойманном шпионе... Ему сообщили Иванов, что следователь по особо важным делам при штабе его фронта, прапорщик Орлов, уличил в шпионстве около двенадцати человек агентов 11-й армии, а Сахаров поднял целый скандал... Ну, это пустяки... У Батюшкина все агенты «двойные», и никто их не ловит... Но тут что-то еще. Да. Среди них полковник Артур Штюмер. А, подумашь! Нет, не то... Если Костенька Смолич сумеет красиво обставить военную контрразведку, и охранка проглотит ее... баронесса может считать, что дело сделано — ее Костеньке я гарантирую карьеру... И потом, с какой стороны это меня касается, я вас спрашиваю? Что я, плачу этим двойным жуликам жалованье или веду с ними знакомство? Ерунда! Не то. Еще что-то Артамонов плел о боевом духе и об усиленном подвозе снаряжения... Значит, будет больше дыму, только всего... Ушел Иванов — есть Эверт. Этот умнее. Ах, да, умер Плевел... Неважно. У нас найдется таких людей добрый десяток. Алексеев собирается послучить диктаторские полномочия? Ну, это совсем вздор. Против этого даже наши зубоскалы из «блока». Сам Родзянко полезет на лыбы! Также еще компания! Идноты. Они играют с огнем. С огнем! Им всем, и Гучкову, и Пуришкевичу, решительно всем оторвут головы, вот что! Эти же самые, которым они кричат... Народ. Ага! Стоп. Ну,

конечно, вот я уже опять волнуясь. Рука дрожит. Кривая ленточка. Это началось, когда Ерацаков сказал: «Народ больно упрямым нынче стал». Да. Вот. Он сказал: народ стал нынче упрямый... Он сам не понимает значения этих слов. Я тоже сразу не понял. Но мне стало нехорошо. Не упрям. А сильнее, чем полгода, три месяца тому назад!

— Вот! — громко произносит Манус и чувствует, как холодный пот покрывает его тело. Он стескивает зубы, упорно режет, режет тонкими полосами все новые и новые листки бумаги. Перед ним на столе целый вздох перекиляющихся, колеблющихся от его учащенного дыхания белых змеек.

Тогда надо было заключать мир. Полгода назад. Когда Григорий Ефимович говорил с Александрой о предложении датского короля. О беседе Андерсена с Вильгельмом. Тогда же писала Васильчикова. А теперь... теперь... А, черт! Неужели поздно? Что делает у нас охранка? Что делают у нас жандармы, я вас спрашиваю, ваше высокопревосходительство господин Штюмер?

Ножницы звякают о стекло, белые змейки сыплются на ковер. Манус отшвыривает кресло с такой силой, что оно падает, увлекая с собою визитку. Потный, бледный, с нестерпимо зудящими веками, Игнатий Порфирьевич идет к окну и дергает тяжелую портьеру. Она не распахивается. Он нащупывает рукою плетеный шелковый шнурок и обрывает его. Одна половина портьеры чуть отодвигается. Манус видит улицу, тускло млеющую под весенней капелью фонари, прохожих, зонтики, петроградские предобеденные сумерки... Манус стоит недвижно, расставив ноги. По этой улице девятого января шли толпы. Рабочие. Народ.

В пятнадцатом году в этот день они не шли. Что станут они делать 9 января 1917 года? Он, Манус, ничего не имеет против беспорядков в тылу и на фронте. Этому все благоприятствовало: и подъем цен, и плохой подвоз продовольствия, и гниющее мясо, и неразрывающиеся снаряды, и мобилизация нужных для производства рабочих. Но он, Манус, не хочет, не может допустить, чтобы весь труд его жизни рухнул. Об этом следует подумать всем этим Гучковым! Скажите, пожалуйста, — трудно скинуть царя! Или выгнать Штюмера!

— Я его сам в три шеп, если он не разгонит Особое совещание, — говорит Манус, глядя на свое отражение в темном стекле окна. — Я сам разделался с Распутным, если он не сорвет наступление. А где царь? Я его не вижу. Разве он еще тут? Дураки! Вы

же знаете, чего хотите. Вы смерти своей хотите! А я не хочу. Нет!

Он тянет воротничок, ему душно. Он кричит во все горло:

— Думать научитесь, идиоты! Думать!

На крик бесшумно открывается дверь. Услужливый секретарь, удивленно подымая брови, вкрадчиво говорит:

— Я здесь, Игнатий Порфирьевич!

— Ах, вы здесь? — продолжает Манус. — Вы теперь здесь? А где вы были, когда я звонил? Тогда вас не было!

И без всякого перехода, совершенно спокойно, обычным своим сонным голосом:

— Что, Грушницкий уже пьян? Скажите ему, что мы едем. И не забудьте передать Бурдукову: орел — царь — птица...

— Уже исполнено, Игнатий Порфирьевич.

— Отлично.

Он ищет глазами свою визитку. Секретарь торопливо подымает стул, встряхивает визитку и подает ее патрону.

Манус, чуть косив на секретаря глаза, благодушно бурчит:

— Вы что сегодня? Именинник? Очень хорошо выглядите, честное слово. Или опять влюблены?

— Ну, что вы, Игнатий Порфирьевич...

— Ничего, будьте именинником. Считайте за мной подарок.

II

Смоличу не удалось сесть на место Хвостова. Мало того, ему намекнули, чтобы он сидел смиренно, если не хочет скандала... Распутный косился. Ему донесли, что брат товарища министра, преображенский офицер, подстерegal его с оружием в руках... Все меньше мог Константин Никанорович проявлять свою инициативу в «высокой игре».

А тут еще нелады с баронессой. Она давно утратила обаяние как женщина и утомляла как ментор. Ей хотелось видеть в любовнике государственного мужа, а он был только чиновником. Человеком, для которого движение по службе и сопряженные с этим маневры были единственным, что руководило его действиями.

— Администрация должна быть вне партий, как и армия, — раздраженно говорит он баронессе. — Мы можем бороться за свои преимущества, даже интриговать, но только в своей сфере — в служебной. Мы — власть исполнительная. Надо это помнить. У каждого из нас — точные пределы влияния и действия в рамках существующего закона. Мы служим по назначению его величества!

— Ты уверен? — с прощней спрашивает баронесса.

На этот раз она решила быть настойчивой. Разговор с Манусом убедил ее в том, что линия, избранная ею, совершенно правильна.

— Ты уверен? — повторяет она с еще большим упорством, заметив, что ее первая реплика не дошла до сознания Кости.

— Ах, пожалуйста, без демагогии! — взвизгивает Смолич, прерванный в разбеге своей речи. — Дело не в том, как добиваться назначення, а кто его скрепляет на законном основании! Я могу добиваться большего, но отнюдь не иного! В пределах выработанных норм и традиций! А вы их своими партиями пытаетесь расшатать!

— Боже меня упаси!

— Да, вы, вы! Плевать мне на всех этих воинствующих монархистов, кадетов, либералов и прочая! Если ты надел форму — потрудись служить! Я выполняю свои обязанности, как товарищ министра — вот и все! Никто не запретит мне стремиться выше и перегонять других! Даже если бы того, кто мне мешает пройти... Но ломать лестницу я не собираюсь и не позволю другим, пока здание, в котором я живу, стоит на месте. Поняли?

Баронесса выдерживает паузу и начинает говорить только тогда, когда Константин Никанорович шрходит в себя и взглядывает на нее злыми, но осмысленными глазами.

— Однако, — говорит Марья Карловна и затягивается пахитоской, — это здание уже разваливается, и приходится думать о переезде, если не хочешь погибнуть под обломками...

— Вздор! Если ты говоришь о революции или о немцах, то прежде всего я этому не верю. А во-вторых...

Тут Смолич внезапно замолкает. Он прислушивается к самому себе, у него белеют губы. Впервые баронесса слышит сказанное от глубины души:

— Во-вторых, при катастрофе всего лучше оставаться на месте. Ни при ком другом, ни при каких иных обстоятельствах мне не жить.

Баронесса вскакивает, бледнея от внутреннего озноба.

— Костя! Что ты говоришь! Я иду вперед! Мы хотим спасти то, что есть! Удержать! Закрепить! Для этого нужно пойти способ. Нужно выбрать линию... А не служить. Служить некому. Пойми ты. Некому! Необходимо найти сильные руки. Такими руками, как в старину, могут быть только руки варягов... Не смотри на меня сумасшедшими глазами. Подумай раньше, чем кричать. Нужен мир с Германией.

И, не давая возразить, схватив Смолыча за лавканы его пиджака, она шепчет ему задыхающимся шепотом, каким когда-то говорила о своей любви!

— И как можно скорей! Всеми способами. С полным убеждением, сплоченно, образовав сильную партию вокруг императрицы. Она одна понимает. Она имеет характер. Немцы должны знать, что у них здесь не только преданные помощники, но и убежденные, идейные друзья. Вильгельм должен быть уверен, что с ним говорит сила, имеющая власть, сумевшая сохранить эту власть, когда мир будет подписан.

Константин Никанорович молчит, ошеломленный. Его деятельный чиновничий ум ищет в словах баронессы точку опоры. Это не работа мысли в подлинном смысле слова. Скорей всего это похоже на автоматическое напряжение мышц, какое проявляет гусеница, внезапно дополнившая до конца былинку и шевелящая в воздухе своими присосками.

— Костя, ты слушай,— говорит баронесса с большой твердостью и спокойствием, уславив его рядом с собою на диване.— Я много думала. Я говорила с Анной Вырубовой. Дело не в смене министров, более или менее послушных. Дело не в том, чтобы сломить воледеяния Государственной думы и всех этих Родзянко, мечтающих пролезть к власти. Дело в ясной программе — не оборонительной, как сейчас, а наступательной! Видишь, и я заговорила военным языком, — перебивает она себя и с ободряющей улыбкой сжимает руку Константина Никаноровича, беспомощно кинутую им на край дивана.— Сепаратный мир с Германией — вот папа программа. Её помощь — в укреплении самодержавия в России. Взамен этого, с нашей стороны, торговый договор... Подробности сейчас не важны. Когда что-нибудь нужно дозареза, не жаль каких угодно жертв... Все дело в ясности цели. Служить некому, пойми! Царь беспомощен. Монархисты, спасающие чистоту царского имени своей травлей Распутина, только играют наружу Думе. Вы сами, министры, и ты в том числе, назначенные по указу его величества, не знаете, что все эти назначения скреплены директивой, идущей от немецкой контрразведки, — вы действуете вслепую и только путаете.

— Что?

Константин Никанорович вскакивает, Мария Карловна удерживает его.

— Не бойся слов, мой друг. Я никогда не говорю на ветер. Слушай.

Теперь её голос звучит резко, с каким-

то глухим присвистом. Говоря так много и с такой настойчивостью, баронесса не щадит себя — ей нехватает воздуха, грудь болит, пересохло горло, щёки нестерпимо горят.

— Пока вы слепо — кто даром, кто за деньги — служите интересам немцев, каждый в одиночку, до тех пор вы прекрасная мишень для диффамации, разоблачений, улюльвания, и, сказать правду, вы действительно жалки. Но когда вы, ясно поставив себе цель, — пусть пока еще тайно, — но как договаривающаяся сторона и вполне независимая, пойдете на дипломатические переговоры с Германией, тогда вы уже не одураченные простаки, а партия! Партнеры за одним столом!

Константин Никанорович повелится, прислушиваясь внимательно. Открылись какие-то горизонты, напряжение мышц утратило беспомощную тупетность.

— К тому же сильнейшие партнеры, — заметив его движение, с еще большим упорством продолжает Мария Карловна.— За вашей спиной будет не только какой-то Манус, как теперь, а Германская империя! И вы уже не изменники, а спасители отечества! И думцев нет, и никакая революция вам не страшна, потому что у вас хоронший немецкий клут. Вот тогда порядок, закон, неизюлемость власти. Служба по назначению его величества самодержца!

Она надтреснуто, но от души смеется.

— Костя, милый! Если бы ты видел себя в зеркале!

И, не давая ему возразить, оцетипиться, пережимается к нему и шепчет в самое ухо:

— Пойми! Служба! А не хоженье по канату, как теперь. Ну? Разве я не права?

III

Баронесса была права. Костя это понял, оставшись наедине с собою. Минута внутренней собранности, осенявшая его внезапно и заставившая впервые сказать от глубины сердца: «Ни при ком другом, ни при каких иных обстоятельствах мне не жить», — эта минута обязывала быть логичным. Чтобы остаться жить, нужно сохранить звание и пьедестал для хозяина. Следовательно, с какой стороны ни глянь, партия действительно нужна... Партия баронессы? Пожалуй, так всего верней. Эта партия, по сути, ставила точку над «и» уже давно написанном. Нигуда не пужно перебираться, ни на какой иной стул не приходится пересаживаться. Преследуя свои цели, следовало только не забывать обшце. На законном

основании допускать все, что могло толкнуть государственную машину к сепаратному миру.

Поле деятельности представлялось огромное и разнообразное.

Как товарищ министра Смолич ведал наиболее гибкой частью министерского аппарата — департаментом полиции. «Если посадить в качестве директора департамента вместо Климовича, навязанного Хвостовым, своего по «партии» человека, то в руках моих окажутся судьбы и самих членов «партии», и ее врагов... Ход правильный!» — решил Константин Никанорович. «Пока не наклюнется более крупная фигура для связей дипломатических, нужен надежный подручный... Кто?»

После долгих размышлений, скрепя сердце, он решил посоветоваться с Манусевичем-Мануйловым. «Этот пройдоха всех знает, как облупленных... К тому же Мари обмолвилась о Манусе, а Манусевич свой человек у этого банкира и уж несомненно если не член «партии», то по каким-нибудь тайным поручениям Мануса он безусловно ходок... Обязательно завтра же пошлю за ним...»

Но посылать не пришлось. Иван Федорович оказался легок на помине. Он явился без зова в тот же день, и не один, а в сопровождении генерала Артамонова и полковника Резанцева.

Визит этот носил полуофициальный характер, так как происходил в кабинете товарища министра в приемный час, но затянулся надолго и имел совершенно неожиданные и многозначительные для Константина Никаноровича последствия.

Представителем этой почтенной тройки и как бы ее докладчиком, выступил генерал Артамонов. Но, судя по тому, как пеловко чувствовал себя «герой Перемышля» в этой роли, как нескладно путаясь говорил, то и дело ссылаясь на своих товарищей, Смолич понял: Артамонов не автор предлагаемого ему проекта и даже не соучастник в деле, а всего лишь благовидная ширма. Автором, как впоследствии и оказалось, был Резанцев. До этого дня полковник не был знаком Смоличу. Константин Никанорович слышал о нем как о наиболее влиятельном члене батюшинской комиссии, бывшем помощнике прокурора Петербургского военно-окружного суда. Его авторитет в том вопросе, который предлагался вниманию товарища министра, был очевиден.

Иван Федорович курил, предлагал собеседникам папиросы, покачивал сочувственно головой и улыбался. Улыбался Артамонову, длинно и пудно пытавшемуся изложить суть

проекта. Улыбался Резанцеву, постепенно овладевавшему вниманием товарища министра. Суть проекта заключалась в следующем.

В первых числах января был изловлен и допрошен в Волочишке следователем по особо важным делам прапорщиком Орловым шпион, офицер австро-германского разведывательного бюро, руководимого фой Люцовым.

После долгого заширательства шпион признался, что он был послан во Львов еще в феврале прошлого года для организации агентурной сети в тылу русских армий ввиду предстоящей операции, которая имела решающее влияние на исход кампании в мае шатнадцатого года. Прорыв Юго-Западного фронта русских войск войсками Макензела был обеспечен, главным образом, благодаря работе агентурной сети, руководимой этим пойманым шпионом. Из дальнейших опросов выяснилось, что фамилия шпиона Рагинский, что он проживал во Львове под видом директора городского трамвая. Но самое знаменательное то, что пособником Рагинского были агенты русской контрразведки и среди них старший агент Юго-Западного фронта капитан Рутковский.

— Об этом я узнал самолично от его выскопревосходительства Николая Иудовича, — с тяжелым вздохом пояснил Артамонов. — Представляете себе, как горестно было старцу от такой вести! Но этого мало! По поводу Рагинского и свидетельства Рутковского, было допрошено прапорщиком Орловым и разоблачено еще двенадцать агентов русской службы! Среди них прапорщик Шпрингер, состоящий членом приемочной комиссии казенных заказов в Америке, и полковник Артур Штюрмер. Последний уже повешен...

Что-то сжалось туго, как часовая пружина, в груди Смолича. Вот она, ариаднина нить... вот он, путь к власти!

— Он что же, — произнес Константин Никанорович тихо, — не родственник ли?

Все поняли, о чем он спрашивал.

— Не могу знать, — с испуганной услужливостью прохрипел Артамонов.

— Виучатый племянник, — деловито под-сказал Резанцев.

Едва прозвучал этот сухой ответ, как вся кровь бросилась в голову Смолича, мурашки побежали по телу.

Дальнейший разговор вел уже полковник Резанцев.

— Изложенные факты, возмутительные сами по себе, имеют еще одну сторону, — сказал он, — на которую мы и позволяем себе обратить внимание вашего превосход-

тельства. Прежде всего поражает количество «двойных» агентов. Генерал Артамонов совершенно правильно полагает, что такое положение пестришим, и говорит о том, что военная контрразведка поставлена у нас из рук вон плохо, доверена лицам случайным и не внушающим доверия. Бывший главнокомандующий фронтом уже неоднократно, по словам генерала Артамонова, обранчал внимательные ставки на случай подобного рода еще и в прошлом году и именно перед майским взгромом... Если бы своевременно были бы приняты соответствующие меры, как знать, может быть, русскую армию и не постигло бы несчастье...

«Зачем он мне это рассказывает?» — недоумевал Константин Никанорович. Резанцев точно подслушал его.

— Не найдя поддержки в ставке и уже будучи отстраненным от командования, Николай Иудович, однако, не оставил мысли о реорганизации всего контрразведывательного дела. К сожалению, по занимаемому им в настоящее время положению, он лишен возможности лично заняться этим делом. Исходя из этого, Николай Иудович просил генерала Артамонова поговорить доверительно с вашим превосходительством и изложить вам некоторые соображения... Они могли бы служить основой для нового положения о контрразведке, если бы вас как товарища министра внутренних дел и шефа департамента полиции и государственной охраны это могло бы заинтересовать...

Тонкие губы полковника плотно сомкнулись. Константин Никанорович жадно впился в них взглядом.

В какую-то долю секунды изобретенный в административных головоломках ум Константина Никаноровича подсказал ему то, что еще не успел высказать Резанцев. Кем бы ни была внушена эта идея, она гениальна и идет именно в ту точку, которая нужна сейчас вновь испеченному члену «партии». Дело тут вовсе не в оздоровлении отечественной контрразведки. Дело в том, что ее можно прибрать к рукам. Все пути немецкого шпионажа свести к одному центру — центра жандармских и охранных отделений... Тогда уж никакие прапорщики Орлова не свяжут руки. И «двойных» агентов придется расстреливать — таковых не жалется.

— Да, — сказал товарищ министра бодрым голосом, — меня не мог не заинтересовать этот вопрос. Изложите, прошу вас, соображения его высокопревосходительства.

Последним уходил из кабинета Манусевич-

Мануйлов. Прощаясь, он сказал с неподдельным восхищением:

— Вы были сегодня великолепны! И верьте мне, вы на верной дороге, Константин Никанорович... От души желаю вам успеха!

IV

Это была действительно крупная и рискованная игра. Сам Иван Федорович в такие авантюры не пускался, по так как ответственность падала в данном случае на товарища министра, то он охотно пошел в подручные и взялся проредактировать проект и составить вводную часть положения.

Смолнич, как все люди, «затянутые в корсет», по меткому слову Манусевича, почувствовав под собой колебание почвы, нежелательно осмелел смелостью труса. Договорившись с баронессой, он поехал к Вырубовой и попросил ее устроить совещание Распутина с Резанцевым.

Резанцев блестяще справился с задачей. Он развернул широкий план захвата в руки департамента полиции всей сети контрразведки. Отныне чины общей полиции должны были принимать самое деятельное участие в задачах, возлагаемых на контрразведывательные отделения по борьбе со шпионством. Поступающие к ним сведения надлежало направлять в губернаторское жандармское управления или охранные отделения и только после их проверки предоставлять в распоряжение начальнику штаба округа и департаменту полиции.

Все пункты докладной записки были чрезвычайно тщательно обоснованы и объяснены высоким величием патриотического долга. Но двойное дно нетрудно было заметить и оценить заинтересованным лицам. Распутин облобызал Резанцева и благословил. Вырубова плакала и обещала все растолковать императрице. Докладную записку решено было направить с одобрения царицы в Ставку. Резанцеву тут же обещали пост директора департамента полиции с новыми полномочиями.

Манусевич осведомил Мануса о затее Константина Никаноровича.

Игнатий Порфирьевич достал из левого ящика письменного стола коробку с сигарями и, вынув из рта Ивана Федоровича только что предложенную и уже раскуренную им гаванну, заменил ее новой.

— Эта лучше, — сказал он, — значительнее лучше и дороже того, что она стоит!

Тревожные сведения о деятельности прапорщика Орлова, состоявшего при штабе X армии Сахарова, давно уже доходили до све-

дения Резанцева. О пей — об этой деятельности — не раз намеками сообщал куда следует Николай Пудович и просил убрать неугомонного прапорщика. По расследованию Орлова было повешено около сорока человек... Но Резанцев находил тревогу Иванова преувеличенной и даже вредной. С его точки зрения не следовало мешать Орлову. Его деятельность в каком-то отношении была полезна: она давала представление верховному командованию о том, что в этом смысле все идет правильно: вражеский шпионаж не находит почвы на территории военных действий и во время пресекается. В руки Орлова попадались в большинстве мелкие и неопытные агенты. Опрос их не давал серьезного материала контрразведке, о задачах противника им ничего не было известно.

Но то, что рассказал Артамонов, встревожило даже такого невозмутимого человека, как Резанцев. Ликвидация капитана Рутковского являлась уже крупной потерей. Резанцев с его смертью лишился очень дельного, даже талантливого, помощника. Но и это бы куда ни шло! Скверно было то, что Рутковский проговорился и выдал Рагинского. А Рагинский уже не «двойной», а подлинный крупный агент австрийской разведки. Уверенный, что капитан Рутковский выболтал на допросе полученные от него для передачи кому следует директивы германского штаба, Рагинский изложил их на допросе полностью.

Директивы сводились к следующему. Германский штаб предписывал во что бы то ни стало обезопасить правый фланг германской армии, стабилизировав Юго-Западный русский фронт. Этому последнему рекомендовалось не предпринимать никаких наступательных действий, так как с противостоящего немецкого фронта германский штаб должен был снимать войска и отправлять их к Вердену. Коротко и ясно. По сути дела, разоблачение этой директивы в настоящее время уже не могло представлять для германского штаба большого значения. Матерый шпион Рагинский прекрасно это понимал и поэтому не очень упорствовал на допросах. Но в руках прапорщика Орлова полученный материал приобретал чудовищный смысл.

Получив от своего агента Рутковского сведения о директиве германского штаба, главнокомандующий не только не сносит по такому первостепенной важности вопросу со штабом верховного, но действует вполне в согласии с этой директивой. Он упорно уверяет ставку, что войска его изнурены, требуют долгого переформирования и подго-

товки и не способны к наступлению. Он парализует всякую попытку командующих его армиями вызвать на себя противника. Он заклинает Брусилова прекратить успешно проведенную последним лучшую операцию. На февральском совещании главнокомандующих в ставке он предлагает такой план наступления, по которому 8-я армия должна бездействовать. И именно потому, что Брусилов настаивал на наступлении и выиграл в победу.

Когда наступление действительно произошло, Николай Пудович громкогласно все и каждому повторял: «Я же говорил! Я же предупреждал, что так кончится...» А немцы тем временем, положившись на Иванов, все более облегчали свой фронт... Вот только тогда Алексеев нажал на верховного.

Рескрипт, подписанный царем, гласил: «Желая в лице вашем сохранить при себе умудренного опытом и знаниями сотрудника в ведении великой войны, я назначаю вас состоять при особе моей, в убеждении, что с присущею вам преданностью мне и России вы и впредь посильно приложите ваш труд для достижения великой цели — победы...»

«Иванов вылез из грязной истории благополучно и даже ударился в амбицию, — думал Резанцев. — Дурак! Он не знает, чем это нам стоило!.. Остолоп, он даже не желал сдавать дела Брусилову. Он плакал и бил себя в грудь. В другой стране его бы давно повесили, а тут... фантастическая страна! Как она еще цела? Каким чудом держится?»

Резанцев считал, что Россия не оценила в нем великого человека.

— Нигде так не ошибаются в людях, как у нас! — твердил он ежедневно.

Военное дело его не увлекало. Офицерское звание не казалось достаточным. Он пошел в Военно-юридическую академию. Мало. Он кончил Академию генерального штаба. Он отдал себя целиком работе по контршпионажу.

Юным офицером, прямо с академической скамьи, попал он в Варшаву. Его назначили военным следователем. В пограничном округе шпионских дел хватало с избытком. Увлечение Резанцева перешло в страсть. Он казался сотоварищам маньяком военной контрразведки. Под всякими предложениями он стал добиваться заграничных командировок и отпусков. Не падая своих очень ограниченных средств, он проводил многие недели в конспиративных поездках по Австрии и Германии. Он пользовался адресами и явками,

известными ему из следственных производств.

В результате он в совершенстве изучил постановку шпионажа в обеих этих пограничных странах. Он расшифровал нескольких отечественных агентов работавших на два фронта. С этой стороны ему первому стал известен польковник Мясоедов. Охота за итерьером вождом завела его очень далеко. Любимый материал он до поры приберег для себя и впоследствии не раскаивался...

Доклады Резанцева, его записки и соображения обратили на него внимание и даже сыграли немалую роль в деле организации контрразведывательных органов. Вот, казалось бы, когда пришло время родине выполнить долг свой в отношении выдающегося своего сына. Резанцева назначили помощником прокурора Петербургского военно-окружного суда. Резанцев принял это назначение с чувством оскорбленного самолюбия. На этот раз он имел основание для гнева. Бюрократический идиотизм лишил его возможности проявить полностью свои дарования. Его вытащили из воды, где он так великолепно плавал. Его положили на сковороду и собрались зажарить. Он не желал, чтобы его съели. Ему нужна была деятельность, отвечающая его вкусам. Он ожесточился. Он ждал часа расплаты. С кем? Со всеми. Свой материал о Мясоедове он передал... Сухомлинову. Сухомлинов, в благодарность, свел Резанцева с генералом Батюшиным. Собаку пустили по другому следу.

Так стал правой рукой батюшинской комиссии полковник Резанцев. Он все учел, все взвесил. Ход его мысли был логичен и бесплывающ. Выгодней служить Германии. Если члены комиссии и сам ее председатель готовы были на любую услугу «за хабара», то он станет работать на совесть. Не по любви, а из презрения.

Резанцев наперечет знал теперь всех, с кем ему по дороге. Их много и в их руках власть. Германия уготовано владычество над благодарной Россией. Таков непреложный ход истории. Будем же готовить сепаратный мир. Немец умеет ценить «хорошую работу», не опелит и мастера...

Если члены «партии мира» не знали друг друга и даже не подозревали о самом существовании «партий», то полковник Резанцев держал их всех вместе. В пестром шкафу его кабинета хранилось, как зеница ока, на каждого из них «особое дело». Биография, высокое звание, когда была некоей державе известна услуга, с кем встречался, о чем говорил, сколько получено... и все субъекты не ниже пятого

класса — превосходительства, высокопревосходительства, сиятельства, высочества, величества...

Резанцев мог кое-что рассказать и об ее величестве государыне императрице Александре Федоровне... Каждое новое дело, положенное в несгораемый шкаф, прибавляло силы и воодушевления этому худощавому человеку с усиками Макса Линдера, с немигающим взглядом совиных желтых глаз, привычным к ночному мраку. Все властители великой империи аккуратно были размещены за померами в папках его «дел». Все хозяева жизни. Все ли? Резанцев думал, что все.

Набережная Невы казалась совершенно безлюдной и кипучей в непроницаемый мрак. Если бы не высокий паралет, нельзя бы было найти грань между сухой и водой. Освещенные окна верхних этажей, невесомо колеблясь, намывали как лунный отблеск в бегущей воде. Глаз напряженно и неуверенно искал направление, в каком следует передвигать ноги. Озноб постепенно овладевал телом. Фуражка, шинель, перчатки набухли влагой и тяжестью.

Но Резанцев шел, не загибаясь, прикрыв глаза. Дорога была хорошо знакома. Автоматизм привычки действовал безукоризненно. Также безукоризненно работала мысль. Ничто не отвлекало внимания. Колебались волны тумана, набережная, особняки, но полковник шел, не сгибаясь, выпрямив спину, твердо ставя ногу, уверенный в том, что равновесие ему не изменит. Он не боялся холода, насморка, неожиданных препятствий. Он двигался в полном и величественном одиночестве. Он напряженно думал.

Завтра, 1 апреля в Ставке должен был обсуждаться план летней кампании. Неудачное осуществление этого плана неминуемо поставит русскую армию перед возможностью полного истощения сил, а командование — под угрозой безоговорочного отказа от надежды когда-либо взять инициативу действий в свои руки. В лучшем случае приведет к неподвижному и безучастному отсиживанию в окопах. Это отсиживание, стояние денег, разлагающее дух армии, плюс развал транспорта и разброд «общественных сил» создадут такое положение в стране, когда вопрос о сепаратном мире встанет как неизбежность, как благотельный факт.

Засунув глубоко руки в карманы шинели, Резанцев остановился. Остановился автоматически именно там, где всегда останавливался. Туман лежал все той же плотной, свинцово-желтой пеленой. И хотя глаза

привыкли к дикому мраку, они все же раз-
личали предметы не дальше чем на два
шага. Резанцев сделал эти два шага и удо-
стоверился, что перед ним памятник Суво-
рову. Римский воин с обнаженным мечом
блестел от влаги, мраморное подножие каза-
лось серебряным от водяных капель.

Резанцев понял голову, привычно оглядел
бронзовую фигуру.

«Девяносто тысяч убили за три дня. Это
надо уметь! В вашей практике такого не бы-
вало, ваше сиятельство. Вот каковы наши
победы! Эверт и не то, вам покажет... дайте
срок... Завтра ваш достойный ученик Бруси-
лов будет распинаться за решительное на-
ступление. Он почти так же сух телом и мал
ростом, как вы. И над ним также смеются.
И может быть, он дотянулся бы до вашей
славы, если бы... не мы. У вас не было таких
талантливых противников. У вас под конец
жизни был Павел, но зато был Багратион.
Брусилов — один, под боком у него Эверт.
Алексей Ермолаевич разовьет такие теории...
Куда там Пфули! Стык двух смежных армий
будет прорван. Должен быть прорван. Север-
ная армия, предводимая Куропаткиным, при-
кроет нас вами, ваше сиятельство — город
Санкт-Петербург, столица Павла и Николая II.
И никуда не двинется: Зачем рисковать? Ку-
лак, запесенный Брусиловым, повнепет в воз-
духе. Я вам за это ручаюсь, генерал-ссимусе!
В этом наш стратегический план. Ни одной
дивизии от Вердена вам с Брусиловым от-
тянуть не удастся».

Резанцев передернул плечами — все-таки
было неприятно и сыро стоять без галош в
грязи и тумане.

Он резко повернул Суворову спящую, пошел
назад.

«Впрочем, я не против того, чтобы Бру-
силов в одиночку поцалался с немцами, —
думал Резанцев. — Если он вырвет клоч шер-
сти у немца — не беда. «Общественность» воз-
ликует, члены блока ударят в литавры и
растрелят на весь мир, что благодаря их
вещной привлекательности, а на поверку — ника-
кой победы! Один конфуз. И все поймут — вое-
вать мы не умеем и не можем. И нужно ми-
риться. И никакие Брусиловы больше нам не
помогут.

Завтра состоится совещание. А оно у меня
перед глазами. Участники его как на ладош-
ке. Иванов будет обижено помалкивать,
свою агитацию он развел еще сегодня. Эверт
превознесет таланты Алексеева, но, согла-
шаясь, вывалит тысячи доводов против...

Со своими «с одной стороны» глубокомы-
сленно нудно валустит туману Куропаткин.
Царь будет зевать от скуки. Алексеев — бес-

сильно и молча — злиться. Зубами вгрызет
в свое наступление Брусилов. Он потребу-
ет совместных действий на всех фронтах. Он не
сится с этой идеей. Он предложит себя и
застрельщики. Эверт и Куропаткин должны
согласиться! Пусть начинает. Это как в ма-
ской игре: раз, два, три! Один побеждает,
а другие стоят и смеются — «обманули ку-
рака на четыре кулака». Все, что мне нуж-
но — это знать точный день наступления

V

Последние два дня Михаил Васильевич
Алексеев никого не принимал с текущими
делами. Он готовился к совещанию. Он много
трудился, шестов молился и тяжело думал. Он
почти физически ощущал на лбу и плечах
гнет нависающих событий. Трудясь над запис-
кой «по поводу выполнения операций на
Юго-западном фронте в декабре 1915 года»
Северном и Западном в марте нынешнего го-
да», он сызнова пережил позор тех дней. Он
хотел этой запиской, которую должны были
раздать к совещанию главнокомандующим и
разослать по фронтам для различия командую-
щим корпусов и начальникам дивизий, ска-
зать в полный голос правду о тех, кто
должен держать ответ. Он назы-
вал поименно Иванова, Куропаткина, Эверта,
Щербачева, Рагозу, Гурко... Он бы мог приба-
вить еще десяток имен. Но что это за-
менит? Когда нет верховного. Его не будет
в день совещания. Во главе стола спит —
его величество. Безответственное и не име-
ющее мнения.

— Но тогда я должен решать. Я — сам
Алексеев знал, его решение тоже ничем
не поможет, ничего не изменит. Все пойдет
так, как идет. Записку прочтут и облытят.
Доклад на совещании выслушают и примут
к сведению. Но воз как стоял, так и будет
стоять. Нет — покатыте под гору. И сколько
бы ни подставлял палок, ни тащить в
гору. — воз скатится и разобьется.

Алексеев, так же как и Манус, привык
далеко заглядывать и оперировать крупными
числами.

Сидя у себя в Ставке в Могилеве, Михаил
Васильевич так же, как и Платоний Порфирь-
евич, пребывающий в Петрограде, но еще
более наглядно, чем последний, убеждался в
том, что народная сила крепнет. И сила эта
пугала начальника штаба верховного не
менее, чем пугала она директора Междуна-
родного банка.

Для достижения счастья и процветания
России нужна была победа над Германией.

А именно в победу начштаба верховного не верил. И не верил главным образом потому, что не верил народу.

Спасением от страха для Мануса являлся сепаратный мир. Для Алексеева — победа над немцем. Победы ждать было нельзя при нынешних условиях. Надо было найти разумную и сильную волю, которая хотя бы отвела угрозу позора поражения. Эта воля должна переломить волю врага на фронте и коварные происки немца в тылу. Она должна устранить причины справедливого ропота и недовольства народного и тем самым отвести от народа соблазн революции. Эта воля должна сама стать властью и хозяином России.

Так Алексей пришел исподволь к соглашению с Гучковым, что необходимо на что-то решиться... Медленно, но твердо идти к своей цели. Сначала пусть это будет его личное — Михаила Васильевича диктатура в вопросах снабжения армии и тыла... потом, Гучков не договаривал. Тем меньше хотел говорить Алексей. Да он и не знал что сказать...

Гучков пазвал имена «друзей». Пустовойтенко, генерал Крымов, депутат Коповалов, член блока Брянцев...

Неужели даже и Пустовойтенко... Боже мой! Боже мой! Если уже и такие готовы идти на риск...

Алексеев ждал к себе Гучкова, как было между ними условлено, на 14 февраля, но затянувшееся нездоровье задержало депутата. Он прислал письмо с просьбой принять вместо себя члена Государственной Думы Александра Ивановича Коповалова. «Он отлично ведет дело и ознакомит вас со всеми сторонами деятельности центрального Военно-промышленного комитета», — писал Гучков, между строк, давая понять, что именно этот человек вполне надежен и его надлежит выслушать до конца.

И вот он сидит перед Михаилом Васильевичем. Он смотрит на начштаба верховного с глубокой вниманием и сочувствием. У него умное, подвижное лицо. Он правится Михаилу Васильевичу. Никакое предубеждение не разделяет их. Предосторожности излишни. Нет оснований скрывать поставленную перед ними заговорническую задачу.

— Мы бессильны спасти будущее, — говорит Алексей. Никакими мерами нам этого не достигнуть. Будущее страшно. А мы должны сидеть сложа руки и только ждать. Ждать часа, когда начнет валиться... А валиться будет бурно, стихийно. Вы думаете я не сижу почамы и не мучаюсь мыслью о последнем дне войны... о демобилизации...

Ведь это же будет такой поток разнуздавшегося солдата, которого ничто не остановит. Ничто!

Пауза, глухое покашливание, брови хмуря нависают над усталыми желтыми веками.

— Я докладывал государю об этом несколько раз. В общих, конечно, выражениях... Мне говорят: «Что тут страшного? Все радешеньки будут вернуться домой... Никому и в голову не придет scandalить... У вас всегда мрачности, Михаил Васильевич...»

— Мрачности! — вскрикивает Алексей. — А между тем к окончанию войны у нас не останется ни железных дорог, ни пароходов, ничего! Все испосыми, все изгадили своими собственными руками!

— Но неужели же его величество этого не видит? — закидывает Коповалов самый острый крючок и даже смеживается от нетерпения.

— А, боже мой! — досадливо, как о чем-то давно наскучившем, отвечает Алексей. — Он смотрит глазами своих приближенных! Им не с руки рисовать какую-нибудь «мрачность»! Она им невыгодна.

Коповалов обрадованно кивает головой. Крючок не ранил. Спора о «его величестве» не будет. Дальше?

— Каждый из этих субъектов уже нацелился на какой-нибудь лакомый кусочек, — продолжает Алексей, не замечая радостного волнения собеседника. — Каждый старается уверить его величество в том, что все идет прекрасно под его высокой рукой... Да, что говорить! Разве царь понимает что-нибудь из того, что происходит в стране! Разве он верит хоть одному мрачному слову? Разве он не жмурится, слушая мои доклады?..

Алексеев меняет положение тела, все ему начинает казаться пудобно, не на месте. Он чуть отодвигает ланку с белым текстом «Записки», смахивает какую-то соринку, поправляет воротник тужурки, но это не устраняет физического пудобства.

— Мы указываем ему на полный развал армии и страны. Избави бог! Не подчеркивая, обходя острые углы... Доказываем правоту, непреложность нашей точки зрения... а он посылает нас с Пустовойтенко ко всем чертям... ко всем чертям! — повторяет Михаил Васильевич безнадежно, усталое, твердо уверенный в том, что физического беспокойства ему уже не избыть, сесть удобно не удастся.

— Да... тяжело... — сдержанно соглашается Коповалов. — Не завидую вам, Михаил Васильевич...

Он прикидывает: не пора ли начинать?

Нет. Время еще не пришло. Генерал хочет высказаться до конца. Не надо мешать.

— Знаете ли вы, что приходится испытывать ежечасно? — говорит Алексеев. — Ведь ни один шельма министр не дает теперь окончательного мнения ни по одному вопросу, не сославшись на меня! «Как полагает Михаил Васильевич?» А что может полагать Михаил Васильевич, кроме одного, что такого министра надо тнать в шею! Что при таких министрах — не выйдет!

Руки сами собою потянулись к папке с «Запиской», подняли ее над столом — вот сейчас отшвырнут в сторону... Но нет — бережно опускают на место. Что бы там ни было, деловых бумаг не пхиврять!

Коновалов это отметил как добрый знак. Стремление к порядку не покинуло начштаба, подскажет ему выход из беспорядка.

— Какой же выход, Михаил Васильевич? — спрашивает решительно Александр Иванович.

Алексеев отвечает готовно, точно ждал этого вопроса:

— Терпение... Молитва... Знаете, как мать с больным дитятей... Без сна... день, два, месяцы...

К такому ответу Коновалов не готов. Его можно было ждать в начале беседы, но не теперь. Депутат вслушивается — он не верит в искренность слов.

— Разумом знает мать — нет спасенья, — глухо, точно себе самому, продолжает Алексеев, — а сердцем... не сил, обертай, как можешь... до последнего часа...

— Но ведь это же самоубийство! — вскрикивает Коновалов.

— А как же иначе? — спрашивает Алексеев.

— Михаил Васильевич! Вы это серьезно?

— Вполне.

— Вы серьезно считаете, что без ны не царствующего — гибель?

«Долой словесную элоквицию, будем говорить начистоту», — решает депутат.

— Без царствующего — гибель. Безусловно, — говорит Алексеев.

— Ну, а если... — тут Коновалов зашпунлся и, пересилив сомнение, шопотом, но в упор: — Если другой? Если Михаил... регентом?..

Алексеев закрывает глаза и долго сидит так.

— Слаб, — произносит он, наконец, не открывая глаз. И тверже, после паузы: — Не послушлив. Я говорю о Михаиле, — поясняет он.

Коновалов светлеет, даже делает движение

потереть ладони, но замирает, переплетая пальцы.

Алексеев открывает глаза. Из-под бровей трезвым взглядом оглядывает рабочий стол. Пододвигает чернильницу, листает какие-то бумаги, берет ручку, точно собираясь записать что-то на память, но приостанавливается и стучит верхним концом ручки о стол.

— Все уже мною обдуманно и решено, — говорит он, и голос его звучит по-деловому размеренно и строго. — Я препятствовать не стану.

VI

Михаил Васильевич не успел до совещания встретиться и переговорить с Алексеем Алексеевичем как это ему удалось сделать с другими участниками совещания, приехавшими еще вчера. А именно Брусилова Алексеев ждал с наибольшим волнением, и сильнее всего именно с ним тянуло его поговорить. Михаил Васильевич предчувствовал, что у Брусилова свой твердый взгляд на предстоящие летние операции, он знал, что именно Брусиллов явится его самым рьяным оппонентом. Но не это пугало его, не принципиальные разногласия хотел он выяснить в предварительной беседе с главнокомандующим. Его пугала встреча с Брусилловым и тянуло его к беседе с ним что-то другое, более глубокое и противоречивое. Он верил в чистоту и правоту побуждений этого генерала и в его военное счастье. Военские таланты, вера в свое дело ставили Брусиллова в глазах Алексеева на голову выше остальных генералов. Но именно теперь, когда этому генералу волею самого Алексеева предоставлялось широчайшее поле действий, именно теперь он стал Михаилу Васильевичу подозрителен и страшен. И в этом своем новом качестве еще более тянул к себе. Тянул на какой-то до самого дна души разговор, после которого, может быть, все станет на свои места или все оборвется навсегда.

— «Он не может не знать, не видеть того, что вижу я, — думал Алексеев, — он давно уже потерял уважение к царю, он знает, какая тут творится каша, и не верит ни одному из сидящих здесь главнокомандующих. Если Куропаткина я еще по старой памяти не могу не уважать, если в Эверте я привык видеть логически мыслящего, осмотрительного генерала, то Брусиллов и этого в них не ценит... Он хорошо знает, что происходит в тылу. Почему же мне страшно, и я потерял веру не только в победу, но и в будущее России, а он верит в победу и добивается осуществления каких-то своих планов?.. Пусть очень талант-

ливых, по ведь напрасных! Напрасных! Поэтому что никакой частичный успех нам не возможен! Лишь бы только удержаться... Что это за человек? Он даже не ищет себе единомышленников, как я, не хватается за соломинку, как я, в своем створе с Гучковым, с Коноваловым... Что же он? Из другого теста? Или под ним не горит земля, как горит под всеми нами? — Что это за самоуверенность такая? — рассказывая, спрашивал себя Алексеев. — Вот он сидит рядом с царем, по это же небо и земля! Почему же он так же не хочет знать всего того ужаса, какой знаю я, как не желает видеть этого царя? Ведь у царя теперь в голове не больше того, что отражается в его глазах — небо, небо, галки в небе...»

Алексеев кончил свой доклад, и уже высказался Куропаткин, и Алексеев ему возражал, и вставил свое слово Шуваев, и длинную, очень обоснованную речь произнес Эберт о том, что всего лучше держаться оборонительного образа действия, и уже заговорил Брусилов... А Михаил Васильевич все продолжал думать о том же и мучиться тем же.

Брусилов говорил горячо, убежденно, но без всякого волнения. Говорил, как человек, хорошо все продумавший и уверенный в найденной истине.

— Да, я убежден, — говорил он, — что Юго-Западный фронт не только может, но и должен наступать. Да, я уверен, что у нас есть все шансы для успеха. Я не вижу причин стоять на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Нам всем нужно павалиться на врага. Всем фронтом, одновременно!

Доводы Брусилова не задевали внимания начальника штаба верховного. Он знал их: «павалившись всеми фронтами, мы не дадим возможности противнику пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям. Он не сумеет, как это было каждый раз в предыдущих боях, сосредоточенных в одном только месте, перебросить во-время на угрожаемый участок пужное количество войск...» Доводы эти были разумны, возражать не приходилось. Но не в этом же дело... не в этом!

Отвечая Брусилову, что он не имеет возражений против его плана, но предупреждает, что надеяться на увеличение, сверх разверстки, количества артиллерии и снарядов не приходится, Алексеев все повторял себе: «Не в этом дело... не в этом...» И уже

до самого перерыва совещания, и за завтраком и после, до конца совещания равнодушно и устало со всем соглашался. Автоматически и сухо он подытожил все высказывания генералов, заявил, что все они должны быть готовы приступить к операциям к половине мая.

Со стороны он казался просто уставшим и очень озабоченным человеком, но за этой озабоченностью и усталостью чувствовалось — и он сам это чувствовал — гнетущее равнодушие врача, который сделал все, что мог, у постели умирающего больного, прописал все лекарства и только ждет случая уйти, потому что все равно больше ничего не поможет, а надо только не надолго успокоить близких...

«Сейчас я все это ему скажу, — думал Алексеев, ловя хмурым взглядом Брусилова, к которому все подходили и с чем-то поздравляли. Наконец после обеда, после всех полагающихся в присутствии царя церемоний, прощаний с главнокомандующими и взаимных пожеланий успеха, выдалась удобная минутка, и начштаба верховного остался наедине с главноверхом Юзфронта.

— Я хочу поговорить с вами, — сказал Алексеев, задерживая в своей руке руку Брусилова, — всего несколько минут. И не очень задержу вас... И совсем неофициально, вы не бойтесь, никаких деловых разговоров... Просто так...

И с внезапной смущенной улыбкой торпливо добавил:

— Давайте пройдемся по саду... подальше от глаз... совсем тепло нынче... весна...

VII

И точно: в лиловых, дымчатых сумерках, спустившихся на город, в неподвижности старых оголенных лиц, в упругости недавно еще обнажившейся земли, в торьковатом запахе кустарника и прошлогодних трав, едва приметно колеблемых прорастающей мелочью травкой, в медленном беге перистых облаков, уносимых на запад, в том, как последние лучи зашедшего солнца угасали в небе прозрачными, легко сменяющимися друг друга нежными красками — во всем сказывалась весна. Если еще сегодня днем можно было ждать перемены погоды и в воздухе пет-пет да пробивалась знобливая зимняя струйка, то сейчас ничто уже не напоминало о зиме. Днепр разлился во всю свою ширь, запоздалые льдины еще утром стремительно, волчком уносимые буйным течением, теперь кой-где устало шуршале

у берега, а на смену им пошли длинные и медленные плоты. Плотовщики переключались раскатыстыми голосами, то там, то здесь вспыхивали и разгорались костры, равномерно поскрипывали уключины. Туман, еще прошлой ночью висевший над городом, пынче, едва поднявшись с земли, таял и расплывался так, что казалось — это сам воздух взволнованно и тепло дышит в лицо.

Два старых генерала шли медленно, плечо к плечу, но привычке шли в ногу, и со спины в своих длинных шинелях казались совсем еще молодыми. Оба глубоко дышали, и хотя каждый думал о своем и у каждого. накопилось за день много еще недодуманных мыслей оба одинаково в первые минуты своей беспечной прогулки всем существом своим отдыхали и наслаждались.

Алексей Алексеевич весь помыслами своими был уже у себя, в штабе, среди своих изакопец-то. готовых осуществиться замыслов. Сейчас он еще представлялся его умственному взору в общих, зыбких чертах. Он видел их сквозь весенний этот воздух, который вдыхал жадно, и не торопился разглядеть их внимательней, уверенный, что все придет в свое время. Да что греха таить — давно уже все им продумано, тщательно взвешено и только ждет часа исполнения. Поэтому вечерняя эта прогулка была для него как замедленный, нарочно замедленный, перевод дыхания на новую скорость. Уже рука тянется привычным движением к прерванной работе, уже воображенно опередило руку и доделывает начатое, а мастер медлит, борясь с нетерпением и в этой борьбе обретая силу и выдержку, которых должно хватить надолго и уже без передышки до самого свершения дела. О поводе, какой мог быть у Алексеева для этой прогулки, Алексей Алексеевич тоже не думал. Любопытство вовсе не было задето, даже любопытство к тому, как отнесся начальства к его выступлению. Все это казалось сейчас сущими пустяками. Пустяками казалось все другое, что говорилось и делалось в этот день, потому что самое главное сбережено, достигнуто... да нет же — не могло не быть сбережено и не достигнуто, потому что так тому быть и не миновать, на то воля вовсе не его, Брусилова, но желанно доказать свое, а воля армии, народа. А он, Бруслов, только ее ревностный исполнитель...

Михаил Васильевич тоже по первым шагам затейной им самим прогулки перестал думать о цели ее, а просто глотал сырой

воздух, забыв об угрожающей страшной бедо даля, какую представила ему встревоженная мысль... Он тоже воспринял все сегодняшние дела и слова как пустое сотрясение воздуха. Но оно казалось ему пустяковым, потому что все равно не могло избить беды. И еще потому, что говорилось, как ему казалось, о частностях, обсуждались вопросы о том, как лучше добиваться победы, тогда как надо было думать, как спастись от позора и гибели. Вот почему первые минуты прогулки и для него были роздыхом, благостным уходом в короткое забвение, в котором ближайшая даль, представлявшая его физическому взору, заслоняла даль предвидимую.

Они просто шли липовой аллеей, все более скрываемые от посторонних взоров плотнеющими сумерками.

Вот уже только одни темные движущиеся силуэты видны между неподвижными деревьями. Шаг Брусилова короче и легче, шаг Михайла Васильевича тяжелее, но шире. Однако идут они попрежнему в ногу. Алексеев заложил руки за спину, крепко сцепил пальцы, опустил лобастую голову с нахлобученной фуражкой. Бруслов спял фуражку, ему приятно в эту минуту идти не по форме, с обнаженной головой, овеваемой влажным теплым ветерком. Фуражку он держит впереди себя в правой руке, большим пальцем ухватившись за борт шинели. От этого кажется, что он держит повод, сидя на невидимом копыке-горбушке, ипходью несущем его.

Бруслов старше Алексеева на четыре года. Они почти ровесники. Военная история родины за пятьдесят лет их сознательной жизни прошла на их глазах. Они могли бы поделиться общими воспоминаниями и почитаться опытом. Им есть о чем с толком и с пользой для дела поспорить. Но они молчат. Они сейчас далеки от всего этого.

И разговор начинается нежданно, без подготовки, почти так же, как пришла мысль о прогулке и совсем не с того, с чего хотелось бы Алексееву его начать. Просто прозвучало то, что безмолвно до этого опередило мысль.

— Армия наша — наша фотография, — заговорил очень тихо Михаил Васильевич, будто бы продолжал давно начатый спор, но без надежды когда-нибудь его окончить. — С такой армией, как сейчас, можно только погибать... И вся задача командования — свести эту гибель к возможно меньшему позору...

Он тяжело перевел дыхание, понял, оче-

видно, что заговорил вслух и почувствовал облегчение.

Брусиллов, как чуткий конь, повел худой шеей насторожился.

— Россия кончит крахом... Оглянется, встанет как медведь на задние лапы и пойдет ломить... Вот тогда-то мы ее узнаем!

Голос Алексея окреп, стал жестким.

— Пойдем тогда, какого зверя держали в клетке. Все полетит. Все будет разрушено! Все самое дорогое и ценное для нас признается вздором и тряпками...

Он сдернул со лба фуражку, вытер ладонью влажный лоб, снова нагнул козырек к самому носу.

Все сказано. Все сказано этому человеку, который так же хорошо видит, как и он, но почему-то убийственно спокоен. Пусть судит или дает ответ.

В уплотнившихся сумерках они не могут разглядеть друг друга. Они ведут беседу с воображаемым собеседником. Может быть, так легче.

Ответ Брусиллова, несколько замедлился. Ответ звучит из сумерек неправдоподобно твердо и буднично:

— Верно, Михаил Васильевич. Выпустят медведя из клетки — он встанет и пойдет ломить. И тогда-то он покажет себя во весь свой рост. И прежде всего — своим врагам: и тем, кто забрался в его логово, и тем, кто держал его в клетке.

Брусиллов опустил руку с фуражкой и, помахивая ею, прошел несколько шагов молча. В молчании его не было затруднения дышать, дышал он все так же ровно, спокойно. Видно, он и с мыслями не сбивался, а просто утверждал в себе сказанное, ничуть не сокрывшее, но хорошо знакомое.

— Безнаказанно в клетке держать парод пельзя. Его можно научить вздору... как баба за водой ходила... Но не научишь побеждать... А ему только укажи благую для него цель в победе и кратчайшее к ней расстояние и уж он дойдет сам, дойдет, Михаил Васильевич! И победит.

Тут голос Брусиллова прозвучал весело. Точно он перекликнулся с веселыми голосами плотовщиков, со все ярче разгорающимися на плотках кострами, с пронзительными гудками несущегося к Могилеву поезда...

— И на этот раз победит, когда благая цель будет ему указана.

— Кем? Кем, Алексей Алексеевич? — вырвалось с горечью у начштаба.

— Не знаю. Кто-то есть, кто укажет...

Если бы я знал... Да нет! Я знаю только за себя — что я должен народу... А другого мне не дано.

— Страшные вещи вы говорите, — нахолодясь, уходя все глубже в свою раковину, промолвил Алексеев.

— Да, страшные, — подкинул Брусиллов: — К этому надо быть готовым.

— А как же нам? — совсем уже беспомощно спросил начштаба.

Ему, именно сейчас, следовало бы припомнить все, что говорилось тогда, с Копыловым, выложить все доказательства необходимости сплотиться перед опасностью, предупредить ее решительным государственным поворотом... Именно эти-то мысли и толкали его к разговору с Брусилловым; сейчас только он это понял, по слова не шли с языка, и где-то в глубине сознания становилось все очевидней: — Брусиллов не станет с ним рядом, даже возмутится, если поймет, чего от него хотят. И Алексеев еще тише переспросил:

— А как же нам?

— Служить народу, Михаил Васильевич, пока в силах, — несколько даже удивленно сказал Брусиллов. — Что же иное? В любом качестве. В любом качестве! — повторил он твердо, как бы проверив себя.

И вдруг, чутьем догадавшись, чего от него ждет начштаба, какого ответа ищет и с какой целью, Брусиллов добавил горячо и даже коснулся свободной рукой локтя своего спутника:

— Но боже вас унаси, Михаил Васильевич, боже унаси, потеряв цель, утратив веру, все же мнить себя повольгем!

— Я никогда не искал власти, вы это знаете, — наливаясь обидою не на Брусиллова, а на себя, и потому особенно страдая от этого, ответил Алексеев.

— Дело не в нашем властолюбии, Михаил Васильевич, — огорчаясь тем, что его не так поняли, возразил Алексей Алексеевич. — Дело в том, что нашу власть, вольно или невольно, мы уже однажды употребили во зло...

— Как? Когда? Что вы такое говорите? — уже все свое возмущение перенеся на Брусиллова, закричал хрипло Алексеев. — Все свои силы, все свои знания, все... все...

У него не достало воздуха, он взмахнул руками, остановился.

— Да, все, — тоже остановившись, сказал Брусиллов и надел фуражку. Только сейчас он почувствовал, что голове холодно, что в беседе своей они зашли слишком далеко и надобно ее кончать. — Все мы отдали во

спасение того, чему уже не верили, Михаил Васильевич. Так оно выходит.

Алексеев замер. Как в темноте, не видя даже его лица, глаз, этот человек мог простить самое его затаенное?

— Но мы солдаты! Солдаты! — крикнул Алексеев и даже пристукнул себя костяшками согнутых пальцев в грудь. — Мы при- сягали!

— Так точно, солдаты. И как солдаты должны победить, или умереть. Как генералы должны вести армию к победе над врагом, попирающим нашу землю. Устранять все, что мешает победе. Изобличать тех, кто подрывает дело победы. Кто бы он ни был и сколько бы их ни было. Жестоко, не обинуясь, изобличать и карать! А мы на том миримся, что наконец-то нам удалось отдать под суд Сухомлинова!

Алексеев снова угас, склонил голову.

— Да, вы правы...

— Вот потому-то вы и не ждете победы. Клеветаете на армию. Зря отдаете свои силы делу, во благо которого не верите.

— Но что же делать?

— Не знаю. Вам виднее.

Брусиллов круто повернулся, пошел назад быстро, деловой походкой.

Алексеев последовал за ним, сбившись с ноги, но тотчас же по привычке поправился и уравнил плечо.

— Вам виднее, — повторил Брусиллов. — Лично для себя я выбрал: всеми имеющимися у меня средствами поведу свои армии к победе. Мой фронт будет наступать или я не главнокомандующий.

Они дошли до выхода из сада. Синяя, звездная, насыщенная запахами и шорохами тьма окружала их. У фонаря перед будкой видна была неподвижная фигура часового. Откуда-то из темноты долетели чьи-то возгласы, стучали по мостовой чьи-то шаги, задребезжала пролетка, женский смех в отдаленье внезапно вспыхнул и погас.

— Вы мне простите, Михаил Васильевич, — сказал Брусиллов и приложил руку к фуражке. — Мне пора, сейчас — мой поезд. Должен прервать нашу беседу...

— Да, да, — заторопился Алексеев и, отдав честь, протянул руку. Он точно обрадовался выходу из тупика, в какой завела его эта беседа. — Счастливого пути. И всем вашим начинаниям давай бог... Все, что зависит от меня... вы знаете... Вот вам моя рука.

Сажаясь в машину, в которой его уже

ждали Клембовский и Саенко, Брусиллов услышал из темноты еще раз повторенное:

— Давай бог!

VIII

Паровоз протяжно и предупреждающе загудел, колеса вагонов ударились обо что-то звонкое и торопливо со все нарастающим звоном понеслись по мосту. Брусиллов проснулся и сразу же увидел все вокруг себя со всею ясностью человека, хорошо отдохнувшего, полного сил и бодрости. Он поднялся с вагонного дивана, на котором была приготовлена ему постель, оглядел клеенчатые стенки, дверь под красное дерево с вращающимся в нее зеркалом и окна, задернутые шелковой зеленой занавеской, сквозь которую проникал свет.

Алексей Алексеевич поднялся и, как был в белье, дернул занавеску. Она услужливо шурша взвилась вверх, солнечные лучи ударили в глаза. Жмурясь, чувствуя на своем лице тепло уже нагретого солнцем стекла, Брусиллов опустил его и высунулся наружу. Прохлада весеннего утра обняла его, заиграла в волосах, ударила в широко раздувшиеся поздри запахаму реки, паровозного дыма, наполнила уши звоном колес, глаза — рассеянным мелькающим золотым светом и теньями несущихся мимо железных шпалетней мостового перекрытия. Глотнув весны, сколько могла ее вобрать в себя грудь, Алексей Алексеевич сел на диван и стал проворно одеваться.

«Нет, вздор, не боюсь! — нежданно, едва ли не вслух, подумал он. — Найдется и мне у парода место и дело. Я без дела жить не могу»...

Он вспомнил вчерашний вечер, разговор с Алексеевым и поморщился. «Надо же было ему...»

Тогда, после беседы с Алексеевым, уже сидя в вагоне вместе с Клембовским, Алексей Алексеевич долго не мог успокоиться. Именно тогда-то только и началось беспокойство и как бы осознание того, что было сказано. Заняло это немного времени, всего несколько минут, пока стелили постели и приготавливали чай и между короткими фразами, которыми он перебрасывался с Клембовским. Но задело душу остро, сильно всколыхнуло сердце. «Что же это? Комплот? Но что общего между Алексеевым и Иваловым? А однако, ведь та же паника... То же неверие пастушное... И эти мерзавцы... если Орлов не приврал в своем рвенье — их же сотни, этих шпионов! И нити от них из

немецких штабов прямо сюда, в ставку и выше... Царь и Алексеев бессильны. Или он, — Михаил Васильевич, — искал силы во мне? А что же я? Я сделаю все. Мой фронт выполнит долг. Противник перед моим фронтом будет разгромлен. Так. Ну, а дальше? А у соседей? Как с ними? Как их перебороть? А других? Там, выше? Об этом хотел сказать Алексеев? Он мне что-то хотел предложить... У него там что-то затеяно... так говорят... Вздор! Кто? С кем? Какая преступная глупость! Только народ, армия, когда мера долготерпенья иссякнет, народ погонит всех, кого надо... И, может быть, нас... Ну что же? Другое надо сейчас решать. Нужно ли мне готовить победу на фронте? Нужно ли жертвовать кровью тысяч, если мою победу уже кто-то из призраков зачеркнул. Нужна ли тогда моя победа? Нужна! Армия должна знать, что она может! Она должна испытать свою силу. Ей нужно показать, чего она стоит! Какого величия и уважения она достойна. Это всегда нужно для себя знать, чтобы достигнуть и в большем. Народ на победу я поднять могу. И сделаю».

Так бежали в тот вечер мысли и, добрав до последнего — сделаю, решительно и круто оборвались. Задача поставлена, проверена, и есть силы выполнить. Теперь, перед великой работой, нужно сберечь силы, не сломиться из-за какой-либо безделицы. Гулять без фуражки, пожалуй, было зря. Примем меры.

И, попросив коньяку, Алексей Алексеевич выпил по рюмке с Клембовским, потом крепкого чаю и в постель. Спал он, не пробуждаясь, до утра. И вот — солнце, весеннее солнце и, кажется, недалеко уже и до Бердичева.

Он снова уже одетый, высунулся в окно.

Миновав мост, поезд, чуть замедляя ход, шел по излучине вдоль реки, луговым низким берегом. Приречный край дуга был затоплен разливом, другой, приподнятый к железнодорожной насыпи, ярко зеленел молодой травой и взблескивал широкими разводами и лужками. Какие-то ребятки, задрав штанишки, хлопали по лужкам что-то вычерпывая из них в рогожки и решета.

Завидев поезд, они закричали ему в логонку и помахали руками. Брусилов, смеясь и очень радуясь привету, тоже помахал им рукою. На какое-то мгновение насыпь скрыла от него дуг, замелькали встрепающие, еще не распрямившие мохпатых своих ветвей, елочки. Вагон нагнал идущих шестопятиной походкой женщин.

Женщины шли гуськом, вдавливая влажный и кое-где еще серебряный от росы лесок тропки у края шпал новыми козловыми сапожками; дмотканые черные в желтую клетку плахты размеренно колебались, платки плотно укрывали плечи и грудь. Брусилов вскоре увидел над снова открывшимся перед ним лугом, на взгорье, белую церквушку; золотой крест, над зеленым куполом ушлывал назад, в безоблачную прозрачную, голубоватую и солнечного света даль...

IX

В Бердичеве, на новом месте, в помещении штаба фронта и в личном своем кабинете с огромным каминем, около которого так давно грелся Иванов, Алексей Алексеевич чувствовал себя, на первых порах, непривычно. Все было здесь как-то не по нем. И особенно — тот строй штабной жизни, какой был заведен Николаем Иудовичем. Чины штаба, за исключением Клембовского, очень энергичного генерала, и Дидерихса, генерал-квартирмейстера, суховатого и исполнительного, а главное, очень сведущего в своем деле человека, показались Брусилову зараженными неприятнейшим духом высокомерия с подчиненными и какой-то приторной слезливости в обращении с командующим. Особенно раздражал старший адъютант, уже в чине подполковника, полномочный, по дряблый, всегда бегущий на цыпочках, меленькой женской походкой, человек с постным лицом, услужливыми ужимочками и картавым пришепетыванием. Во всех комнатах, а их было много в помещении штаба, он прежде всего отыскивал в углу икону и истово на нее крестился.

Подойдя к письменному столу и увидя на груди уже ожидающих его бумаг и писем конверт со знакомым почерком брата Бориса. Брусилов вскрыл письмо и, не садясь, в тайной надежде, что адъютант догадается, оставить его одного, стал читать. Письмо показалось странным. Брата он любил, всегда охотно поддерживал его денежно и советами, между ними установились дружеские, сердечные отношения с давних лет, а тут ни с того, ни с сего Борис пишет в обиженном тоне, сетует на какую-то холодность. «Ты, казалось бы, мог ответить сердечнее на наши горячие поздравления с назначением тебя главнокомандующим, — петухомая, читал Алексей Алексеевич, спиной чувствуя присутствие адъютанта и оттого все больше волнуясь, — а ты ограничился

официальной отпиской: «Сердечно признателен за поздравления и пожелания. Брусиллов». Я прямо руками развел. Все «глебовцы» чрезвычайно огорчены этим».

Письмо было длинное, очевидно, все в том же роде, но Брусиллов не стал его дочитывать. Он уже догадался, в чем дело, и с досадою оглянулся. Подполковник, поймав его движение, услужливо пододвинул ему стул. Тут главнокомандующий не выдержал.

— Сам! Сам умею! — крикнул он гневно и презрительно. — Еще руки действуют, молодой человек! Не трудитесь! И прощайте, оставьте меня в покое!

Подполковник на цыпочках выбежал вон. Брусиллов сел в кресло, гневно пододвинул его к столу и тотчас же, кляня себя за свою вспышку, но ничуть не жалея адъютанта, тут же стал писать ответ брату.

В недоразумении повинен был вовсе не подполковник, а Саенко. Среди вороха поздравительных телеграмм, полученных еще в Ровно, находилась и братнина телеграмма. Подписана она была — «Глебово». Только сейчас, прочтя письмо, Алексей Алексеевич понял, что брат, очевидно, хотел этой подписью выразить поздравление от всех живущих в «Глебово» — подмосковном его имении.

— Чудак! Надо же было так подписываться.

Тогда за спешкой, за делами Алексей Алексеевич не имел времени читать всех телеграмм, он только подписал «ответить» и передал весь ворох приветствий Саенко. Тот и махнул стандартный ответ, адресовав его в город Воскресенск, Глебовым!

— «А все-таки дошла телеграмма!» — уже посмеиваясь, подумал Алексей Алексеевич и, закончив письмо, совсем успокоился и вызвал к себе адъютанта. Он не сбился исправлять свою невольную грубость. Но, привыкнув тщательно проверять свое первое впечатление, хотя редко это впечатление его обманывало, и не терпя ни в чем предубеждения, Брусиллов, не откладывая, решил проверить пригодность подполковника к службе.

«Все должно быть сразу на своем месте, чтобы потом, в серьезную минуту, не путалось под ногами и не мешало», — подумал он, глядя на вновь появившегося старшего адъютанта.

На лице подполковника незаметно было ни тени улыбки. Он улыбался готовно, стоял навытяжку, но как-то по-бабьи распушенно.

— Вот, — сказал Брусиллов и указал на отложенную им в сторону бумагу, — прочтите и дайте свое заключение.

В бумаге шла речь о вспашке и засеве под яровые огромной площади прифронтовой полосы. Вопрос этот мог быть решен только в соответствии с видами командования, с предполагаемыми военными операциями, а также и с паличием трудовых резервов и рабочих рук. Местное население не могло справиться с задачей. В большинстве прифронтовая полоса была обезлюдена, крупным земельным поместьям грозила опасность остаться не обработанными. Помещики забили тревогу. Интендантское ведомство беспокоилось о фураже. Доставка фуража для конского состава из дальних местностей загрузила бы и так пришедший в негодность и перегруженный транспорт. Земский союз в свой черед настаивал на необходимости произвести зерновую заготовку на местах, в противном случае не ручался за своевременное и достаточное снабжение войск хлебом. Запасов хватит только лишь до начала июня. Иными словами, в самый разгар боев солдат останется без хлеба! Вопрос был сложный. Решить его, пребывая в штабе, не выехав на места, не поговорив с местными крестьянами, с уездными властями, помещиками, губернскими деятелями, нельзя было и помыслить. Каждому мало-мальски грамотному человеку это было ясно. Брусиллов ждал именно такого ответа. Подполковник читал, перечитывал бумагу, мялся, наконец, заговорил с улыбочкой:

— Я смею полагать, ваше высокопревосходительство, что следовало бы списаться... и в категорической форме... предложить... с учетом потребности...

Он еще что-то мямлил, заглядывая в бумагу, но Брусиллов его уже больше не слушал. Он занялся другими делами и письмами. Он казался холодно спокоен. Подполковник, наконец, замолк.

— Все? — спросил главнокомандующий.

— Собственно, по такому сложному вопросу, ваше высокопревосходительство, надо бы составить более подробное... сказанного мною слишком мало для того...

— Много! Напротив того, слишком много! — оборвал его, на этот раз не повышая голоса, Брусиллов. — Много слов сказано! Надо бы покороче: «Ничего не понимаю, ваше высокопревосходительство, и понимать не хочу», — так вот честнее!

Он помолчал и внезапно, пропозительно глядя в замгавшие глаза подполковника, отчеканил:

— Если вы полагаете, молодой человек (и тут же подумал: «Какой он к черту молодой?»), если вы полагаете преуспеть на

адъютантской работе без должных знаний и воли к труду, то вы легко можете оказаться на положении вестового. Для того, чтобы доложить мне, что машина готова, или очинить карандаш, или подставить мне стул — у меня имеется прекраснейший вахмистр Ыгкий! Ему не требовалось копчать военное училище для этого. Вы свободны! Распорядитесь, чтобы вам приготовили документы, и отправляйтесь в полк.

И, обернувшись на шаги входившего Клембовского, добавил без паузы и несколько не заботясь о том, здесь ли еще подполковник:

— Вот типичный образец адъютанта для гостиницы и уборной. Гостиницей у меня нет, а в уборной я еще кой-как обхожусь сам. Подполковник мною освобожден от обязанностей. Пока обойдусь без старшего, справится Саенко. А вот кого мне нехватает!..

Он выхватил из вороха бумаг сложенную вдвое объемистую пачку писчей бумаги в надорванном конверте.

— Это письмо от капитана Смолича. Он состоял при мне некоторое время, вернулся в свой Преображенский полк, ранен под Черновицами, теперь лежит в Петрограде. Примечательно прислал письмо. Нате, прочтите и копию пошлите Михаилу Васильевичу, ему надо знать. А Игоря обязательно выпущу. Обязательно. Именно такой адъютант мне нужен. Мы с ним знаем: начальник — мысль, адъютант — действие. Начальник — голова, адъютант — руки. Пусть себе думают здесь, что я своих тяну. Ничего. У меня все толковые работники — свои. И, улынувшись нежданно просветлевшими и залучившимися глазами, добавил:

— Вот вы, Владислав Наполеонович, тоже свой, а работаем мы с вами всего второй день...

Второе письмо, адресованное тоже в собственные руки и чрезвычайно секретное, с которым хотел Брусилов ознакомить Клембовского, была докладная записка прапорщика Орлова, находящегося в Ставке, в разведывательном отделе.

Орлов писал Брусилову, что в дополнение к тем материалам, какие он имел честь представить на усмотрение его высокопревосходительства в марте месяце, в связи с приближением капитана Рутковского и поимкой австрийского шпиона Рагинского, у него в настоящее время имеются дополнительные данные, освещающие деятельность вражеской контрразведки и поставленные на очередь оперативные задачи военного немецкого командования.

«Я считаю не излишним ознакомить вас, ваше превосходительство, с этими данными, — писал Орлов, — особенно в связи с тем, что нынче вы, на счастье России, приняли на себя командование Юго-Западным фронтом и озабочены его укреплением.

В силу этих соображений, я обращаюсь именно к вам, ваше высокопревосходительство, и именно перед началом летней кампании, основы которой решались на совещаниях. Кстати сказать, о решениях совещания говорят повсюду и весьма открыто, а наш отдел, или хотя бы начальник его официально о них не поставлен в известность и тем лишен возможности внести своевременно свой корректив, исходя из имеющихся у него данных, или хотя бы принять соответствующие предохранительные в известном направлении контрмеры.

Мало того, на днях получена на имя начальника штаба верховного записка от департамента полиции министерства внутренних дел. В записке этой излагается ряд соображений по вопросу о постановке контрразведывательного дела у нас в России.

Не буду затруднять Вас изложением этих соображений, с ними Вы имеете возможность ознакомиться, при желании, по подлиннику. Скажу только, что основная мысль записки заключается в том, чтобы подчинить все военное контрразведывательное дело контролю и руководству департамента полиции. Иными словами, вмешательство политической полиции на деле будет полным и подавляющим, а, следовательно, губительным для военной контрразведки. Мало того — и на это у меня имеются неопровержимые доказательства — рука департамента полиции наложит руку германской агентуры на все дело защиты нашей армии от подрывной работы врага.

Ваше русское сердце, Ваше высокопревосходительство, подскажет Вам лучше моего, какой бедой это чревато и какие экстренные меры надо принять, чтобы в корне пресечь эту новую враждебную попытку связать нас по рукам и ногам. Ваше слово не может не быть услышанным и решающим.

Теперь перехожу к изложению дополнительных материалов следствия по делу Рутковского — Рагинского. Как вы увидите, материалы эти подтверждают основную мою мысль, что командованию нашему необходимо не только знать, но и принимать к сведению итоги наших розысков. Простите великодушно, что повторяюсь и может быть, говорю азбучные истины. Предшествующие Ваш не балоуал нас своим вниманием, мы приучены долбить камень...»

В этом месте письма Брусилов взглянул на Клембовского. Взгляд был пронизывающий и мгновенный, но он успел уловить сумрачную и горькую складку на плотно сомкнутых губах начштаба, глубокую морщину между густых черных бровей, движение скулы под смуглой кожей — гневное и решительное. Темные, с бьющим из глубины блеском, глаза Клембовского ответили взгляду Алексея Алексеевича.

— Я давно присился на фронт, — горлапо вымолвил начштаба, — я не в силах был долбить камень. Но, признаюсь, мне в голову не приходило...

— Мне тоже, — подхватил Брусилов и положил свою руку на руку начштаба, — мне тоже, пока один разговор с Михаилом Васильевичем... Впрочем, сейчас не до того. Непосредственная опасность с этой стороны миновала. Орлов молодец, он напоминает нам о беде еще горше. О призраках, сжимающих кольцо. Это мне пришло еще в ночь после совещания... Что же! Отступать не приходится... Будем выбиваться из кольца, Владислав Наполеонович.

Клембовский резким движением перехватил лежащую на его руке узкую ладонь Брусилова и крепко ее пожал.

Далее в письме Орлова говорилось, что из показаний Рагинского при последующих допросах и при очных ставках его с недавно изловленными шпионами, выяснилось следующее: «Германия приходится в третий раз менять план выполнения такой операции, которая имела бы решительное влияние на исход кампании. Первый план заключался в разгроме Франции австро-германцами. План этот потерпел неудачу, вследствие ошибок кронпринца и ввиду перехода русских в наступление на Юго-Западном, в Галиции.

Принялось спешно возвращать австрийские корпуса с французского фронта. Это было при Николае Николаевиче. Второй план, за успех которого ручался Гинденбург, состоял в том, чтобы в первую голову разгромить русскую армию и вызвать в России дворцовый переворот, вплоть до свержения Николая. План этот не удалось пока осуществить, по мысли не оставлена... Содействовали этому плану не только лица, объединившиеся в тылу, но и русское командование. Жертвою этого плана пал Радко-Дмитриев в мае прошлого года, подвергнутый разгрому попустительством или невежеством Южфронта... К счастью, разгром 3-й армии был парализован действиями соседней

8-й армии и стратегически не привел к ожидаемым результатам. Не приспел и дворцовый переворот... Тогда-то в Германии сложилось мнение, что искать решения кампании на русском фронте не приходится. В силу этого в ноябре прошлого года было постановлено, по окончании частной, не предусмотренной ранее, сербской операции, перенести центр тяжести борьбы вновь на французский фронт и искать решительных результатов именно там. Для этой операции намечено взять с русского фронта все, что только возможно, причем допускается постепенный, медленный отход левого крыла действующего севернее Полесья. Главные надежды на успех предстоящей атаки на французском фронте возлагаются на вновь изобретенный снаряд крупного калибра, которым собираются долбить крепостные сооружения Вердена. Специальная фабрика этих снарядов в Берлине и заготовка их идет в течение всей минувшей зимы. Ежели бы, однако, намеченный план почему-либо не удался, то с весны намечается перенести операции на наш Юго-Западный фронт, который, по сведениям, имеющимся в немецком главном штабе, русским командованием будет оставлен на оборонительных рубежах и наступательных действий не предпримет.

С целью более точного освещения этих данных и был направлен в расположение наших войск агент Рагинский. Он должен был подготовить новую агентурную сеть и, если возможно, получить материал о решениях, принятых на совещании главнокомандующих, тогда еще только предполагаемых. Рагинский объяснил, что главным поводом к открытию наступательных действий австро-немецких войск на нашем Юго-Западном фронте служит то обстоятельство, что в Германии и Австрии иссякают источники пополнения и приходится наносить удары по наименее защищенным местам.

Вместе с тем признается, что левое крыло германцев севернее Полесья занимает выгодное положение и противник, то есть русская армия, на этом участке надежно парализована». (В этом месте письма Орлов поставил два восклицательных знака и подчеркнул их. Брусилов тоже, читая, подчеркнул последние слова и значительно переглянулся с Клембовским.) «Южнее Полесья, — писал далее Орлов, — немецкое командование считает необходимым выдвинуться вперед, дабы захватить богатые по производительности земли и окончательно ликвидировать Румынию.

После этого Германия предполагает будто бы остановиться на всех фронтах, создать

непреодолимые по технике искусственные преграды, вооружив их, главным образом, колоссальной артиллерией и громадным количеством пулеметов, которые восполняют недостаток пехоты.

По словам Рагинского и его сообщников, в Германии считают, что в продовольственном отношении будущий год будет гораздо легче, чем теперешний, так как культивировка заволашеванных земель даст достаточное количество продуктов для прокормления центральных держав. Поэтому всего важнее, не отвлекая главных сил от Вердена, произвести молниеносный удар по наиболее слабому месту противника, каким безусловно является по численности войска и вооружения линия фронта от Пинска до Черповиц и далее в пределах Румынии. Куда же будет направлен на этой линии главный удар, мне дознаться пока не удалось. Очевидно, и сам Рагинский этого не знает...».

Брусиллов оборвал чтение. Остались непрочитанными несколько незначительных строк. Точка. Подпись.

Брусиллов поднял глаза. Клембовский, более молодой и горячий, с грохотом отодвинул свой стул и вскочил на ноги.

— Мы добивались с вами, Владислав Наполеонович, — успокаивающе и как бы читая мысли своего помощника, пропизнес Брусиллов, — нехитрого солдатского права бить и гнать врага с нашей земли. И добились этого. А не знали, что бог судил нам большее. Теперь знаем. Но разве от этого наша с вами задача стала иной? Как решили, так и сделаем. Пойдем в наступление. Молниеносный немецкий удар сорвем. Продуктов с нашей земли не дадим. От Вердена главные силы отвлечем и раздавим. Раздавим! — повторил Брусиллов отчетливо и убежденно. — Бить будем не одним кулаком, а двумя... и ногами тоже... и во все места! Почувствует!

X

— Сломать оборону противника, перейти в наступление. Вот задача, возложенная на наш фронт решением верховного командования. Начало операций в первых числах мая. Наши соседи выступают в то же время. Мы должны решить, какими средствами всего лучше провести операцию.

Острым взглядом он оглядел присутствующих. Щербачев, воспользовавшись паузой начал было говорить о том, что он всегда склонен действовать наступательно, но в настоящее время считает наступательные действия рискованными.

Главнокомандующий оборвал его резко и повелительно:

— Вы собрались здесь, чтобы выслушать мой приказ о подготовке к атаке противника. Атака решена бесповоротно. Примите это как исполнение воинского долга. Обсуждению вопрос не подлежит. Ваша задача — подумать над тем, какая роль выпадет на долю ваших армий, и строго согласовать их действия. Никаких колебаний и оговоров ни от кого и ни в каком случае я принимать не буду.

Он снова замолк на короткое мгновение и снова оглядел сидящих перед ним генералов. Никто из них не прерывал молчания. Он хорошо видел их лица и читал их мысли. Их оскорбил тон его речи и в то же время заставил подтянуться и поверить в силу его воли. Оскорбленные в своей генеральской спеси, они обрели воинское достоинство. Они почувствовали, что они солдаты, вспомнили о дисциплине, и взгляд их стал осмысленней и тверже. Этого и ждал от них Брусиллов и удовлетворенно себе это отметил. Теперь можно говорить по-деловому. Его поймут. У них найдется сила выполнить приказ, как бы он ни казался им труден.

Вот сидит самый старший из них — генерал от кавалерии Сахаров. Он склонил свою круглую, коротко стриженную голову с упрямым затылком. Одутловатые щеки его, короткая, клинышком борода, крутой подбородок, узкие глаза — неподвижны, точно вырублены из дуба, и этот если понял, что надо ударить, ударит больно, насмерть.

Вот Щербачев, генерал-адъютант, пожалуй, самый умный из них, самолюбивый, взнузданный, худой, высокий, с усами, уверенно глядящими вверх, с аккуратным пробором на левую сторону — ученый сухарь и Дон-Кихот, двуликий, баловень счастья и неудачник. Но честный воин, его не купишь.

Рядом с ним водружен, иначе сказать нельзя, генерал Крымов — огромный добрый молодец, каким пишут героев на лубочных картинках. Себе на уме, недалекий, подозрительный, он всегда думает, что его хотят обидеть, и всех обижает первый. Он командир корпуса и только временно замещает все еще больного Лечицкого, чудесного седого запорожского дика, настоящего боевого генерала и ясного человека, отсутствие Лечицкого всего досадней Брусиллову. Крымов заранее обижен, догадываясь об этом и чувствуя себя ущемленным своим «заместительством». Он делает отсутствующие глаза. Резкий тон главнокомандующего он принимает всецело на свой счет и именно поэтому, по врожденному чувству субординации, запомнит сказанное накрепко.

В сторонке, рядом с Клембовским, сидят

Каледин. Он открывает рот, набирает в грудь воздух, порывается что-то сказать и снова сгибает плечи, сутулится, упрямо глядит в угол стола и тогда его лицо становится злым и отчаянным. С этим придется поворозиться. Не следовало, уступая настояниям Алексеева и царя, давать ему свою родную 8-ю армию. Но все в порядке. Генералы почувяли на себе крепкую руку и поверили в нее.

Главнокомандующий излагает им свой взгляд на порядок атаки противника. Они слушают, дивясь, внутренне протестуя косяным своим армейским нутром и в то же время, все более поддаваясь силе убеждения и обаяния разумной воли. Клембовский удовлетворенно вздыхает. Перелом наступил. Власти этого небольшого роста, худого, менее всех осанистого человека с тихим голосом и добрыми глазами — поверили, силу его почувствовали, воинский его дух и полководческий талант полюбят, как успел полюбить и почувять их сам Владислав Наполеонович Клембовский, мнительный человек, глубоко узавленный в лучших своих чувствах командованием Иванова...

— Я приказываю, — говорит Брусилов ровным голосом, принимая па себя все взгляды и отвечая им: «так будет», — всем армиям вверенного мне фронта подготовить по одному ударному участку. Помимо того, наметить лично командующим те корпуса, какие должны будут в свою очередь выбирать свои ударные участки. На всех этих местах немедленно приступить к земляным работам для сближения с противником. Что это нам даст? Прежде всего враг будет обманут: он увидит на протяжении всего нашего фронта земляные работы в двадцати-тридцати местах. Никакая разведка, никакие перебежчики не сумеют ему сказать ничего иного, как то, что на данном участке готовится атака. Но который из них главный? И какому из них стягивать все свои силы? С какой стороны ждать удара? Этой уверенности мы его лишим. Ни один шпион, работающий среди нас, не скажет, куда мы ударим. Потому что это будут знать только я и мой начальник штаба. Вы, господа, об этом узнаете тогда, когда получите приказ к наступлению. Кто из вас первый начнет? Увидим. Вы все должны быть одинаково сильны и готовы к бою. Главное направление решится обстановкой.

Генералы садятся плотнее на своих стульях. Сахаров значительно откашливается и подравнивает разбехавшиеся ноги, Щербачев

трогает усы — так ли глядят они острыми концами вверх? Каледин обеими руками хватает край стола, взгляд его заворочен. Он догадывается, он убежден — честь нанести главный удар падет на его армию.

Официальная часть совещания закончена. Главнокомандующий оставил свое место, к нему подошли командующие, они задают вопросы, Сахаров басит: «Хоть мудровато, но здорово!», Щербачев лекторским тоном глаголет:

— Каждый образ действий, конечно, имеет свою обратную сторону, но... если план выгоден для данного случая... падобно браться...

— И не подражать немцам! — кричит Крымов.

Каледин отстраняет Крымова, он почти кричит Брусилову, что сомневается в успехе дела, что он... что оп...

— Все ваши доводы мне известны, — с улыбкой («Как может он улыбаться?» — думает Каледин, бледнея) останавливает его Алексей Алексеевич, — но еще лучше известно мне, на что способна 8-я армия. Не будем спорить, спор отнимет у нас слишком много времени, а уже давно пора садиться за стол.

Он, улыбаясь, переводит взгляд на генералов. Он знает их, этих пожилых людей военной косточки, здоровых, с прекрасным аппетитом. Они устали, они хотят есть. Они любят есть. Они все еще кадеты, несмотря на седину.

— Бросьте споры! Все ясно! Сдавайтесь! — кричат они Каледину, — идите с нами в наступление и не морите нас голодом.

— Слагаю оружие! — кричит, как отец Каледин, потому что все кричат и никто никого не слышит.

Они сели за стол, смеясь, они заложили край салфеток за верхнюю пуговицу. Они все разные, но все в былом, кадеты, юнкера, заговорили об еде, о том, как цели «Звериаду», как и кого «цукали» и кому из преподавателей устраивали «бенефис»...

Потом они перешли к анекдотам — бороатым и старым, как они сами. И опять пили и снова ели. Пили обильно за главнокомандующего, за армию русскую, пили в честь взятия Трапезонда, — известие о победе па Кавказском фронте получено было только что. Пили за будущие успехи и за «милы женщины», которых, «увы, теперь что-то стало куда меньше, чем встарь». Брусилов глядел на них и посмеивался. Он добился своего.

(Продолжение следует.)

На кирпичном заводе

Опять здесь жар огней сушильных,—
Полдневный зной среди печей;
Несостывающих, всевидных,
Рожденных запово печей.

За рядом ряд, потоком, длинным,
Стоят над ними стелажки;
С той желтой и красной глиной,
Что покрывала блиндажи.

Здесь до печей прошла закалку
Стенная глина в час крутой;

И на холмах, и в каждой балке,
Где был недавно смертный бой!

И если стены школы сложат
Из этих новых кирпичей,—
Она еще светлей, моложе
Блеснет под россыпью лучей.

И если школьник обнаружит
В стене простой кусок свинца,—
Поймет мальчишка — школе служат
Земля, огонь и кровь бойца.

Полынок

Каблуками, сапогами,
Иноземными гвоздями,
Пригибали полынок,
Чтоб подняться он не мог,
Серебристый полынок.

Он горел — не догораю,
Умирал — не умираю,
У курганов, у дорог,
Где остался — там и лег,
Серебристый полынок.

Под метелью, под снегами,
Под искрошенными льдами,
Обгоревший он лежал,
Тонкий, острый, как кипжал,
Серебристый голынок.

А весна пришла — над степью
Отрянул он серый пепел,
Окунулся в ручеек,
И поднялся, невысок,
Серебристый полынок.

* * *

Как в первый день войны над степью зной,
Струится воздух над холмом горбатым
Под непрозрачную голубизной
Растет овес молочно сизоватый.

В степи казак стоит среди овса,
Рукой ружья двуствольного касаясь,—
Его, — в прищуре — желтые глаза
Следят за коршуном не отрываясь.

И вдруг, к прикладу чуть прижав висок,
Двуствольку вскинув хваткою солдата,
Он скрюченными пальцами курок
Мгновенно нажимает как когда-то.

И коршун оставляет высоту,
Еще в свинец и в смерть свою не веря,—

И падает, роняя на лету
Под небом окровавленные перья.

Казак двуствольку опускает вниз
И смотрит, не скрывая сожаленья,
На шрамы, что на коже запеклись,
На пальцы перебитые раненьем.

Еще он видит очень далеко,
Прищур остался молодой, орлиный,
Но жилы перебиты у него,—
И он вернулся в мирные долины.

...Азовский ветер облако панес,
Ложатся тени на овсы густые,—
И капли падают на землю, на овес,
И на виски солдатские, седые.

В. КРУЖКОВ

Основные черты классической русской философии

До распространения и развития марксизма в России самой передовой идеологией была идеология русских революционных демократов 40—60-х годов прошлого столетия, представленная Белинским, Герценом, Чернышевским и Добролюбовым. Они оставили богатейшее наследие в истории революционной литературной критики, публицистики и философии. Их заслуги в этой области имеют огромное научное и политическое значение не только для России, они внесли неоценимый вклад в сокровищницу общемировой культуры.

Лучшие надежды, чувства и мысли русского народа и других народов, населявших царскую крепостническую Россию, были органически связаны с задачами в области политической борьбы и в области прогресса науки, которые выдвигали русские революционеры-демократы, руководимые и вдохновляемые Белинским, Герценом, Чернышевским и Добролюбовым. Их революционные идеи выражали насущные задачи России того времени — уничтожение крепостничества, свержение самодержавия, революционная ломка существовавших общественных отношений, прокладывание широкой свободной дороги для политического, промышленного и культурного развития русского народа, — вот задачи, которыми одушевлены были революционные демократы в своей кипучей деятельности. Царские репрессии и невероятные трудности борьбы не страшили их.

И они совершили великое историческое дело: подготовили почву для широкой политической деятельности русской революционной социал-демократии, для восприятия в России самого передового учения — единственно научного мировоззрения — марксизма и его философской основы — диалектического и исторического материализма.

Великие русские революционные демократы Белинский, Герцен, Чернышевский и Добролюбов были представителями русской классической философии XIX века. В их лице домарксовский философский материализм получил наиболее полное свое выражение как самое глубокое по своему содержанию философское материалистическое учение. Их учение послу-

жило философской теоретической основой для деятельности русской революционной демократии.

Русская философия материализма явилась закономерным этапом как в развитии общественной мысли России XIX столетия, так и в развитии мировой философской мысли, причем конкретная историческая обстановка, какая сложилась в России, определяла это развитие, явившееся теоретическим выражением борьбы русского народа.

В русской философии, как указывал Ленин, сложились материалистические традиции. Начиная от Ломоносова до Плеханова — первого выдающегося пропагандиста и популяризатора марксизма в России XIX века, — пройден славный путь последовательного развития русской материалистической философии.

Ломоносов, Радищев, Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, К. Тимирязев — эти имена свидетельствуют о преемственности в развитии материалистических традиций в русской философии в период предшествовавший появлению в России марксизма. Это в значительной мере объясняет и тот непреложный исторический факт, что именно Россия явилась родиной ленинизма, этого высшего достижения русской культуры. Такая преемственность составляет одну из первых особенностей русской философии.

Следует при этом обратить внимание и на другую особенность. Философский материализм в России органически связан с развитием естествознания. Единство материализма, естественных наук, революционно-демократической деятельности и теории, практики, жизни и науки пронизывает собой все содержание русской философской мысли. Достаточно вспомнить имена Ломоносова, Сеченова, Менделеева, Тимирязева, Павлова, чтобы представить блистательное развитие естественных наук в России. Их популяризаторами были Герцен, Писарев, М. Антонович.

В нашей философской литературе были попытки, — грубо ошибочные и обреченные на неудачу, — умалить, принизить значение русской философии, растворить ее в совокупности различных влияний и воздействий со сто-

роны западноевропейской философской мысли, попытки превратить наших русских материалистов в слепых подражателей и учеников философов Западной Европы: Радищева — в подражателя французских материалистов, Герцена и Белинского — в учеников Гегеля, Чернышевского и Добролюбова — в последователей Фейербаха.

В статье «Памяти Герцена» Ленин указывал, что либералы замалчивали его сильные стороны и возвеличивали слабые. В известной мере этим грешны и некоторые наши советские исследователи. В оценке и понимании философских, исторических и политических взглядов классиков русской философии необходимо исходить из высказываний Ленина о Герцене, Чернышевском и Добролюбова, и тогда мы правильно оценим великое значение наследства русской материалистической философии. Ленинские оценки доказывают, что русская философская мысль не страдала национальной ограниченностью, а сыграла большую положительную роль в развитии общемировой философской мысли.

Заслуживает внимания одно письмо Энгельса о передовых русских деятелях.

«Если некоторые школы (в России — В. К.) и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями, если были и есть различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского. Я говорю не только об активных революционных социалистах, но и об исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой»¹. Известно, что Маркс и Энгельс считали Чернышевского и Добролюбова достойными сынами русской нации.

Конечно, русская философия не представляет собой нечто самодавшее и замкнутое. Ведь философская мысль в каждой стране опиралась не только на свой собственный практический опыт и теоретическое наследство, но и на наследство, сложившееся в других странах. Так, например, французские материалисты XVIII века использовали все то ценное и плодотворное, что дал английский материализм XVII века, в свою очередь немецкая идеалистическая философия имела возможность использовать идейное наследство английской и французской философии.

В истории человечества каждое поколение стоит на плечах предшествующих поколений, и в соответствии с задачами народа данной страны и с учетом сложившейся конкретной исторической обстановки формулирует свои теоретические воззрения. По-разному в разных странах складываются социальная обстановка, формы классовой борьбы, политическое устройство государства, характер народа и т. д. Соответственно этому различный характер приобретают и идейные направления в каждой стране. В Германии, например, философский идеализм, начиная с Лейбница, получил явное преобладание. В политическом отношении немецкая философия конца XVIII века и начала XIX века носила безусловно резко выраженный

консервативный, реакционный характер. Представители этой философии не только не вели идеологическую борьбу против реакции, но говоря уже о политической борьбе, но, наоборот, оправдывали самые отвратительные черты, присущие Пруссии, пустили идейные корни для развития самой оголтелой реакционной идеологии германского империализма.

Передовые русские деятели, в том числе и философы, внимательно следили за философским развитием в Европе и Америке и, конечно, испытывали известное влияние со стороны передовых умственных течений, и сами, в свою очередь, оказывали влияние на идейные направления в других странах. Вспомним, что писал В. И. Ленин:

«В течение около полувека, примерно, с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы. Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине, революционная Россия обладала во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного движения, как ни одна страна в мире»¹.

Но характерно, что русские передовые мыслители, философы-материалисты учились у тех, у кого действительно можно было научиться. Они учились и двигали науку, всемерно обогащали ее, вносили свое новое, оригинальное, самостоятельное и зачастую шли вперед, значительно дальше своих западноевропейских современников.

Так, в сравнении с последними, они выдвигали более радикальные требования в вопросах политического, экономического и культурного развития России, и смелее критиковали порядки, установившиеся в общественной жизни и науке не только в России, но и в Западной Европе. Стоит только сравнить политическую программу действий и практическую деятельность русского материалиста Радищева с современными ему французскими материалистами XVIII века, русских революционных демократов Белинского, Чернышевского и других — с их современниками в немецкой философии. Уже одно это обстоятельство не позволяет превращать русских философов в подражателей, в жертвы «влиятий» и «воздействий» западноевропейской философии.

Русские революционеры-материалисты подходили к наследству западноевропейской культуры не как ученики, не догматически, а творчески. Они критически осваивали это наследство, воспринимая в нем прогрессивные элементы и без колебания отбрасывали все реакционное, все, что тянуло общественную мысль и науку назад. Именно в этом и проявились сила и достоинство русской обще-

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 380.

¹ Ленин. Соч., т. XXV, стр. 175.

ственной мысли. Наиболее прогрессивное и ценное, что содержалось в английской классической политэкономии, во французском материализме XVIII века, в немецкой идеалистической диалектике Гегеля, во французском утопическом социализме и в философском материализме Фейербаха, было воспринято русскими философами, творчески проработано на основе опыта русской жизни в соответствии с ее задачами и собственными традициями. Именно творческое развитие материалистической философии составляет характерную черту русской общественной мысли.

Член редакции «Современника», известный историк русской литературы А. Н. Пыпин, обращая внимание читателей на самостоятельность и творческий характер русской общественной мысли, писал:

«Защитники русской «самобытности», попрекавшие Белинского и его друзей их «западными» теориями, забывали исторические предания нашей образованности.

«...главное было в том, что заимствованная теория не осталась у наших прозелитов неизменной и неподвижной; напротив, они усваивали ее, как живое убеждение, проверяли ее собственной мыслью, приложениями к жизни, отбрасывали выводы, которые казались неверными, и извлекали новые,— теория была самостоятельно переработана, и последние воззрения их далеко не были чуждыми на начало. Понятно, что при сходстве общих понятий у различных членов круга составились разнообразные оттенки мнений, в которых отражалось различие характеров, склада ума и жизненного опыта. Одним словом, занятая теория несколько не сделалась условной доктриной, а напротив, вошла как отвлеченное основание, как метод, приложение и развитие которого были уж делом самостоятельного труда»¹

Также и Чернышевский,— давая характеристику развития русской мысли 40—50-х годов и имея в виду прежде всего Белинского, Герцена, Огарева, Станкевича и других, писал: «Но единство понятий и людей у нас только укрепилось, а не рождено было внешними влияниями. Деятели, стоявшие тогда во главе нашего умственного движения, конечно, ободрились тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили, что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю разрозненность, совершился у нас самостоятельным образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чуждому авторитету...

Этот факт — самостоятельность, которой достигла русская мысль в Белинском и его главных сподвижниках, интересен не потому только, что приятен для нашей народной гор-

дости; он важен в истории наших литературных мнений потому, что им объясняются некоторые отличительные качества трудов Белинского и его союзников — качества, которых прежде не имела наша критика; им отчасти объясняется и быстрое распространение литературных мнений Белинского в нашей публике»¹.

Говоря о Белинском и Герцене, Чернышевский указывал, что их занимали те науки, «которые имеют непосредственное отношение к жизни нации...», и философский материализм приобретал в их сознании и трудах политическое значение. По словам Герцена, «философия, не опертая на частных науках, на эмпирии,— призрак, метафизика идеализм. Эмпирия, довлеющая себе вне философии,— сборник, лексикон, инвентарий...» (Избр. фил. соч., стр. 72). Герцен подчеркивал связь философии не только с наукой, но и с практической деятельностью человека. По мнению Герцена, человек не должен ограничиваться созерцанием окружающего мира, «ему хочется действия, ибо одно действие может вполне удовлетворить человека» (Избр. фил. соч., стр. 48).

Известен тезис Маркса о Фейербахе — «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Не будет преувеличением сказать, что этот упрек Маркса по адресу Фейербаха и его предшественников нельзя отнести к представителям русской классической философии. Ни одного из них нельзя упрекнуть в пассивности, в созерцательности, они пытались, в условиях своего времени, подойти к решению вопроса: как изменить существующее положение вещей, и рассматривали материализм и диалектику в свете их применения к конкретной русской действительности с целью переделки ее, в первую очередь, для уничтожения крепостного права и самодержавия революционным путем. Вся общественно-политическая и литературная деятельность великих русских материалистов была посвящена этому основному вопросу. Герцен с полным правом мог заявить: «Может ли, мало жившие в былом, явиться представителями действительной науки и жизни, слова и дела». Эти слова Герцена — правильная автохарактеристика, приложимая к другим, лучшим деятелям русской материалистической философии.

Дело, жизнь заключались в том, чтобы поднять русский народ на революцию, наука — в том, чтобы, вооружив русскую мысль лучшими достижениями западноевропейской культуры, заставить ее служить тому же делу — освобождению народа.

Белинский, Герцен, Чернышевский и Добролюбов подвергли резкой критике консервативную и реакционную сторону учений немецких философов Канта, Фихта, Шеллинга, Гегеля. Из учения Фейербаха они «положительно отделились только к его материализму и ничего не взяли из области его религиозных взглядов».

Классики русской философии должным образом оценивая значение гегелевской идеалистической диалектики, и к ней относились критически. Для них было ясно, что диалектика Гегеля во многом теряет свою ценность

¹ А. Н. Пыпин. «Исторические очерки». СПб, 1909 г., стр. 431—432.

¹ Н. Г. Чернышевский. Избр. филос. соч., стр. 471.

именно потому, что она — диалектика идеалистическая, потому что она оторвана от реальной жизни. Так, например, по словам Белинского: «В лице Гегеля философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним же она и кончилась, как знание таинственное и чуждое жизни: возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается в жизнь, от докучного шума которой некогда принуждена была удалиться, чтоб наедине и в тиши познать самое себя»¹.

Анализируя политический смысл гегелевской философии, Чернышевский писал, что принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, а выводы — узки и ничтожны. И далее он продолжал: «Гылкие и решительные умы, как Белинский и некоторые другие, не могли долго удовлетворяться теми узкими выводами, которыми ограничивалось приложение этих принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они недостаточность и самых принципов этого мыслителя. Тогда, отказавшись от прежней безусловной веры в его систему, они пошли вперед, не останавливаясь, как остановился Гегель, на половине дороги»².

Чернышевский справедливо указывал, что все немецкие философы от Канта до Гегеля страдают одним и тем же недостатком: их выводы не соответствуют принципам, — если общие идеи глубоки, то выводы мелки и пошловаты. Гегель, по мнению Чернышевского, оказывается едва ли не слабее всех в своих выводах. Еще будучи двадцатилетним юношей, Чернышевский записал в своем дневнике 1849 года:

«Всего теперь прочитал я до 2-го отдела у Гегеля, до Moralität. Особенного ничего не вижу, т. е. что в подробностях везде, мне кажется, он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества, так что даже не решается отвергать смертной казни и проч.; так или выводы его робки, или в самом деле общее начало как-то плохо объясняет нам, что и как должно быть вместо того, что теперь есть, — ведь Фихте пришел же к обоготворению настоящего порядка вещей, — но несколько, однако, мало, замечаю логическую силу; главное то, что его характер, т. е. самого Гегеля, не знает этой философии — удаление от бурных преобразований, от мечтательных дум об усовершенствованиях...»³.

Заслуживают внимания высказывания Чернышевского о том, как Белинский освободился от влияния Гегеля в начальный период своего философского формирования, какую фальшь он заметил в системе Гегеля, как претило ему филистерство в немецкой философии, как все это было отвергнуто Белинским. Приведем эти высказывания:

«Петербург, с обыкновенною своею готовностью услужить новому жителю всеми возможными разочарованиями и толчками, не замедлил доставить Белинскому обильные материалы для

поверки благосклонных к действительности выводов гегелевской системы и внушить ему что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русской жизнью. Пришлось отказаться от уверенности, что гегелевы построения — верные изображения действительной жизни, пришлось критически посмотреть и на действительность, и на гегелеву систему. Результатом этой проверки было для теоретических убеждений — очищение принципов Гегеля от их односторонности, отвержение фальшивого содержания, прилепленного к ним, и вывод новых следствий в духе строгой современной науки; для жизненных стремлений — отвержение прежнего квиетизма, разрушаемого действительностью, сохранение высокого убеждения, что разум и правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя мы далеки еще от этого времени. Белинский убедился, что действительность заключает в себе очень много ложных и вредных элементов, и, посвятив всю свою деятельность вдоворению в жизни владычества ума и правды, начал неутомимую, беспощадную борьбу со всем, что препятствовало достижению этой цели. Для такой живой природы, как Белинский, переход от абстрактной идеальности, доводившей до квиетизма и апатии, к живому понятию о действительности, был естествен и легок.

Система Гегеля на некоторое время увлекла его своим величием, и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и глубиной истин, заключавшихся в ее основных идеях, но никогда не удовлетворяла она его своим положительным содержанием, он всегда рвался вперед, негодуя на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой природы. Таково же было отношение к Гегелю и других сильных людей между друзьями Станкевича»¹.

Итак, фальшивые выводы гегелевской системы были отвергнуты русскими философами, в частности Белинским, и собственными силами пришлось им очистить эту систему от многого, что мешало правильно понимать действительность. Чернышевский справедливо гордится этим и указывает, что в данном случае «русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки»².

Известное ленинское высказывание о том, что диалектика была понята Герценом как «алгебра революции», можно отнести также к Чернышевскому и Добролюбову. Они также видели «рациональное» зерно в гегелевском диалектическом методе, и они рассматривали его как метод, с помощью которого можно объяснить явления действительной жизни, понять их временный преходящий характер, доказать неизбежность гибели всего отжившего, старого и зарождение нового, прогрессивного. Белинский, Герцен, Чернышевский и Добролюбов пользовались диалектическим методом как революционным оружием. Даже Д. И. Писарев, который, в отличие от своих современников,

¹ Белинский. Соч., т. XII, стр. 398.

² Н. Г. Чернышевский. Изб. фил. соч. Из «Очерков гоголевского периода русской литературы», стр. 455.

³ Н. Г. Чернышевский. Собр. соч., т. 1. ГИХЛ, М., 1939, Дневник 28 января 1849 г., стр. 231—232.

¹ Н. Г. Чернышевский. Изб. фил. соч. Из «Очерков гоголевского периода русской литературы», стр. 466—467.

² Там же, стр. 452.

менников Герцена, Чернышевского, Добролюбова, не был диалектиком в своих взглядах на развитие природы, все же не мог не заметить революционной стороны диалектического метода. Напомним следующее высказывание Писарева по этому вопросу: «Мы с удовольствием готовы пользоваться философской диалектикой как оружием борьбы, как средством разрушать предрассудки. Но когда такая диалектика уходит в область слов, когда она, теоря из виду действительность, забывая условия места и времени,— не приводит к «обязательно-практическому жизненному результату», то «заниматься ею скучно» и «бесплезно»¹.

Проникновение в диалектический метод вызывает наших философов над фейербаховским материализмом. Приведем несколько примеров.

Белинский заметил, что диалектика Гегеля не выходит за пределы сферы человеческого мышления, является ограниченной, непоследовательной и приводит к неверным выводам в применении на практике. Белинский обращает внимание русских читателей на первичность материального мира и зависимость от него духовного мира.

Диалектическое развитие совершается не в мыслях, а в самой материи. Источником логики является сама действительность. Вот что писал Белинский:

«Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость, а логика по самому своему этимологическому значению значит мысль и слово. Она должна идти своей дорогой, но только не забывая ни на минуту, что предмет ее исследований — цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического»². Белинский рекомендует освободить науку от идеалистических учений, фантастики и мистики. Белинский писал: «Жизнь только в движении; в покое — смерть», «Нет предела развитию человечества, и никогда человечество не скажет себе: стой довольно, больше идти некуда»³.

Если диалектик-идеалист Гегель останавливал вечный процесс развития жизни, омертвлял его и замыкал в рамки реакционного прусского государства, как завершенное воплощение абсолютного духа, то Белинский рассматривал жизнь, как борьбу, как вечный и непрерывный процесс поступательного развития.

Белинский видел прежде всего неисчерпаемые силы и возможности поступательного развития в жизни своей родины — России. Он глубоко был убежден в блестящих перспективах развития, какие ожидают будущую Россию, Россию, освобожденную от ига самодержавия и крепостного строя.

Герцен подвергал беспощадной критике метафизический, механический материализм. Для него, ясно было, что жизнь природы — это диалектический процесс развития, а не тот упорченный механический характер круговра-

щения материи, как это представляют себе метафизики. «Природу остановить нельзя: она — процесс, она — течение, перелив, движение...». По Герцену, жизнь состоит в непрерывной борьбе противоположностей, в борьбе нарождающегося нового с отмирающим старым. Жизнь — это деятельная борьба, борьба за прогресс. Борьба — это основа жизни, по образному выражению Герцена, это — «белые колесо жизни».

Насколько глубоко понимал Герцен этот процесс, свидетельствуют его высказывания:

«Побежденное и старое не тотчас сходит в могилу; долговечность и упорность отходящего основаны на внутренней хранительной силе всего сущего: ею защищается донельзя все однажды призванное к жизни; всемирная экономия не позволяет ничему сущему сойти в могилу прежде истощения всех сил. Консервативность в историческом мире так же верна жизни, как вечное движение и обновление; в ней громко высказывается мощное одобрение существующего, признание его прав; стремление вперед, напротив, выражает неудовлетворительность существующего, искание формы, более соответствующей новой степени развития разума; оно ничем не довольно, негодует; ему тесно в существующем порядке, а историческое движение тем временем идет диагонально, повинувшись обоим силам, противопоставляя их друг другу и тем самым спасая от односторонности. Воспоминание и надежда, status quo и прогресс — антиномия истории, два ее берега... Хотя надежда всякий раз победит воспоминание, тем не менее борьба их бывает зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно: как жизни не держаться ревниво за достигнутые формы? Она новых еще не знает, она сама — эти формы; сознать себя прошедшим — самоотвержение, почти невозможное живому, это — самоубийство Катона»

Можно было бы привести многие другие высказывания Герцена, свидетельствующие о действительно глубоком понимании великим русским материалистом диалектики в природе и обществе.

Чернышевский также обратил внимание на необходимость понимания диалектики не как отвлеченной схемы или суммы категорий, в прокрустово ложе которых можно уложить живую действительность, а как научного метода или подхода к изучению действительности в ее конкретно исторических жизненных условиях. Требуя добросовестного, неутомимого изыскания истины, познания действительности Чернышевский заявлял, что «каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует»². Такой диалектический подход к изучению явлений жизни Чернышевский формулировал: «Отвлеченной истины нет, истина конкретна». Пояняя этот тезис, Чернышевский писал: «Определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит»³.

¹ Д. И. Писарев. Избр. соч., т. I. «Московские мыслители», стр. 208.

² Белинский. Письма, т. III, стр. 175.

³ Белинский. Избр. фил. соч., стр. 297—298.

¹ Избр. филос. соч., стр. 150—151.

² Чернышевский. Избр. филос. соч., стр. 453.

³ Там же.

Абсолютно правильный, с точки зрения материалистической диалектики, вывод, что «отвлеченной истины нет, истина конкретна», Чернышевский поясняет для популярности, следующими примерами. В первом случае он разбирает вопрос: «Благо или зло дождь?». Во втором случае он анализирует возможность правильного ответа на вопрос: «Пагубна или благотворна война?» Напомним последний пример.

«Пагубна или благотворна война?» Вообще нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества. Таков смысл аксиомы: «Отвлеченной истины нет, истина конкретна», — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей, как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни».¹

Таким образом, совершенно ясно, что Чернышевский был решительным противником метафизики, догматизма, всякого рода абстрактных, отвлеченных вопросов или вечных истин «в последней инстанции». Это умение применять диалектику, присущее не только Чернышевскому, но и другим классикам русской философии, ценили Ленин и Сталин. Товарищ Сталин в статье «Как понимает социал-демократия национальный вопрос» писал:

«Я вспоминаю, — писал товарищ Сталин, — русских метафизиков 50-х годов прошлого столетия, которые назойливо спрашивали тогдашних диалектиков: полезен или вреден дождь для урожая, и требовали от них «решительного» ответа. Диалектикам не трудно было доказать, что такая постановка вопроса совершенно не научна, что в разное время различно следует отвечать на такие вопросы, что во время засухи дождь — полезен, а в дождливое время — бесполезен и даже вреден, что, следовательно, требование «решительного» ответа на такой вопрос является явной глупостью».

По словам Ленина, нужна была гениальность Чернышевского, чтобы тогда, во времена совершения крестьянской реформы, ясно видеть ее буржуазный характер и сделать выводы из ублюдочности, узости этой реформы 1861 года. Это свидетельствует о том, что Чернышевский и его друзья — русские революционеры-материалисты, умели применять диалектический метод к живой, конкретной действительности, в условиях которой они жили, работали и боролся за интересы родины и русского народа. Диалектика имела в их понимании революционный действительный характер.

Друг Чернышевского, Добролюбов, самостоятельно и оригинально сформулировал основ-

ные требования, которые нужно предъявить художнику или ученому при правдивом отражении явлений природы и в общественной жизни, как надо диалектически, а не метафизически подходить к изучению этих явлений.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Добролюбов, сам того не подозревая, сформулировал некоторые важнейшие принципы диалектической логики. Не вдаваясь в детали, приведем некоторые мысли Добролюбова по этому вопросу. Добролюбов указывает, что надо уметь схватить и ясно представить смысл и характер и значение отдельных явлений «в общем ходе жизни», нужно уметь в бесконечном разнообразии явлений отличать важное от неважного, необходимое, главное от случайного, существенное от несущественного. Но при этом нельзя совершенно пренебрегать и случайностями, так как и они входят в общий процесс жизни, и они должны служить объектом рассмотрения; важно лишь, чтобы необходимые и существенные черты не были подчинены случайным.

Добролюбов писал: «В сущности, мыслящая сила и творческая способность обе равно присущи и равно необходимы — и философу и поэту. Величие философствующего ума и величие поэтического гения равно состоят в том, чтобы при взгляде на предмет тотчас уметь отличить его существенные черты от случайных, затем — правильно организовать их в своем сознании и уметь овладеть ими...»¹.

Замечательны требования, которые предъявляет Добролюбов как диалектик к художнику! «Но ведь мы знаем, что художник — не «пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было, в смысле не было. Художник дополняет строгость схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает единое стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по видимому, явлениях, слышит и перерабатывает в общности своего мирозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности»².

Добролюбов указывал на необходимость «знания всех сторон предмета» и изображение исторических событий обязательно «в неразрывном своем единстве». Жизнь значительно сложнее, богаче и разнообразнее всяких логических формул, она соткана из живых противоречий; отразить всю полноту жизни, приблизиться к отражению истины можно лишь при условии, если шаг за шагом охватывать предметы с разных сторон, рассматривать каждый отдельный факт в органической связи со всем ходом жизни, в единстве с другими фактами. Тот же тезис, что и у Чернышевского, пронизывает и работы Добролюбова: «Отвлеченной истины нет, истина конкретна». По словам Добролюбова: «Врывать факт из живой действительности и поставить

¹ Добролюбов. Соч., т. II, ГИХЛ, стр. 47.

² Там же, стр. 373 (подчеркнуто мною. В. К.).

¹ Н. Г. Чернышевский, Избр. филос. соч., стр. 453—454.

его на полочку рядом с пыльными фолиантами, или классифицировать несколько отрывочных случайных фактов, на основании школьных логических делений,— это значит уничтожить жизненность, которая заключается в самом факте, поставленном в связи с окружающей его действительностью»¹.

У идеалиста Гегеля диалектика была обращена к прошлому. Гегель с позиций идеализма объяснял диалектический характер развития исторических явлений в прошлом, он допускал революционную ломку минувших в истории человечества общественных формаций, но ни в коем случае не допускал, что такая же участь постигнет установившуюся форму общественной жизни в его время, т. е. прусскую монархию. Тут Гегель, изменяя своему диалектическому методу, в сущности сказал: дальнейшее развитие невозможно. Абсолютный мировой дух достиг своего апогея. Пора остановиться и преклонить колена перед прусской монархией.

Диалектика русских философов была обращена к настоящему. Иногда они проникали умственным взором в будущее, хотя научно доказать и подтвердить свои выводы не могли. Они подвергали критике не только крепостной строй, но и капитализм. Видя в капитализме благо, прогрессивное движение истории, по сравнению с феодализмом, русские философы-диалектики видели также в капитализме и зло, которое должно быть и будет уничтожено. Исторический процесс в их представлении продолжается дальше, он придет к новой ступени общественной жизни, где будет уничтожена «тирания над трудом».

Если идеализм и диалектика Гегеля были выражением реакционно-буржуазного мировоззрения, то материализм и диалектика классиков русской философии выражали революционно-демократическое мировоззрение, стремление широких демократических масс, пробудившихся к освободительной борьбе против крепостничества и самодержавия.

Вместе с тем классики русской философии подвергали критике вульгарный материализм, ползучий эмпиризм и догматизм в вопросах теории познания. Неверие в возможность полного и глубокого постижения разумом тайн природы, принижение роли человеческого разума — встречали самый решительный отпор со стороны передовых русских философов. Они были убеждены в безграничности познания человеком внешнего мира — как природы, так и общества.

Нужно ли говорить, что убеждение русских материалистов в познаваемости мира имело исключительно важное не только научное, но и политическое значение.

Приведем в связи с этим одно из важных высказываний Добролюбова, направленных против реакционеров-агностиков. «Не факты нужно приносить к заранее придуманному закону, а самый закон выводить из фактов, не насиловать их произвольно: эта истина так проста и так понятна каждому, что сделалась наконец, общим местом. А между тем, чаще всего встречаешь противоречие этой истине, и что всего досаднее, противоречащие нередко сами торжественно исповедуют ее... Если же случится им встретить что-нибудь необъяснимое по их теории, то это для них ровно ни-

чего не значит: они тотчас сошлются на то, что в мире много непостижимого для нашего слабого разума, что тайны и загадки мы встречаем на каждом шагу, да на этом и закончат все дело. Само собой разумеется, что науке нечего ожидать от таких исследователей, что тут не может быть и помину о движении вперед»¹.

Известно, что Фейербах, даже будучи материалистом, ознакомившись с реакционными в научном отношении выводами в произведениях своих соотечественников — немецких вульгарных материалистов Фогта, Бюхнера и Молешотта, — отказался от самого слова «материализм». За это отступление от материализма Энгельс критиковал Фейербаха. Чернышевско-му же ясно было, что философский материализм не связан и не ограничен взглядами на формы движения материи и ее свойств. На нескольких примерах Чернышевский показывает, что относительность наших знаний о материальном мире в каждый данный момент таит в себе значение объективной достоверной истины и что рамки этих знаний по мере изучения мира расширяются. Стало быть, как бы ни менялись научные знания людей о материи и формах ее развития, основные принципы философского материализма остаются неизбывными. Заслуга Чернышевского как диалектика, в отличие от Фейербаха-метафизика, в том и заключается, что он схватил, в элементарной форме, общий смысл вопроса о необходимости различать философское и физическое понятие материи.

Ленин указывал, что «Чернышевский называет метафизическим взором всякие отступления от материализма и в сторону идеализма и в сторону агностицизма»². Чернышевский по оценке Ленина. «...сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путанников»³. Ленин отмечал также, что Герцен был мыслителем, стоявшим головой выше бездны современных ему естествоиспытателей-эмпириков, философ-идеалистов и полу-идеалистов. Эти указания Ленина относятся и к таким представителям русской классической философии как Белинский и Добролюбов. Так, и Белинский и Добролюбов стояли на уровне мировой философской мысли своего времени и, не останавливаясь на достигнутом, настойчиво и неустанно шли дальше.

Замечательно, что русские материалисты видели борьбу партий в философии. Чернышевский писал, например, по поводу партийно-политических взглядов немецких идеалистов XIX века: «Шеллинг — представитель партии, запутанной революцией, искавший спокойствия в средневековых учреждениях, желавший восстановить феодальное государство... Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, что-

¹ Добролюбов. Соч., т. IV, ГИХЛ, стр. 308.

² Ленин. Соч., т. XIII, стр. 295.

³ Там же, стр. 295.

бы эти люди держались таких убеждений, как честные люди,— это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем»¹.

Русские материалисты понимали, что, ведя борьбу за материализм против идеализма в России, они вместе с тем ведут борьбу и против политической реакции. Известно, что Чернышевский со своими единомышленниками-друзьями вел непримиримую борьбу против таких идеалистов и философствующих реакционеров, как Катков, Юркевич и т. п. Революционные демократы рассматривали борьбу материализма против идеализма не отвлеченно, не в отрыве от русской жизни, а в аспекте политической борьбы в условиях конкретной русской действительности 40-60-х годов прошлого столетия. Эта борьба носила резко выраженный партийный характер.

Действительный характер мировоззрения классиков русской философии определяло то, что оставаясь в силу общественно-экономической и политической отсталости русской жизни, идеалистами в области истории, они во многих случаях сделали материалистические поправки к своим же историко-идеалистическим воззрениям. Было бы неправильно ограничиваться только одной оценкой, что русские материалисты оставались идеалистами в области истории. Следует одновременно подчеркнуть, что в их работах значительны материалистические тенденции в понимании исторических явлений. Не случайно Ленин отмечал, что Герцен не только вплотную подошел к диалектическому материализму, но и остановился перед историческим материализмом. В равной мере это указание Ленина относится и к Чернышевскому и к Добролюбову.

Русские философы, будучи убеждены в том, что история представляет собой не хаотический поток явлений и эпизодов, а закономерный развивающийся исторический процесс, особо подчеркивают важную роль и первостепенное значение материальных условий жизни общества. По сравнению с русскими мыслителями жалко выглядит Фейербах, определявший исторические этапы жизни общества в зависимости от этапов в развитии религиозных воззрений.

Принято думать, например, что антропология Фейербаха идентична антропологии Чернышевского. Неправильно было бы отрицать сильное влияние антропологии на социологические воззрения Чернышевского. Следы антропологии мы встретим в основе общественных воззрений не только Чернышевского, но и Герцена, Белинского, Добролюбова, Писарева. Но если у Фейербаха человек — некий комплекс физиологических свойств, то человек в представлении русских философов выглядит более жизненно и конкретно. Он — объект непрерывного воздействия со стороны реальных условий общественной жизни, экономического быта, в первую очередь. Чернышевский указывал, например, что в жизни и счастье человека «материальная сторона (экономический быт) имеет великую важность...» (Соч., т. III, стр. 183). Подчеркивание русскими мыслителями важности «экономической

стороны» общественной жизни, естественно, уводило их от фейербаховского чистого антропологии. Человек переставал быть совокупностью физиологических потребностей и чувственных побуждений, человеком, ищущим новую религию в любви и человеческих страстях, переставал быть пассивным созерцателем и жертвой рока; согласно взглядам русских философов, человек — общественное существо, деятель, мыслящий и действующий, в зависимости от условий места и времени.

Белинский настойчиво требовал от историков, чтобы они в своих учебниках всегда имели в виду роль материальных потребностей в развитии общества, что историк обязан учитывать связь нравственной стороны с практической, духовные интересы с материальными. Так, Белинский писал: «Историк должен показать, что исходный пункт нравственного совершенства есть прежде всего материальная потребность и что материальная нужда есть великий рычаг нравственной деятельности. Если б человек не нуждался в пище, в одежде, в жилище, в удобствах жизни,— он навсегда остался бы в животном состоянии. Этой истине может пугаться только детское чувство или пошлый идеализм»¹.

Патриот своей родины Белинский совершенно верно заметил: «Любовь к отечеству, могущество народного духа и богатство в материальных средствах — действительно сильные орудия»².

Белинский критикует историка Смагардова за то, что тот, как и многие другие историки, объясняет нарушение политического равновесия в Европе войнами, а не успехами в развитии промышленности, торговли и просвещения. По мнению Белинского, причины возникновения войн таятся в первую очередь в изменениях экономической жизни общества.

Насколько глубоко понимал Белинский диалектику жизни общества и значение экономических условий в истории человечества, можно судить по следующим его высказываниям: «Я знаю,— писал Белинский,— что промышленность — источник великих зол, но я знаю, что она же — источник великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом»³.

Чернышевский отмечает первостепенное значение «обстоятельств» и «быта», подразумевая под ними экономические условия жизни, и зависимость от них цивилизации, нравственных и умственных качеств. Он писал по этому вопросу:

«...Состояния умственных и нравственных качеств сильно видоизменяются влиянием обстоятельств. При перемене обстоятельств происходит соответствующая перемена и в состоянии этих качеств. О каждом из нынешних цивилизованных народов мы знаем, что первоначально формы его быта были не те, как теперь. Формы быта имеют влияние на нравственные качества людей. С переменою форм быта эти качества изменяются. Уже по одному тому всякая характеристика цивилизованного народа, приписывающая ему какие-

¹ Чернышевский. Избр. филос. соч., стр. 44.

¹ Белинский. Избр. филос. соч., стр. 300.

² Там же, стр. 150.

³ Там же, стр. 466.

нибудь неизменные нравственные качества, должна быть признаваема ложной»¹.

Добролюбов подчеркивал, что при анализе художником или историком жизни надо иметь в виду, что суть дела заключается не в абстрактно-отвлеченной постановке вопроса нравственности, права и т. д., а в материальной стороне «житейских» отношений, именно она господствует над отвлеченностью, над «моральными силами». Экономическая сторона вопроса по Добролюбову, составляет «сущность дела»². Под «экономической стороной» Добролюбов имеет в виду «имущественные отношения» или распределение материальных благ среди членов общества. От несправедливости этого распределения зависит все зло в жизни.

Добролюбов критикует историка Жеребцова, упрекает и французского историка Гизо за то, что «он слишком резко отделяет моральную силу от материальной, как будто сила находится где-то отдельно от материи, а не в ней самой»³. Причины общественных реформ Петра I Добролюбов видел не в произвольной прихоти русского царя, не в состоянии нравственности того времени и не в семейных отношениях, а в «экономической необходимости жизни».

Диалектик Добролюбов видел «зародыш нового движения» не в искусстве, не в литературной деятельности, а в фактах жизни». Все виды искусства зависят от жизни, развиваются и изменяются сообразно с направлением жизни. «Литература только воспроизводит жизнь и никогда не дает того, чего нет в действительности». «Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни»⁴.

Таким образом, Добролюбов правильно понимал, что идейная или моральная сторона в жизни общества, воплощаемая в искусстве, в литературе, в нравственности, в конечном счете зависит от экономической основы, хотя и оказывает свое воздействие на последнюю.

Революционные демократы-философы убедительно раскрывали классовую эксплуатацию человека человеком, хотя, конечно, и не формулировали законов классовой борьбы. Важно, что они классовое деление общества ставили в зависимость от присвоения одной группой общества труда другой части общества и делали вывод о необходимости демократической революции. Ею молодой Чернышевский, разоблачая славословие либералов по адресу капитализма, писал:

«...Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода— и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не вводят в жизнь... Уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором ⁹/₁₀— орда, рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого»⁵.

Вывод о том, что часть общества (меньшинство) присваивает себе труд другой (большинство) Чернышевский выразил в следующих словах (подчеркнуто было вычеркнуто из рукописи царской цензурой):

«По выгодам, все европейское общество разделено на две половины: одна живет чужим трудом, другая своим собственным; первая благоденствует, вторая терпит нужду. Интерес первой в том, чтобы сохранить нынешнее положение вещей, по которому большая часть народного труда достается в руки ее немногочисленных членов. Интерес второй половины общества, считающей в себе повсюду более девяноста человек из ста, состоит в том, чтобы изменилось нынешнее положение и трудящийся человек пользовался всеми плодами своего труда и не видел их достигающими в чужие руки»¹.

Добролюбов указывает, что борьба аристократии с демократией составляет все содержание истории, но эта борьба была бы плохо понята, если ее ограничить генеалогическими интересами. В основании ее скрываются не отвлеченные теории о народе и наследственном различии крови в людях благородных и неблагородных. На самом деле, есть люди трудящиеся и дармоеды. «Уничтожение дармоедов и возвеличение труда— вот постоянная тенденция истории». Степень цивилизации общества можно определить по степени уважения к труду и умению оценивать труд, по степени распространения дармоедства. «Дармоедство теперь прячется, правда, под покровом капитала и разных коммерческих предприятий, но тем не менее оно существует везде, эксплоатируя и подавлявая бедных тружеников...»².

Исходя из этих положений, русские философы-революционеры делали закономерный вывод о неизбежности смены одной формы жизни другой не путем реформы, а путем революции. Белинский писал в письме к Боткину в 1841 году о том, что нравственное и физическое улучшение человека «сделается через социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собой, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с уничтожением и страданием миллионов»³.

Ту же мысль выразил и Герцен:

«Может притти роковой день, когда сопротивление насиллем насилью сделается страшным долгом, трагической необходимостью, и когда люди, любящие свою страну, преданные интересам ее трудящегося населения, обязаны будут «стать прудью» и «лечь костьми»⁴.

Нужно ли говорить, что вожди русской революционной демократии Чернышевский и Добролюбов, призывавшие русский народ к революции, звавшие Русь к топору, иначе

¹ Чернышевский, Избр. филос. соч., стр. 256—257.

² Соч., т. II, ГИХЛ, стр. 333.

³ Соч., т. III, стр. 232.

⁴ Соч., т. II, стр. 133.

⁵ Чернышевский, Литературное наследие, т. I, стр. 266.

¹ Соч., т. V, стр. 336.

² Соч., т. III, ГИХЛ, стр. 267—269.

³ Белинский. Избр. соч., стр. 175.

⁴ Герцен. Соч., т. V, стр. 440, Изд. Павленкова, 1905.

себе и не мыслили общественный прогресс, как только революционным путем.

В то время как в реакционной философии и социологии на Западе усиленно раздувалась роль отдельных личностей в истории и всячески приписывалась роль народных масс в общественном развитии, в русской философии Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, а также Писарев, вплотную подошли к правильному материалистическому толкованию роли личности в истории. Между ними не было разногласий в этом вопросе. Они единодушно исходили из того основного положения, что главной движущей силой в историческом прогрессе являются народные массы; именно они являются двигателями истории, без их активного участия не может совершаться ни одно общественное движение, без них история перестает быть историей.

Вместе с тем русские философы, рассматривая историю как историю жизни и борьбы народных масс, далеки были в то же время от нигилистического отношения к выдающимся историческим деятелям. В их представлении отдельная выдающаяся личность также играет серьезную роль в исторических событиях, ее нельзя сбрасывать с весов истории, ибо она может влиять на ход событий. Появление и деятельность выдающейся личности русские мыслители рассматривали в свете исторической необходимости как явление закономерное. Если не данная личность, то другая, ходом самой жизни будет выдвинута на активную ведущую роль в исторической жизни. Важно, чтобы ее деятельность отвечала задачам времени в данной конкретной обстановке, воплощала бы в себе умение видеть эти задачи и разрешить их, опираясь на силу и мощь народа. «Историческая потребность,— писал Чернышевский,— вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду»¹.

Глубокие, верные мысли по вопросу о роли народных масс и выдающихся исторических деятелей в общественном развитии мы встретим в сочинениях Добролюбова, Писарева.

Русские мыслители, в особенности Чернышевский, подвергали резкой критике сочинителей разного рода «расовых теорий». Чернышевский убедительно доказывал, что эти «теории» совершенно несостоятельны в научном отношении... Они грубо ошибочны в своей основе, ибо нет и не может быть неизменных, метафизических, раз навсегда данных свойств племени, рода или расы. Все расовые особенности суть исторический продукт.

В своей работе «Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории» Чернышевский подробно разъясняет нелепость сумасбродных «теорий» о мнимых превосходствах отдельных рас, разоблачает реакционный политический смысл этих теорий. Он зло высмеивает их сочинителей за попытки оправдать господство одной расы путем ссылок на преимущественство в форме черепа, цвета кожи, умственных способностей и всякого рода физиологических особенностей.

Чернышевский доказывает, что раса — понятие историческое, а поэтому причину различий между расами надо искать не в вечных физиологических свойствах, а в исторических

условиях их образования. Он писал: «Все расы произошли от одних предков. Все особенности, которыми отличаются они одна от другой, имеют историческое происхождение»¹. Что же касается сочинителей «расовой теории», то это — рабовладельцы, так заклеивали их великий русский гуманист-революционер Чернышевский: «Рабовладельцы были люди белой расы, невольники — негры; потому защита рабства в ученых трактатах триньяла форму теории о коренном различии между разными расами людей»².

Классики русской философии решительно отвергали также всякого рода попытки оправдать господство одной нации над человечеством путем насилия. Они доказывали, что подобная политика какой-либо нации губительна для нее и сумасбродна по своим замыслам. На многих исторических примерах Чернышевский убедительно доказывал, как нация, стремящаяся покорить человечество, губит сама себя. В результате всегда оказывается, как говорит об этом опыт истории и завоевательных войн, что такие народы в конечном счете истреблялись и порабощались. Несостоятельность любых попыток завоевать мировое господство очевидна на фактах истории.

● Следует учесть, что русские передовые мыслители не только не были знакомы с теми работами Маркса и Энгельса, в которых были сформулированы основы диалектического и исторического материализма; в лучшем случае, они успели ознакомиться лишь с ранними произведениями основоположников марксизма. Отсталость России сравнительно с другими странами не давала необходимых фактов для выводов в духе исторического материализма.

Несмотря на это, именно русская философия продвинулась в более глубокое и правильное понимание законов исторического развития по сравнению с видными представителями западноевропейской буржуазной философии и социологии до Маркса.



В наследстве русской материалистической философии характерной чертой, заслуживающей особого внимания, является глубокий, истинный патриотизм, искренняя беззаветная любовь к родине, к русскому народу, непоколебимая вера в его могущество, в творческие силы и способности, твердая убежденность в великом будущем России и русского народа. Русские философы-революционеры зло высмеивали казенных псевдо-патриотов, любивших говорить прекрасноречивые фразы о «благее» России, о «моральном долге» перед отечеством, а на деле тормозивших прогрессивное развитие России, обрекавших народ на бедствия нищеты и темноты духовной. Русские революционеры прекрасно видели, как под личиной патриотизма скрываются или заядлые реакционеры, или болтливые либералы.

Будучи пламенными патриотами своей родины, русские философы — революционные демократы, непримиримо относились к врагам русского народа, в частности к «немецкому отродью» из династии Романовых и ее при-

¹ Чернышевский. Избр. фил. соч.; стр. 222.

² Там же, стр. 272.

¹ Соч., т. II, стр. 165, изд. 1906 г.

дворных кругов. Призывая сломать здание царизма и пробудить в народе спящие от века богатырским сном силы, Добролюбов писал: «И только лишь проснется, да повернется русский человек — стремглав полетит в бездну усевшаяся на нем немецкая аристократия».

Высмеивая всякого рода сусальные, лубочные разглагольствования о русском народе и его каких-то сверхъестественных качествах, Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов давали решительный отпор тем, кто пытался в какой-нибудь мере опорочить, оклеветать русский народ, и в противовес этому подчеркивали те качества, какие действительно присущи великому русскому народу. Так, Добролюбов справедливо отмечал, что в русском народе еще сильнее, чем у других народов, стремление к «восстановлению своих естественных прав на нравственную и материальную независимость от чужого произвола». Добролюбов писал, что о русском человеке нельзя судить в рамках «крепостного воззрения». Нужно понять и представить его, как независимого человека-гражданина, пользующегося правами и преимуществами свободного государства, — именно при этих условиях и раскроются все качества русского народа.

В представлении русских философов настоящий истинный патриотизм исключает национальную вражду и не может ужиться с неприязнью к «отдаленным народностям» России. Эти идеи особенно ярко пропандирует в своих работах Добролюбов. Глубокое понимание сущности патриотизма выражено в словах Чернышевского: «Содействовать славе не переходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожденнее этого»¹.

Великие русские философы-патриоты хотели видеть Россию свободной, могучей и культурной страной. Они предсказывали ей славный путь и прекрасное будущее. Внимательно изучая и глубоко глядя ваясь в особенности исторического развития России, Добролюбов говорил, что развитие русского общества пойдет быстрее и быстрее может пройти те фазисы, которые так медленно проходили страны Западной Европы. Мы можем, писал Добролюбов, и должны идти решительнее и тверже по этому пути, потому что уже вооружены и знанием, и опытом других стран. В своем стихотворении «Дума при гробе Оленина» Добролюбов, обращаясь к Руси, пророчески писал:

Когда, сорвав свои оковы,
Уж не ребенком иль рабом,
А вольным мужем жизни новой,
Предстанешь ты пред их судом.

Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусство,

Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин,
И на Руси освобожденной
Явится русский гражданин.

И в царстве знаний и свободы
Любовь и правда процветут,
И просвещенные народы
Нам братски руку подадут¹.

Общезвестны пророческие слова Белинского о будущем России, написанные им в 1846 году: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающей законы и науке и искусству и принимающей благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества»².

Так русская классическая философия, в период до пролетарского массового революционного движения в России и по сравнению со всеми буржуазными философскими и политическими учениями на Западе, была самой прогрессивной идеологией.

Классики русской философии в условиях своего времени не возвысились, не могли возвыситься до мировоззрения революционного пролетариата — до великого учения Маркса — научного социализма и диалектического материализма. Русские революционеры-демократы, опиравшиеся на крестьянские народные массы и демократические элементы города, были утопическими социалистами. Они могли лишь подойти вплотную к диалектическому материализму, и в этом — их величайшая заслуга в развитии мировой философской мысли.

Но к шести русских революционных демократов, их утопический социализм резко отличался от западноевропейского, представленного именами Роберта Оуэна, Фурье, Сен-Симона. Русские революционеры не тешили себя иллюзией, что путь к социализму возможен мирным реформаторским путем без революционного насилия над самодержавием; без революции они и не представляли себе уничтожения эксплуатации человека человеком. Добролюбов, сочувственно относившийся к идеям английского утопического социалиста Роберта Оуэна, резко упрекал последнего за его наивную веру в то, что можно посредством пропаганды и убеждения склонить капиталистов к добровольному соглашению с рабочими.

Лучшие достижения русской философской мысли: творческий воинствующий материализм, диалектический метод, понятий как «алгебра революции», органическая связь теории с практикой, науки с жизнью, сильные материалистические тенденции в вопросах социологии, революционный демократизм, гуманизм и истинный патриотизм, демократический реализм в эстетических взглядах — это не только ценнейший вклад в русскую, но и в мировую культуру. Мировая общественная мысль прошлого столетия в значительной степени обогатилась тем идейным наследством, которое дала русская материалистическая философия.

Ленин писал: «роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хотя сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении.

¹ Чернышевский. Литературное наследие, т. II, стр. 44.

¹ Н. А. Добролюбов. «Дума при гробе Оленина».

² Белинский. Соч., т. VI, стр. 10.

которое приобретает теперь русская литература»¹. Рядом с именами Ленина и Плеханова товарищ Сталин называет имена Белинского и Чернышевского, как славных, великих представителей русской нации и ее культуры.

Лучшие традиции русских философов-революционеров восприняли для дальнейшего творческого развития русские революционные социал-демократы, марксисты. После Плеханова, положившего начало пропаганде и популяризации марксизма в России, наивысшая ступень в развитии творческого марксизма была достигнута в произведениях Ленина и Сталина. Марксистско-ленинская философия является классической, единственно научной философией современности. Но все то лучшее

и жизнеспособное, что было в русской материалистической философии до распространения марксизма в России, было использовано и развито в марксистско-ленинском мировоззрении. Ленинизм явился достижением русской культуры. Ее великие представители Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов. Плеханов подготовили идейную почву для восприятия идей ленинизма.

Под знаменем ленинизма, под руководством товарища Сталина советский народ победоносно защитил честь и независимость своей родины, защитил и великую русскую культуру, сокровищницу самых передовых, благородных, светлых идей, которыми гордится и русский народ и все человечество.

А. ЛОГИНОВ

Молодое пополнение рабочего класса

В один из октябрьских дней 1942 года Михаил Иванович Калинин принял в Большом Кремлевском дворце группу работников государственных трудовых резервов и комсомольских организаций.

Беседа продолжалась больше трех часов. Гости рассказали Михаилу Ивановичу о деятельности ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения. Глава верховного органа советского государства внимательно выслушал выступавших, подробно расспросил их обо всем и дал ряд указаний о подготовке и воспитании молодого поколения рабочего класса.

Производственное обучение молодежи в специальных училищах и школах, организованных по инициативе товарища Сталина, было начато в нашей стране за два года до этой встречи в Кремле. Основные мотивы, побудившие партию и правительство создать государственные трудовые резервы, были отчетливо сформулированы в Указе Президиума Верховного Совета СССР.

«Задача дальнейшего расширения нашей промышленности,— говорилось в Указе,— требует постоянного притока новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики и заводы. Без непрерывного пополнения состава рабочего класса невозможно успешное развитие нашей промышленности.

В нашей стране полностью уничтожена безработица, навсегда покончено с нищетой и разорением в деревне и городе, ввиду этого у нас нет таких людей, которые бы вынуждены были стучаться и проситься на фабрики и заводы, стихийно образуя, таким образом, постоянный резерв рабочей силы для промышленности.

В этих условиях перед государством стоит задача организованной подготовки новых ра-

бочих из городской и колхозной молодежи и создания необходимых трудовых резервов для промышленности».

Одновременно с Указом, при Совете Народных Комиссаров СССР было образовано Главное управление трудовых резервов.

Первый призыв в училища и школы государственных трудовых резервов был проведен в конце 1940 года. Советская молодежь горячо откликнулась на зов родины. На шестьсот тысяч мест было подано свыше миллиона заявлений. Это был настоящий поход молодежи в заводскую науку — за умением, за квалификацией.

В городах на учебу шла лучшая часть рабочей молодежи и дети советских служащих. Среди молодых колхозников, подавших заявления, нередко были такие, на чьем счету значилось 200—300 заработанных трудовых дней, у кого был уже опыт активной общественной, комсомольской работы. Молодой колхозник из далекого Тобольского округа, Александр Чесноков, прошел сотни километров пешком, чтобы не опоздать на прием в ремесленное училище города Омска.

В крупные города и промышленные центры — Москву, Ленинград, в Свердловскую область, на Дальний Восток, помимо принятых на месте, приехало около ста тысяч молодых людей, призванных в наиболее населенных сельских местностях.

Была проведена большая работа по организации и оборудованию самих училищ и школ — при промышленных предприятиях, железнодорожных узлах, новостройках, морских и речных портах. Выделены помещения, завезено оборудование, подготовлены общежития. Главное управление трудовых резервов разработало специальные учебные программы, в составлении которых, помимо специалистов, активно участвовали своими ценными советами рабочие-стахановцы и сам Алексей Стаханов. Были подобраны десятки тысяч опытных ма-

¹ Ленин. Соч., т. IV, стр. 380—381.

стеров производственного обучения, педагогов и других работников.

1 декабря 1940 года 1500 ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения гостеприимно распахнули двери перед шумливой жизнерадостной молодежью.

По указанию товарища Сталина, основным принципом обучения молодых рабочих было принято изучение профессии в процессе общественно-полезного труда, в условиях возможно более близких к производству. С первых дней учащийся должен был иметь дело не с бросовым материалом или макетами, а с полноценным промышленным сырьем — металлом, деревом, пластмассой и т. д., должен был работать на заводских станках и изготавливать полезные изделия. Этот принцип сразу выводил юношей и девушек в производственную обстановку и исключал из обучения отвлеченную словесность.

В ремесленных и железнодорожных училищах значительная часть учебного времени отводилась на изучение технологии металлов, черчения и технического рисунка, основ физики и химии, математики и русского языка.



Прошло несколько месяцев учебы. Это было время, наполненное нелегким, кропотливым, но увлекательным трудом и воспитателей и учащихся. Училища и школы ФЗО наладивали свою работу в обстановке большого внимания со стороны всей советской общественности.

Молодежь успешно преодолевала неизбежные на первых порах трудности. Совсем недавно эти четырнадцать-пятнадцатилетние юноши и девушки впервые переступили порог мастерской, цеха и робко знакомились со станками, моторами, вагранками, врубцовыми машинами, паровозами, стапелями, телеграфными аппаратами. Спустя 3-4 месяца они уверенно хозяйничали за этими станками и аппаратами. Перед ними открывалось мастерство.

«Когда я пришла в свою группу, — рассказывает Сима Пичкалева, ученица ремесленного училища в Молотовской области, — кто-то недовольно сказал: «И зачем это таких маленьких принимают?» Обидно, конечно, но ничего, думаю, вот посмотрите, как я буду стараться».

Мастер предложил мне стать к шлифовальному станку. Первые дни станок я знала плохо, за каждым пустяком бегала к мастеру. Измеряла лекалом порученную мне деталь чуть ли не каждую минуту. Пошлифую и опять измеряю, сама себе не доверяю, боюсь деталь запороть, а время бежит. Я себя ругала, даже плакала.

Потривыкнув, я стала с помощью мастера знакомиться со станком как следует. В свободные минуты обхожу его со всех сторон, присматриваюсь, приглядываюсь, а трогать сама боюсь. Вот как-то стала думать: неужели всегда буду так медленно работать? А что, если станок быстрее пустить?

Мне уже показали, что для этого нужно повернуть нониус (регулятор хода). Тихонько повернула рычажок — станок пошел медленнее. Я набралась храбрости и повернула в другую сторону. Вижу, идет мой станок быстрее. Решила, никому не говоря, поработать так. Сначала было трудно, я даже палец по-

резала. Промолчала, сама идом залила, но не уменьшила ход. Работаю и считаю, сколько деталей выйдет сегодня. Вчера сделала 42 штуки, а сегодня, пожалуй, будет 70. Веселее стало, и мастер похвалил. Я ему тогда рассказала как дело было, он засмеялся и говорит: «Действуй смелее».

Я осмелела. Сама себе слово дала: добыю нормы как у взрослых рабочих. А это много значит — сильно захотеть».

Одно из московских ремесленных училищ взялось за освоение производства настольных токарных станков. Техническая комиссия наркомата, ознакомившись с опытным экземпляром миниатюрного, красивого станочка, пришла к заключению, что он вполне пригоден для заводов точного машиностроения и имеет более совершенную конструкцию, чем импортные станки этого типа.

10 июня 1941 года в московском Центральном доме техники открылась большая выставка. Сотни училищ и школ экспонировали на ней изделия учащихся. Выставка наглядно показала, как день ото дня молодежь все лучше овладевала ремеслом, как все более умелыми становились ее руки.

На одном из стендов выставки — неровный, весь в зазубринах кусок металла. Это следы первого опыта рубки зубилом. А рядом — россыпи инструмента, изготовленного по всем правилам, до блеска отполированного. Тут плоскогубцы и тиски, клуппы и штанген-циркули, поверочные линейки и лекальные угольники.

Ленинградские училища демонстрировали изготовленные молодыми энергетиками электросчетчики, микродротурбину «Лилипут». Училище № 19 города Москвы показало выпускаемую ими впервые в СССР двустороннюю американскую дрель.

На выставке были показаны многочисленные диаграммы, фотографии, альбомы. Фото пароходов и пловучих кранов в ленинградском порту, отремонтированных учащимися; флотилии барж, выстроенной молодыми плотниками Вологодской области; локомотив с четкой надписью: «Сборка паровоза произведена школой ФЗО № 1 в городе Орджоникидзеград 29 апреля 1941 года № СО-19-2637» — и многое другое.

Во второй половине мая в школах наступили дни выпускных испытаний. Учащиеся сдавали испытания, пробу непосредственно на рабочих местах: горняки экзаменовались в забое, штольне, строители — на лесах новостроек, металлурги — у домы, прокатного стана. Металлисты исполняли контрольные задания на своих станках.

Сдав пробу, выпускники хотели тут же узнать результат. Бригада москвича Лопухина получила проверочное задание — окрасить железнодорожный вагон. Работа была закончена после полудня и комиссия могла оценить работу только на другой день, когда краска высохнет. Лопухину не терпелось, — он пришел на завод вечером. В проходной его не пропустили — пролез под забором. Пробрался к своему вагону, осмотрел его взглядом знатока и, убедившись, что вагон попрежнему блестит как новенький, тем же путем ушел домой.

Окончившим школы вручался аттестат — аккуратная книжечка в коленкоровой обложке, а отличникам учебы — и похвальные грамоты.

Школы ФЗО в целом успешно сдали экзамен перед страной. Они подготовили четверть миллиона молодых, полных сил и энергии рабочих. Успехи училищ, которые в это время готовились к проведению переводных испытаний, свидетельствовали, что партия и правительство пошли в учебных заведениях нового типа правильным путем широкой подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Окончившие школы молодые рабочие развезены по заводам и новостройкам, шахтам и железным дорогам. Работники школ готовились принять учащихся нового призыва — ремонтировали и расширяли общежития, столовые, мастерские; учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ собирались на летние каникулы, когда 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Немецкие войска вторглись в пределы Советского Союза. Началась великая отечественная война.



Жизнь страны быстро перестраивалась на военный лад. Война предъявила требования и к ремесленным училищам, и к школам ФЗО. Нужно было в усложненной обстановке расширить подготовку молодых рабочих для оборонной промышленности, взять отныне за правило: поменьше спрашивать с государства, побольше давать фронту.

Учащиеся и работники ремесленных и железнодорожных училищ единодушно отказались от каникул. Сотни и тысячи юношей настойчиво требовали, чтобы их отпустили в Красную Армию. Но родина, товарищ Сталин сказали: стране нужно, вряду с армией, очень много рабочих рук, нужно много металла, оружия, боеприпасов,— помогайте бить врага трудом...

Вдоль наших западных границ шли ожесточенные бои. По всей стране проходила мобилизация военнообязанных, формировались и передвигались многочисленные воинские соединения. Тем не менее очередные призывы молодежи в училища и школы были проведены четко и организованно. 1 июля 1941 года началась учеба второго набора учащихся школ ФЗО, в августе еще несколько сотен тысяч юношей и девушек влилось в ремесленные и железнодорожные училища.

Однако в первый период войны, особенно осенью 1941 года и летом следующего года как всей нашей стране, так и училищам и школам трудовых резервов пришлось пережить тяжелое время. Немецкие войска захватили Украину, Белоруссию. Прибалтийские советские республики рвались к Волге и Кавказу. Из прифронтовой полосы на восток, в глубь страны шли эшелоны за эшелонами — тысячи вагонов, увозивших от врага ценнейшее оборудование заводов и фабрик, заполненных рабочими, переезжавшими вместе с предприятиями. Одновременно эвакуировались ремесленные училища и школы.

Из осажденного фашистами Ленинграда 30 тысяч юношей и девушек были переправлены на грузовиках по замерзшему Ладожскому озеру Немцы бомбили с воздуха ладожскую снежную дорогу. На глазах у подростков из ремесленного училища № 25 была разбита и скрылась под водой шедшая впереди наполненная людьми машина.

Благодаря огромной помощи Государственного Комитета Оборона. Центрального Комитета партии и военного командования переброска большинства училищ и школ была проведена успешно и спасла от врага сотни тысяч молодых жизней и значительные массы материальных ценностей.

Учащиеся стойко перенесли все трудности и испытания, и это закалило их. Среди сохранившихся далекий путь юношей и девушек можно было встретить таких, которые потеряли след близких, родных, но все они держались крепко и бодро. Товарищеская взаимопомощь, занятое горячее работой время еще более сплотили молодежь, помогли мужественно пережить личные невзгоды и с еще большим рвением отдаться труду, труду для фронта, для победы над ненавистным врагом.

Эвакуированные училища и школы быстро освоились на новых местах. Но нужно было не только самим устроиться, но и помочь эвакуированным на восток танковым, авиационным, артиллерийским заводам.

Н-ский завод, эвакуированный в Посольжье, испытывал недостаток рабочей силы и острою нужду в помещении. Станки надо было немедленно поставить под крышу и пустить в ход, продукция завода нужна была фронту. Представитель Управления трудовых резервов собрал учащихся расположенного неподалеку ремесленного училища, рассказал о положении на заводе, его значении для обороны страны. Предупредил о бытовых затруднениях, с которыми придется встретиться. Пятьсот человек в один голос заявили: едем работать. Трудности — дело временное, завод должен работать...

Молодежь помогала налаживать работу предприятий, пострадавших от вражеских бомбардировок. В городе Н. слесарям ремесленного училища № 7 поручили восстановить и смонтировать литейную и конвейер электромашиного цеха.

Дело было зимой. Придя в безмолвный цех, учащиеся несколько растерянно переглянулись: тут все нужно делать чуть ли не заново. Мастер группы Ветров заметил это и сказал:

— Ну, а на фронте, по-вашему, легче? — И закончил ободрительно. — Ничего, герои, вытнем. Вы еще своих сил настоящих не знаете!

Кончится война, мы назовем этот город и завод. Если вы побывали там, то прочтете на установленной по приказу директора доске имена передовых учащихся, которые начали свою трудовую жизнь пуском крупнейших машин, работавших на оборону.



Когда вперед на запад пошла Красная Армия, опрокидывая врага, изгоняя фашистов прочь с советской земли,— училища и школы ФЗО возобновляли свою работу в освобожденных районах.

Двухтысячный отряд учащихся одним из первых раскинул палаточный лагерь на развалинах Ленинграда. Их взором представлялась картина страшных опустощений. Не было прекрасных многоэтажных зданий, в которых размещались раньше училища. На месте краса-

цев заводов громоздились холмы кирпича и обгоревшего металла. Но подвиг сталинградской гвардии, устоявшей против немцев там, где камни рушились и плавилась сталь, вдохновлял молодежь.

Прежде чем приступить к восстановлению разбитого учебного корпуса, требовалось обезвредить и расчистить дорогу к нему — убрать вражеские трупы, очистить подходы от мины. Работа трудная и опасная. Тем не менее учащиеся, как верные патриоты своей родины, выполняли ее самоотверженно, рискуя жизнью. Опасность таила даже уцелевшая на вид стена здания: тронь ее, и она с грохотом рассыплется, так изъедена осколками снарядов.

С утра до вечера трудились юноши и девушки, мастера, все работяжки училищ и школ: разбирали лом, возили песок и глину, отбирали годный кирпич, разыскивали в подвалах и траншеях койки, уцелевший инвентарь. Одна за другой вставляли стены мастерских, общежитий. Крыши и стекла, двери и печи вновь преграждали дорогу дождю и холоду. Любозно очищали от окалины останки машин, инструменты.

Когда был наведен мало-мальский порядок, началась учеба. К лету прошлого года в Сталинграде и Сталинградской области уже действовали 20 училищ и школ, в них занималось 8 тысяч человек.

В Ростове-на-Дону, перешедшем из рук в руки, пришлось дважды восстанавливать здания школ, оборудование и общежития. Бывало и так, что отремонтированное помещение вновь выходило из строя после вражеского авиабомбежа. Но учащиеся с упорством и настойчивостью на какую способна только наша советская молодежь, вновь и вновь возрождали то, что с бешеной злобой пытался разрушить враг.

Большие работы по созданию ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО проведены на всей территории страны, освобожденной от немецкой оккупации, дело там идет быстро, дружно. В одесском училище № 3 шутят: «Одессе 156 лет, а нашему училищу скоро будет 150 дней». Но за этот короткий срок коллектив полностью наладил нормальную учебу. На Украине открыта уже не одна сотня училищ и школ ФЗО.

Многие училища и школы ФЗО в областях, непосредственно не затронутых войной, делятся тем, что у них есть, со своими товарищами, вызволенными Красной Армией из фашистской неволи. Многие из них приняли шефство над училищами и школами, разоренными немцами.

При этом, если молодежь Москвы, Башкирии, Алтая, Казахстана вчера помогала налаживать учебу в Краснодаре и Ростовской области, то сейчас Краснодар и Ростов в свою очередь, изготавливают оборудование для училищ и школ Донбасса, Украины, Прибалтики.

Пока идет война, нужно непрерывно расширять производство вооружения и боеприпасов для фронта. Нужно строить военные заводы. Для всего этого нужно все больше новых рабочих, а значит больше училищ и школ, которые должны готовить рабочих в таком количестве, таких специально-тей и в такие сроки, как этого требует родина.

★

В августе 1943 года партия и правительство приняли историческое постановление о проведении неотложных мер по восстановлению хозяйства в освобожденных районах. Всероссийское одобрение получило это решение, проникнутое сталинской заботой о советских людях, уверенностью в победе нашего правого дела. На органы государственных трудовых резервов этим постановлением была возложена обязанность открыть специальные ремесленные училища для детей воинов Красной Армии партизан и сирот, родители которых отдали жизнь за родину.

Фашистские погромщики обездолили миллионы детей. Специальные ремесленные училища многим из них заменят дом и семью, дадут путевку в жизнь — квалификацию, образование.

В новые училища принимаются двенадцати-тринадцатилетние дети, срок обучения в них — 4 года. Окончив курс шестнадцати-семнадцатилетние юноши и девушки будут вполне подготовлены к самостоятельному труду, выйдут из училища квалифицированными рабочими металлистами, радиотехниками, работниками связи, электриками, мастерами столярного, швейного дела и т. д.

В ремесленных училищах и школах ФЗО немало непосредственных участников Отечественной войны. В ремесленном училище № 40 города Москвы учится Сережа Учузнов, которому довелось лично уничтожить четверых немцев и двоих взять в плен. В другом училище принят участник обороны столицы Митя Хьянатов, награжденный командованием армии гвардейским значком. Защищая Москву, юный гвардеец мстил, как мог, фашистам, которые убили его мать и сожгли дом. В училище № 3 города Калининграда зачислена группа молодых партизан Смоленщины. У двух из них на груди сверкают ордена Отечественной войны, у остальных — Красной Звезды.

В училищах и школах, наряду с русской, слышишь эстонскую, литовскую, польскую речь, слышишь речь детей антифашистов, спешивших от гитлеровского террора.

Новую родину нашел себе в СССР уроженец Бильбао, сын испанского рабочего-судоостроителя Эваристо Родригес. Недавно он успешно закончил ремесленное училище в Тбилиси и уже известен на своем заводе как стахановец. Широкоплечий юноша Петр Гергица, родившийся в небольшой деревеньке северной Буковины учился на Урале в строительной школе ФЗО и остался там мастером производственного обучения. На уфимском металлургическом заводе долго вспоминали предотвратившего серьезную аварию электролечи практиканта ремесленного училища, сына старого латышского партизана, комсомольца Эльмара Нейман.

Среди молодежи, поступающей в годы войны в училища и школы ФЗО, много девушек. В училищах они составляют, примерно, одну четверть, а в школах ФЗО — треть всех учащихся.

★

Училища и школы трудовых резервов не свертызали своей работы даже в самые трудные моменты войны. В результате перебази-

важны и восстановления училищ и школ общее их число не только сохранено, но даже увеличилось и перевалило уже за две тысячи. В трудных условиях войны они успешно справляются с выполнением возложенных на них ответственных задач. Воспитанники школ ФЗО и ремесленных училищ — 1 800 000 человек — составляют важнейшую часть людских пополнений, которые пришли на производство за три года войны.

Как и предвидел товарищ Сталин государственные трудовые резервы сыграли и играют огромную роль в разрешении сложной в условиях войны проблемы подбора и подготовки новых рабочих. Они явились надежным источником организованного пополнения рабочего класса. Не будь налажено массовое производственное обучение молодежи, нашим оборонным предприятиям, топливной промышленности было бы значительно тяжелее работать.

А теперь молодые рабочие занимают места своих отцов и старших братьев, когда долг призывает их в ряды вооруженных защитников родины. Молодежь заполняет цеха многочисленных вновь встраиваемых заводов. Плановое размещение и передвижение оканчивающих училища и школы рабочих дает возможность быстрого строительства, развертывания тех или иных промышленных предприятий в любом пункте страны.

Труд молодежи становится все более весомым в мясной, работающей на оборону народнохозяйственном конвейере. В кипучей, самоотверженной работе мужает и закаляется новое поколение.

Рука об руку с кадровыми рабочими заводов военной промышленности и металлообрабатывающих машиностроительных заводов трудится армия молодых металлургов.

В просторные цеха прославленного Уралмашзавода за время войны влился двухтысячный отряд окончивших училища и школы слесарей, токарей, фрезеровщиков и рабочих других специальностей. Завод этот оснащен новейшей техникой, он выпускает тяжелые боевые машины. Осмотревшись, пообыкнув, новички, преодолевая трудности, уверенно работают на сложнейших станках. Молодые рабочие быстро растут, множат школьные знания. И первоклассная техника, и юношеский задор серьезно помогают коллективу завода с честью нести звание одного из лучших военных заводов индустриального Урала. Работающий на этом заводе воспитанник школы ФЗО кузнец Коваленко уже награжден двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

От машиностроителей не отстают и молодые металлурги, горняки, химики, железнодорожники, строители. Выпускники школ ФЗО помогли возводить пятую и шестую магнитогорские доменные печи, каждая из которых даст чугуна больше, чем весь старый демидовский Урал.

Много юношей и девушек за недолгий срок самостоятельной работы прославились своими трудовыми достижениями, стали знатными людьми на предприятиях.

Звание лучшего машиниста шахты имени Сталина в городе Прокопьевске присвоено выпускнику донецкой школы ФЗО Ивану Назаренко. Немецкие злодеи палили отца Назаренко в боях под Полтавой погибли четыре его брата, составлявшие экипаж самолета

бомбардировщика. Единственный, оставшийся в живых из семьи юноша стал почетным гражданином большого сибирского города и принят в партию.

Опытный рабочий — специалист по монтажу турбин и котлов, вырабсгался из выпускника школы ФЗО Алексея Зубкова. Как и Назаренко, он потерял семью, расстрелянную немскими извергами, чудом спасая от смерти, когда фашистские стервятники с брющего полета расстреливали женщин и детей его родной деревни. Он говорит: «Любую работу буду выполнять во имя родины. Мое горе и горе народа требует возмездия, я ненавижу врага».

Лучшим горновым на заводе имени Куйбышева умелым хозяином доменной печи стал воспитанник металлургического училища Василий Полов. В среднелистовом цехе Магнитогорского комбината работает мастером 1-го класса питомец ремесленного училища Николай Голодюнов. в маргеновском цехе № 2 даже опытные рабочие внимательно присматриваются к виртуозной работе подручного сталевара Шарфида Инбаторова. Двадцать пять тысяч километров наездил помощник машиниста Николай Кирбин, воспитанник челябинского училища. Он является одним из первых, получивших после полугодовой самостоятельной работы звание машиниста.

Управление Закавказской железной дороги проводило недавно в Тбилиси дорожный слет молодых рабочих, посвященный обсуждению методов работы слесаря Синдюшкина. «Герой дня», инициатор скоростного ремонта паровозов Иван Синдюшкин — выпускник Бакинского железнодорожного училища № 1.

У главного щита управления красноярской теплоэлектростанции стоит бывшая ученица школы ФЗО, семнадцатилетняя комсомолка Тамара Хоменко. Выпускник школы Иван Селенев, работая на восстановлении сталинградского тракторного завода, укладывает за смену до 6 500 кирпичей, что намного превышает норму. Хорошей славой среди шахтеров Донбасса пользуются госпитанники школы ФЗО в городе Ирмино молодые забойщики Гагариченк и Орлов. Они изо дня в день перевыполняют задания и зарабатывают в месяц по 2000—2400 рублей.

Теперь уже не одна сотня недавних учеников, вчерашних рабочих, стала командирами производства — бригадирами и мастерами. Выпускник ремесленного училища назначен заместителем начальника цеха на Первоуральском заводе, многие окончившие училище речного флота в городе Сыктывкаре назначены печерским пароходством помощниками капитанов пароходов.

Однако было бы непростительной ошибкой полагать что пришедшие из школ и училищ молодые рабочие уже не нуждаются ни в производственной помощи, ни в просмотре и воспитании. Высококвалифицированным рабочим нельзя стать за два года обучения в ремесленном училище, не говоря уже о школах ФЗО. Училища, школы дают молодежи лишь основные навыки и совершенствоваться молодежи должно на дальнейшей самостоятельной практической работе.

На Н-ский завод в Ленинграде пришел окончивший ремесленное училище Александр Суворов. Товарищи так и прозвали его — «полководец». Но тезка нашего великого

предка отличался некоторым зазнайством и неровным характером. Руководители цеха немало потратили сил и времени, чтобы приучить его к точности в работе, к дисциплине. Мастер, сменный инженер, начальник цеха внимательно наблюдали за работой юноши, дружески беседовали с ним, а иногда давали жесткий приказ. И добились своего. Обходя перед концом смены ряды станков, начальник цеха иногда останавливался около Суворова и спрашивал:

— Ну, как дела, «полковнец»?

— Ничего, Петр Яковлевич, больше двух норм вытнул, — отвечал юноша.

Конечно, есть и другие факты, когда новичка зачислят в штат, укажут рабочее место, да на том и закончат попечение о нем.

Такое, «потребительское» отношение к молодежи недопустимо. Долг руководителей и общественной предприятый — заботиться о молодежи, о повышении ее квалификации, о жилищно-бытовых ее условиях, долг руководителей — приучить к высокой культуре труда, к железной дисциплине и тем помочь юношам и девушкам стать достойными преемниками славных традиций русского рабочего класса.



На смену перешедшим на производство, в училища и школы вливаются все новые и новые сотни тысяч подростков. В дни войны, когда работа для Красной Армии стала самой высокой, самой почетной обязанностью каждого советского патриота, когда на службу фронту поставлены все производственные мощности нашего государства, ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО не только готовят новых рабочих, но в процессе учебы производят оборонную продукцию. «Чем больше мин, тем меньше фрицев», — написали на доске в своей мастерской учащиеся ленинградского ремесленного училища № 31.

Вот N-ское ремесленное училище. Ему доверено изготовление деталей взрывной машины, которая вселяла ужас в ряды немецких солдат. Деталей было много, и каждая группа их была тончайшим ответственным узелком. Все понимали серьезность заказа — и учащиеся и их руководители. Надо было обеспечить количество и качество фронтовой продукции в то же время не сломать учебный процесс.

Пошли первый поток деталей. Не обошлось без брака. Но с каждым днем отдел технического контроля возвращал на исправление все меньше деталей. Начали сдачу деталей военному представителю с десятков, перешли к сотням, потом счет пошел на тысячи.

Среди ремесленных училищ уж не осталось таких, которые не производят в ходе обучения молодежи оборонной продукции. Из мастерских училищ потекли на фронт сотни тысяч мин и снарядов, миллионы деталей различных видов вооружения и большое количество специальных инструментов для армейских мастерских.

Представители частей Красной Армии горячо благодарят учащихся за хорошую работу. Вот как отзывается военпред о работе ремесленного училища № 4 Ярославской области: «Ночью с передовых позиций в вагун подвижную артмастерскую привезят пулемет, у которого лопнул соединительный болт. Пу-

лемент вполне исправен, но без болта стрелять нельзя. А если запасных болтов в мастерской нет, пулемет будет лежать без пользы. Теперь таких случаев не будет, потому что вы нам сделали эти болты.

Спасибо вам, молодые товарищи! Если вы будете и дальше так работать, то я уверен, что наши новые звязки фронт получит в срок и хорошего качества. Мы на фронте бьем проклятых немцев, а вы здесь помогайте нам по мере своих молодых сил, и победа будет за нами!»

Многие юноши и девушки переписали на память это дружеское письмо фронтовика и с той поры трудились еще старательнее.

Когда остервенелый враг лез к Ростову, училища и школы ФЗО города работали для фронта день и ночь. Фронт приближался, основная масса учащихся была эвакуирована. Через город летели тяжелые снаряды советских артиллеристов, завязывались ожесточенные воздушные бои. Но оставшиеся учащиеся и рабочие не прекращали работу. Как можно было отказать бойцам, подвизавшим к училищам разбитые машины?

В ремесленном училище № 13 для ремонта автомобилей организовали специальный цех, приспособив для этого физкультурный зал. Среди оставшихся мастеров и учащихся были специалисты, умевшие делать поршневые кольца, перебирать рессоры, собирать моторы. Приступать к работе надо было осмотревшись — под сиденьями, вместе с шоферским инструментом, зачастую валялись гранаты, запалы, патроны. Затем взялись за ремонт танкеток-тягачей. Ремонт был сложен. Тягачи поступали грязно из огня, с поля боя. Порою они были как будто изжеваны: броня погнута, радиаторы побиты, моторы обгорели. Но вот закончен упорный труд, затянут последний болт, забит последний шплинт. Сколько было радости, когда безжизненные механизмы оживали и уходили, гремячей гусеницами, со двора училища снова на фронт.

В Москве на выставке «Комсомол в Отечественной войне» можно видеть некоторые из изделий училищ. Здесь спасательная лодка автоматического наполнения. Она принята в авиации Красной Армии. Лодка помещается в пакете высотой 10 сантиметров и может быть подготовлена летчиком к посадке на море в течение 6 секунд. Показаны изготовленные учащимися небьющиеся тарелки и кружки из пластмассы, складные стулья и койки для полевых госпиталей. Некоторые училища производят передвижные радиостанции, портативные типографские машины, бензослонки, парашюты, бинокли, стереоскопические трубы и т. д.

Не мало интересных радиоаматорских предложений родилось у юношей и девушек за станком, занятом оборонным заказом, работали и школьные мастера, проследя в жизнь ученические и свои предложения. О некоторых из них стоит рассказать.

В ниже-тагильском ремесленном училище шестнадцатилетний слесарь Альбион Рудин выполнил за смену 5025 процентов задания. Свой рекорд он поставил при следующих обстоятельствах. Сборочный цех завода, где учащиеся проходили производственную практику, чрезвычайно нуждался в одном виде деталей. Их требовалось очень много, и рабочие слесари задерживали сборщиков, не успевая

подавать детали. К изготовлению дефицитной детали привлекли и слесаря-практиканта Рудина. Ему дали задание — срочно обработать 1800 этих деталей.

— Если делать их так, как до сих пор было принято в цехе, — соображал Рудин, — резать заготовку дисковой пилой, вручную, напильником обрабатывать деталь и затем выгибать ручным прессом, то потребуются на выполнение задания больше 400 часов.

Рудину пришла в голову мысль приспособить для ускорения дела механический пресс. Результаты превзошли все ожидания. Перенесение основных операций по обработке детали на пресс, оснащенный придуманными Рудиным небольшими специальными приспособлениями, сократило время, потребное на одну деталь с 14 минут (по старой норме) до 31 секунды. К концу смены задание было выполнено. Мастер сообщил Рудину, что он сегодня сделал более 50 норм.

Немного позже учащийся свердловского ремесленного училища № 19 Борис Белоусов достиг еще более разительного производственного успеха. Он тоже применил оригинальное приспособление к станку и дал за смену 480 норм.



Как известно, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ получают в классах и мастерских лишь теоретические знания и начальные производственные навыки, после чего следует учебная заводская практика. Учащиеся школ ФЗО почти поголовно обучаются непосредственно на производстве.

Большой завод советской танковой промышленности получил правительственное задание* — переделать для фронта несколько сот машин, выпускавшихся здесь до войны, не нарушая работы главного конвейера. Задача была не из легких. Предстояло немедленно организовать на конвейере дополнительную смену, а свободных рабочих на заводе не было. Тогда и решили привлечь учащихся школ ФЗО. Первые три дня работа шла неровно, но затем дело двинулось. Машины одна за другой сходили с конвейера и грузились на платформы. Задание было выполнено в срок. С той поры молодежь сделалась постоянным участником производства.

Труд тысяч умелых, трудолюбивых рук учащихся-металлистов приложен к стальным птицам, на которых сталинские соколы бьют фашистских стервятников. Есть училища, где молодежь еще не закончив учебу, освоила весь процесс сборки боевых самолетов. Учащиеся ремесленного училища, размещенные в цехе № 5 Н-ского авиационного завода, самостоятельно собирают самолеты-истребители. Уже не один десяток эскадрилий «ястребков» смонтирован учащимися, но все они помнят, как строили первый самолет, как собрали вкладчину деньги и купив этот самолет, подарили Красной Армии.

Участие юношей и девушек в работе важнейших оборонных заводов воодушевляет их, придает новые силы, развивает благородные патристические чувства.

Большая группа учащихся изучает ответственные профессии в доменных, мартеновских

и прокатных цехах заводов черной и цветной металлургии.

Одним из передовых училищ страны является ремесленное училище металлургов № 13. Оно самостоятельно обслуживает десятки сложнейших агрегатов Магнитогорского комбината. За три года учебно-производственной деятельности учащиеся выплавляли 570 тысяч тонн чугуна, сварили более миллиона тонн стали и прокатали 580 тысяч тонн металла.

Молодежь с честью справилась с почетным заданием Государственного Комитета Оборон — помочь в расширении и пуске ряда важнейших электростанций. Многим, вероятно, запомнилось задорное, волюющее-искреннее выступление на всесоюзном радиомитинге учащегося школы ФЗО в Челябинской области Ивана Титарева. С большой гордостью он рассказывал:

«Когда мы пришли первый раз на строительство челябинской ТЭЦ, некоторые думали: «Еще неизвестно, как они будут работать». Но зато, когда мы первое же задание выполнили вместо 6 дней в 3 дня, нас признали настоящими строителями. Не скажу, что работать легко, привычка нужна. Сейчас мы в работу втянулись и вот уже три месяца планы перевыполняем.

Дали нам срочное задание — наружную стену поставить, — а тут мороз ударил сорок градусов. Откладывать дело никак нельзя. Ничего, ребята! Нам сказали: час работай, потом полчаса грейся; а многие ребята работали и по два часа подряд. «Быстрее, — говорят, — сделаем, на фронте тоже греться некогда: надо скорее немцев бить». Когда до верха добрались, вовсе трудно стало. Холодно, ветер. А все ж таки за восемь часов стена была готова, товарищи!»

Учащиеся славно поработали на девятнадцати, уже вошедших теперь в строй электростанциях и теплоцентралях.

В октябре 1943 года 20 тысяч лучших в труде и учебе юношей из ремесленных училищ и школ были направлены на восстановление нашего родного Донбасса.



Немалую помощь фронту, народному хозяйству оказывают учащиеся железнодорожных училищ, которые проходят обязательную стажировку в депо, на линии.

Группа учащихся электромонтеров мичуринского железнодорожного училища получила срочное задание — сделать электроосвещение в бронепоезде. Мастер депо Аманьев и практикант Скрылев работали по две-три смены без отдыха и выполнили задание на исходе третьих суток — вдвое быстрее, чем было приказано. Холодной февральской ночью Иван Скрылев за три часа восстановил электроосвещение на паровозе, пострадавшем от фашистской авиабомбы.

Во время производственной практики, особенно зимой, молодым железнодорожникам зачастую приходится сталкиваться с большими трудностями. Но они не охлаждают рвения молодежи, — наоборот, укрепляют волю и наполняют законной гордостью при победе. Помощник машиниста Александр Молотков из хабаровского училища заметил, что в котле его паровоза, шедшего с тяжело нагруженным составом, появилась течь предохранительных

трубок Паровозу грозила серьезная авария, но Молодков предотвратил крушение, найдя забив отверстие, несмотря на то, что вырвавшийся из трубок горячий пар обжигал ему лицо и руки.

Ремонтируя подвижной состав железных дорог, учащиеся понимают особую важность высококачественной работы, знают что выпускаемые ими из ремонта паровозы и вагоны повлекут тысячи людей, сотни тонн важных грузов.

— Разве на заводе нет настоящих рабочих? — недовольно спросил один из машинистов, когда ему сказали, что бригаде дают паровоз, отремонтированный учащимися муромского училища. Но тщательно осмотрев паровоз, машинист не заметил никаких изъянов.

— А ну, покажите мне мастеров, — сказал он наконец.

— Это мы, — отозвался один из подростков, давно наблюдавший с заметным волнением за действиями хмурого машиниста. — Разве неправильно сделали что-нибудь?

— Нет, нет, все хорошо! Здорово сработали, молодцы! — улыбувшись и сразу просветлев, ответил машинист и, тронув паровоз, дал протяжный приветственный свисток.

Любовно, по-отечески относятся к учащимся пожилые рабочие, охотно делятся с ними производственным опытом. На одном из заводов старый мастер-лекальщик Колесников по своей инициативе много занимался с молодежью У учащихся был свой мастер, но Колесников был опытнее, и он считал своим долгом кадрового рабочего познакомиться молодую смену со всеми тайнами лекального искусства. На Урале заводской поэт даже стихи сочинил о молодом стахановце-практиканте ремесленного училища Бакалейщикове:

Не беда, что ростом мал..
Разве в этом дело?
Он вчера три нормы дал
И даст четыре смело!

Молодежь, со своей стороны, стремится во всем подражать своим старшим товарищам — рабочей гвардии, хочет сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Молодые рабочие понимают, что этого требует от них советская родина, что это диктуется обстановкой войны.

Замечательно говорит воспитанница московского ремесленного училища № 4 Савельева о роли благородного труда советской молодежи:

«На огромных пространствах нашей родины кипит жаркая историческая битва. Вооруженные сыны советского народа, не шадя своей жизни отстаивают честь и свободу своей отчизны.

В этой жестокой борьбе почетное место занимает наша славная молодежь. За штурвалами боевых самолетов, на лихих конях, в окопах, в блиндажах, в партизанских отрядах, на кораблях и в орудийных расчетах — везде и всюду советская молодежь бесстрашно несет свою боевую задачу, беспощадно истребляет немецко-фашистских оккупантов.

Миллионы юношей и девушек стремятся быть достойными своих товарищей фронтовиков. Фронт находится не только там, где гремят пулеметы, орудия, — фронт у каждого

станка. Молодежь, работающая на производстве и в колхозах, все свои помыслы и дела подчиняет делу разгрома гитлеризма.

Если герой-воин, не раз смотревший смерти в лицо, спросит после войны своих товарищей, друзей — что вы сделали для фронта? — то молодые патриоты смогут с гордостью сказать: мы день и ночь ковали для тебя оружие, мы помогали истреблять врага...

Вот коротенькая справка к этому письму. За годы войны учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО добыли в ходе учебы:

3,5 миллиона тонн угля.

1 миллион тонн руды,

200 тысяч тонн нефти.

Отремонтировали:

60 тысяч железнодорожных вагонов,

6 тысяч паровозов,

2 тысячи тракторов.

Выстроили:

Сотни промышленных и жилых зданий,

300 морских и речных судов.

Стоимость изготовленной учащимися продукции — 4 миллиарда рублей.

Таким образом, огромный труд молодого поколения рабочего класса является существенным вкладом в героической борьбе нашего народа с немецкими захватчиками.

✧

Подготовкой государственных трудовых резервов занимается почти сотысячная армия работников. Ведущей фигурой среди них является мастер производственного обучения, таких насчитывается свыше 25 тысяч.

Мастер вводит учащихся в новую обстановку, прививает им производственные навыки, приучает их к производственной культуре.

Образный для училищ и школ многотысячный отряд квалифицированных рабочих — наставников молодежи принес в училищскую среду лучшие традиции рабочего класса. Сотни мастеров имеют за плечами не по одному десятку лет трудового стажа, являются знатоками своего дела.

«Свыше сорока лет назад я впервые пришел на производство, — рассказывает мастер группы ударно-квартного бурения комунрадской школы ФЗО Охмак. — За это время пришлось поработать на многих заводах и рудниках. Но, не преувеличивая, скажу, что никогда еще работа не приносила мне такого большого душевного удовлетворения, как та, которую я веду теперь. Я старый горняк и, конечно, имел некоторый опыт работы с молодежью, но, придя в школу ФЗО, скоро понял, что здесь от мастера требуется много. Привлеченные на учебу юноши и девушки так жадно хотят узнать все, что касается их профессии, что мне приходится основательно готовиться к занятиям, вспоминать и подбирать примеры из своей практики. Я старался дополнить обучение тем, что не всегда есть в книгах, что почерпнуто мною из собственного опыта».

За время войны среди мастеров значительно увеличилось число пожилых рабочих-пенсionеров, нашедших в обучении молодежи прекрасный путь служения родине в тяжелую годину. В Нижнем Тагиле будущий металлург пестует старейший, потомственный доменщик Урала Семен Семенович Дружинин. И дед, и отец его были горновыми, сам Семен Семено-

вич трудится без малого полвека. Сын Дружинина вырос из каталей до начальника смены на заводе имени Куйбышева. Семен Семенович подумывал о пенсии, но грянула война, и он пришел в школу ФЗО. Вместе с ним мастерами работают еще с десяток почетных металлургов, самый молодой из которых пробыл на заводе 20 лет.

Известный стахановец Фаустов растит группу кузнецов в горьковском ремесленном училище № 1. За выдающиеся заслуги в воспитании кадров награждены орденами Ленина москвич Анохин и мастер ремесленного училища в городе Куйбышеве — Буторни; высокие правительственные награды получили сотни других мастеров и преподавателей.

Во многих училищах и школах не редки теперь и мастера из числа учащихся, окончивших обучение. Их насчитывается уже свыше 5 тысяч человек.

Нелегкое для юноши дело освоиться с ролью руководителя команды и отвечать за работу группы наравне с теми, кто недавно были его учителями. Помощник мастера одного из ремесленных училищ города Томска Петр Ваганов густо покраснел, когда кто-то из группы обратился к нему:

— Петр Николаевич, разрешите задать вопрос..

Мастера Ваганова теперь по имени и отчеству зовут все, но тогда это было в первый раз.

Молодые мастера смело берутся за дело и с успехом справляются с ним. Учащийся Леонид Япрынцев был назначен мастером производственного обучения в отстающую группу токарей башкирского железнодорожного училища № 1. Япрынцев проявил незаурядные организаторские способности. Свою деятельность он начал с того, что собрал производственное совещание группы. Речь Япрынцева была коротка:

— Мы здорово подкачали, — сказал он, — из-за нас прежнего мастера спяли. Директор приказал мне руководить вами. Но если вы будете вести себя плохо, то и меня снимут, а это позор мне и вам.

Тут раздались возгласы:

— Что ты, Ленька, поддержи!

— Не Ленька, а товарищ мастер, — вскозметил Япрынцев.

Кадры молодых мастеров требуют большого внимания, им еще нужно много учиться. Поэтому так важна организация, по решению правительства, индустриальных техникумов трудовых резервов. Такие техникумы уже начали свою работу в Москве и ряде других городов. Они укомплектованы лучшими помощниками мастеров училищ и школ, отличниками учебы.

Перед войной в училищах и школах была введена должность заместителя директора по политической части, а в дни войны утверждены институт воспитателей, увеличено количество работников по военной подготовке учащихся. Таким образом, в училищах и школах сложился четкий учебный, воспитательный и административный аппарат.

Наличие в училищах и школах десятков тысяч квалифицированных мастеров, преподавателей, воспитателей и других работников явилось одной из предпосылок сохранения и в условиях войны необходимого уровня в учебно-производственной работе. Многие же

училища и школы сумели добиться значительного повышения качества подготовки рабочей молодежи.

В помощь преподавателям и учащимся издан ряд пособий. В большинстве училищ оборудованы кабинеты и лаборатории. Уфимское ремесленное училище организовало у себя электротехническую лабораторию по типу лаборатории энергетического института, оснащенную всеми необходимыми приборами и машинами. Учащиеся рязанского железнодорожного училища сами изготовили для кабинета физики весы, прибор Паскаля, прибор для демонстрации глубинного давления воды, отремонтировали гидравлический пресс.

Шире стали применяться различные наглядные пособия.

Конечно, многое еще не сделано, и еще недостаточно обобщается огромный практический опыт, нет единой методики трудового обучения.

Преподаватели и мастера нередко обращаются к трудам Макаренко, но ведь ремесленные училища и школы ФЗО имеют иной состав молодежи и другие задачи, чем описанные Макаренко.

Есть случаи, когда училища и школы наталкиваются на косность и деляческий подход к молодежи.

Встречаются руководители предприятий, которые склонны рассматривать практикантов училищ и школ ФЗО как подсобную рабочую силу для ликвидации всяческих «пробок» и прорывов, пытаются загружать работами, не соответствующими учебным программам. Этим товарищам надо понять, что деятельность училищ и школ государственных трудовых резервов имеет гораздо более глубокий смысл, чем удовлетворение текущих нужд отдельного предприятия. Училища и школы растят, формируют советского рабочего.

★

Училища и школы ФЗО готовят молодых промышленных рабочих — людей физического труда. Однако производственное обучение юношей и девушек — лишь часть задания. Большим делом является политическое воспитание и культурное развитие учащихся.

О подготовке и воспитании рабочей молодежи М. И. Калинин говорит следующее:

«Мы обязаны готовить молодых рабочих, хорошо знающих свою профессию, и в то же время готовить советских граждан, воинов, чтобы наша молодежь понимала свой долг перед родиной, более настойчиво и быстро овладевала производственной профессией..»

Говоря о воспитании, надо сказать, что практический подход к этому делу очень труден. Он требует большой квалификации от воспитателей... Сейчас система воспитания должна быть иная, чем это было, предположим, три года назад. Раньше мы воспитывали, если можно так выразиться, интеллигентов, а не людей физического труда. Я лично считаю такое воспитание неправильным, так как все-таки в нашем государстве основная масса населения занимается физическим трудом...

Сейчас может быть взят некоторый крен на укрепление физических сил, внедрение трудовых навыков, крен на воспитание привычек к перенесению всяких невзгод, что позволит провести нашу молодежь через цикл испытаний для того, чтобы закалить ее. Это

все равно как физическими упражнениями, всякого рода спортивными мероприятиями мы стремимся закалить физическую силу, так проведенном через суровую дисциплину и трудовые навыки мы должны закалить нашу молодежь, чтобы она легче переносила все трудности, которые могут встретиться каждому человеку на его жизненном пути».

Говоря о задачах политических руководителей системы трудовых резервов, Михаил Иванович подчеркнул их основную обязанность: «развивать у нашего молодого человека понимание того, что он является членом рабочего класса советского государства, что этот класс является руководящим классом в советском обществе, что он дает тон всей нашей жизни...»

Советское государство — государство рабочих и крестьян. В мире нет такого другого государства, и мы являемся его защитниками, его предшественниками. Вот такую пропаганду придется проводить изо дня в день нашим политическим руководителям».



В своей речи на съезде колхозников-ударников товарищ Сталин сказал: «Рабочие и крестьяне, без шума и треска строящие заводы и фабрики, шахты и железные дороги, колхозы и совхозы, создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь мир,— вот кто настоящие герои и творцы новой жизни». Сознательному советскому рабочему свойственно социалистическое отношение к своим обязанностям, революционная страсть и героизм в труде.

Училища и школы стремятся привить молодежи именно такое отношение к труду и учебе, любовь к своей профессии, выработать у них потребность в труде. Передовые мастера, воспитатели, помогают учащимся глубоко осмыслить великое значение производительного труда, как основы существования человеческого общества, раскрывают перед ними широкие горизонты роста в труде, показывают первостепенное значение нашей промышленности в войне, разъясняют молодежи ее место в работе советского тыла.

В училищах и школах подготавливаются рабочие более чем ста различных специальностей. Определение профессии для призываемых на учебу юношей и девушек зависит не только от их личных склонностей, но и от нужд важнейших отраслей народного хозяйства. Отчетливое понимание молодежью важности любой профессии, если в ней нуждается страна, объясняет полное согласие большинства учиться по предложенной специальности. Это совпадение личных желаний с потребностями государства показывает, что советская молодежь в своей массе состоит из людей, для которых нет ничего выше интересов родины.

Сотни тысяч учащихся, познакомившись со своими специальностями, сказали бы, если их спросить, то же самое, что заявил молодой судосборщик ленинградской школы ФЗО Орлов: «Я полюбил свою профессию, полюбил так, как может художник любить живопись. Я горжусь моей будущей специальностью, упорно изучаю ее и добьюсь, что стану судостроителем».

Правда, в первое время учебы, в предвоен-

ный период некоторая часть учащихся, особенно в шахтерских и строительных школах, была откровенно недовольна своими будущими профессиями. В этом отчасти сказывалась существовавшая ранее ориентация молодежи на профессии интеллигентного труда, о чем говорил товарищ М. И. Калинин. «Романтические» профессии поэта, артиста, пилота, путешественника хорошо и увлекательно раскрывались в художественной литературе, в кино. «Будничные» же, «обыденные» занятия каменщика или забойщика и присущая им своя романтика и увлекательность популяризировались несравненно слабее.

Один из партийных работников на Урале, рассказывая о воспитании молодых рабочих, правильно заметил: «Многие из нас сами набаловали своих детей, спрашивая их чуть ли не с пеленок: «Кем ты хочешь быть?», и восторгалась, когда получали ответ: «академиком», «балериной», и т. д. А сейчас дети подросли. Им приходится быть сталеварами, прокатчиками, горновыми. И грязно, и горячо, и тяжело».

Призванный в одну из московских школ ФЗО молодой паренек заявил директору: «Выхожу утром из дома,— голова тянет на стройку, а ноги — в бассейн». Юноща собиравшая стать профессиональным пловцом, а его призвали обучаться плотничному делу. Среди завезенных на учебу в крупные города из сел и деревень были подростки, никогда раньше не видевшие заводов, шахт, не умевшие даже ходить по городским улицам и соблюдать правила уличного движения.

Никому так не близко и не понятно великое значение труда, как рабочему классу. Даже полные несправедливости условия, в которых находились рабочие люди в царской России, не могли уничтожить в русском рабочем классе врожденной любви и уважения к труду, не могли осквернить свойственную настоящему рабочему свою рабочую честь.

Вспомним ремесленные училища прошлого. Обучение ремеслам, заводским профессиям велось в России с давних пор. Оно развивалось и ширилось одновременно с ростом русской промышленности. Тысячи юношей и девушек, в основном из деревень, поступали на фабрики и заводы в качестве учеников, постепенно приобретали квалификацию и становились через несколько лет промышленными рабочими.

Во второй половине XIX века в крупных городах и промышленных центрах страны начали возникать ремесленные школы, училища. Значительная часть их находилась в ведении так называемых приходских попечительств и существовали на средства благотворительных организаций и пожертвования филантропов.

В 1888 году в России было 88 ремесленных школ и низших технических училищ. В них обучалось несколько более 5000 человек.

Непрочность и крайняя скудость материальной базы препятствовала росту ремесленных школ. Ученики — дети рабочих и деревенской бедноты — плохо питались, жили в неблагоустроенных, антисанитарных общежитиях, многие собирали милостыню.

Определенного режима учебы и труда в школах не существовало. Пользуясь слабостью надзора, мастера и воспитатели зачастую заставляли подростков работать по 15—16 часов в сутки. Прежде чем получить квалифи-

кацию, ученик принимал немало обид, порою терпел издевательства: редко кому из них удавалось избежать телесных наказаний.

И все же, при всем несовершенстве, лучшие ремесленные училища пользовались определенной популярностью среди трудящихся, так как они давали знания ремесла; окончившие училища скорее находили работу на заводе.

Но училищ было мало. За принятых детей требовалось вносить плату, что было не под силу низкооплачиваемым или многодетным родителям. Поэтому большинство подростков, которые по малолетству еще не могли поступить учениками на завод, шли в «мальчижи» к содержателям мелких мастерских.

Трудно было ученикам на заводах, в ремесленных училищах, но в мастерских наука давалась еще тяжелее. Хозяева нещадно эксплуатировали детский труд, оплачивая его нищенским кормом и кое-какой одеждой. К бесплатным «мальчижкам» широко применялась знаменитая в то время система ремесленного воспитания — «воспитание от руки».

Глеб Успенский в «Нравах Растеряевой улицы» описал подобное учение:

«Был я у мальчика одного знакомого, он у мастера работал — «Иди, — говорит, — к нам»... Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет — откуда что возьмется... замле! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру... Никуда больше не пойду!»... Отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому, чтобы поближе к своим... Радуюсь я, думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней порошинки. Только что же случилось? Как я был изумлен, когда три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступа не получил, потому, собственно, что был он, этот станок пропит. Ужаснулся я в то время! Бедность была некрытая, истинно ни кола, ни двора, ни куриного пера. Вся избежка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было. Стал я об таком ученьи удивляться, отыскал ребят, — было у нас учеников трое, — говорю: Что же, ребяташки, когда это ученье будет?

Хозяин себя через свое безголовье до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся: ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же так же через слабость свою домой не доносил... Под конец входил квартальный: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж мы все в ноги валимся; тут народу копошится страсть! Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-ается! То есть, не то, что работой можно это назвать, а именно ужас какой-то всех в это время охватывал. Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то уж, господь его знает, доставал он инструменты и так-то принимался орудовать ими, что уж нашему брату только впору глаза вытарашить, не только для себя замечать... В этом запале нам в мастерскую нос показать опасно было. «Прочь, — кричит, — черти! Так промежду ног суются. Пррррр, пррррр, пррррр!»

Огромное упорство, неистощимая любознательность нужны были для того, чтобы перенести эти мытарства и стать мастерам. Таков был путь тысяч и тысяч рабочих — отцов и матерей наших учащихся.

★

Советская власть, большевистская партия много дали молодому поколению нашей страны. Поэтому неудивительно, что протесты отдельных учащихся против «будничных» профессий быстро пошли на убыль, и молодежь горячо и с любовью взялась за освоение новых специальностей.

Вот характерный пример. В группу забойщиков одной из школ ФЗО в Донбассе был зачислен молодой колхозник Николай Бидусенко. Вначале у него, как и у многих, не все ладилось. Без привычки, без опыта рубать уголь было трудно. Мастер производственного обучения, кадровый шахтер, подбадривал молодежь, объясняя, что трудно бывает лишь до той поры, пока не научишься, не освоишь дело, рассказывал, как сам он стал мастером угля. В январе 1941 года в школу приехал Алексей Стаханов. Бидусенко много слышал и читал о знаменитом шахтере. На вечере Бидусенко, не сводя глаз со Стаханова, слушал его рассказ о замечательной профессии забойщика, о значении угольной промышленности для советской страны.

Встреча со Стахановым произвела на подростка неизгладимое впечатление. За несколько месяцев учебы Бидусенко сроднился с шахтой, проникся уважением к умным горняцким механизмам — отбойному молотку, врубовой машине. Юноша стал перевыполнять нормы кадровых шахтеров.

Весть об успехах молодого забойщика разнеслась среди горняков. Имя Бидусенко появилось в центральных газетах. Окончив школу и перейдя на самостоятельную работу, молодой стахановец выполнял норму на 600—700 процентов, зарабатывая по 250—300 рублей за смену.

В своей юношеской работе «Размышления юноши при выборе профессии» Маркс писал: «Тот, кто избрал профессию, которую высоко ценит, тот побойтся оказаться недостойным ее».

Но для того, чтобы оценить профессию, надо ее узнать не на словах, и даже не только на практической «пробе», которая обычно мало увлекательна и приносит больше ссадин на руке от неумелого удара молотком, чем удовольствия; профессию надо познать и понять ее горизонты. Ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО оказались такими учебными заведениями, которые, приобщая молодежь к индустриальному труду, к ритму городской жизни, раскрывали перед учащимися широкие перспективы, ободряя их, воодушевляя на преодоление трудностей, прививая вкус к полезному физическому труду, к «будничным» профессиям. Учащиеся, в массе своей высоко оценили свои профессии и не захотели оказаться недостойными их.

Вот что пишет призванный в школу ФЗО при одном из металлургических заводов Василий Батулин:

«Мы приехали вечером. Огромный завод, на котором нам предстояло учиться и работать, шумел, грохотал и весь горел огнями. Он казался похожим на великана, о котором мне не раз приходилось читать в книгах. Доменные печи, заводские корпуса были такие большие, что человек совсем терялся среди них, и его даже и видно не было.

Я мечтал сделаться доменщиком и сам просил, чтобы меня приняли в школу ФЗО, но в этот момент мне, вдруг захотелось домой, в колхоз, в нашу деревню Андрушино...

На следующее утро, когда мы хорошо выспались и отдохнули в нашем общежитии, настроение у нас было уже другое, и завод нам показался совсем не таким грозным, как ночью.

Но робость еще оставалась. Наш мастер, комсомолец Евдоким Дергачев привел нас к доменной печи и стал рассказывать, как она работает. Мы слушали и, подняв головы, рассматривали дому. Вдруг раздался сильный шум и грохот. Ребята не знали, что это выпускается нагретый воздух из кауперов, и решил, что домна разорвалась и всех сейчас залетит на месте расплавленный чугун. Они бросились наутек и разбежались во все стороны без оглядки. На месте остался один мастер. Он стоял около домы и хохотал. Мы осмелели и вернулись обратно.

Через несколько месяцев учащиеся сами начали смеяться над своим страхом и поняли, что на металлургическом заводе огня бояться не нужно, но нужна строгая дисциплина, что здесь без этого не ступишь и шагу; молодежь многому научилась, и один из будущих металлургов вскоре заявил, что он с огромной долей обращается почти так же уверенно, как в деревне его мать со своей русской печью.



В годы войны советская молодежь своими замечательными делами доказала, что она с величайшим подъемом и гордостью принимает участие в большом и сложном труде нашего народа, направленном на разгром врага.— «Когда не выполнишь норму, то стыдно людям в глаза смотреть»,— этими простыми словами выразила отношение подавляющего большинства молодежи к учебе и работе учащаяся железнодорожного училища № 5 Куйбышевской области Гарбузова. Примеры подлинного патриотизма, комсомольского задора, юношеской пылкости подают десятки тысяч учащихся.

Но это отнюдь не исключает необходимости вести среди молодежи повседневную работу. Тем более, что наряду с отличниками есть и недисциплинированные учащиеся, есть отстающие в освоении производственных навыков, причем некоторые из них отчетливо даже не представляют связи результатов своей учебы и труда с войной, с фронтом.

Сотни фактов, взятых из жизни училищ и школ, показывают, что ранее невнимательные, небрежные в учебе юноши и девушки становятся примерными, передовыми рабочими, поняв, что от их умения, от количества и качества изготавливаемых ими деталей зависит жизнь и успех бойцов. Поняв это, любой подросток забывает о проказах и стремится все усилия приложить, чтобы не допустить брака, чтобы не снизить выпуск столь важных деталей, не будет хныкать, если иной раз ему и нелегко добиться этого.

В железнодорожном училище № 2 Московской области один учащийся ушел с работы раньше времени и увел с собой из депо несколько товарищей. Срок выпуска из ремонта двух вагонов был сорван. Воспитатель училища Селихова решила на первый раз не при-

бегать к взысканиям. Она запросто, «по душам» побеседовала с подростками:

— Сколько боеприпасов можно погрузить в два вагона? — спросила она у них.

Ей ответили.

— А сколько бойцов перевезти в этих вагонах?

И это подсчитали.

— Так вот.— сказала Селихова,— из-за того, что мы сегодня преждевременно оставили работу, на боевом участке фронта нехватало снарядов и бойцов и немцы заняли какое-то село. Какво-то теперь там нашим людям? А кто в этом виноват?

Беседа взволновала учащихся. Уже на другой вечер они вбежали к Селиховой с радостными лицами, восклицая:

— Два села заняли!

И, видя недоумение воспитателя, пояснили: — Это мы два села заняли! Четыре вагона отремонтировали сегодня!

За время войны дисциплина в училищах и школах повысилась, но борьба за ее дальнейшее укрепление все еще является одной из важнейших задач.

Среди тех, кто нарушает дисциплину и кого порой приходится исключать из училища или школы, несомненно есть и трудновоспитуемые подростки, но среди них нет неисправимых.

Конечно, не легкое дело воспитать человека, но основной состав учащихся представляет прекрасный материал для воспитания из них хороших рабочих и граждан любящих труд и родину, сознательных и страстных участников исторической борьбы нашего народа. Нужно только повседневно, ежечасно развивать и укреплять эти заложенные в юношах и девушках качества.



Воспитателям молодых рабочих приходится иметь дело не с детьми, но и не со взрослыми людьми. Методы, пригодные в общеобразовательных школах, и методы работы со взрослыми одинаково не подходят целиком к училищам и школам трудовых резервов. Здесь приходится сочетать ласку и бережность, с какой нужно относиться к подросткам, с твердостью и требовательностью, необходимыми для воспитания в юноше, девушке качеств советского рабочего. Особенно ответственна роль воспитателей в школах ФЗО, где срок обучения вчетверо короче, чем в училищах, а задачи лишь немногим меньше.

Необходимо помнить, что голое администрирование таит в себе большую опасность, оно может парализовать формирование волевых качеств характера подростков.

Руководители училищ и школ должны быть строгими по отношению к учащимся. Но быть строгим — это не значит раздавать направо и налево наряды, выговоры и т. д. Быть требовательным и строгим — это значит не оставлять без внимания ни одного случая нарушения дисциплины и порядка. Неправильно, кое-как уложены инструменты в ящик — заставить, товарищ мастер, уложить их как следует. Деталь сделана небрежно — потребуйте переделки. Прошел мимо вас, товарищ директор, учащийся, не сняв фуражки, — верните его и научите, как нужно здороваться со старшими и начальниками.

Решительно нужно отклонять и метод полагая. Каждый мастер производственного

обучения, каждый руководитель должен понять, что нет ничего более разлагающего дисциплину, как потакание дурным привычкам. Не пренебрегай пуговица, вырван «мясом» хлястик в шинели — это мелочь. Но если на нее не обращать внимания, то неряха будет и со станком обращаться так же небрежно, как с собственной одеждой.

В училищах и школах должен властвовать дух той строгой боевой подтянутости, которой проникнут труд всего советского народа. Надо организовать повсеместно отпор со стороны самих учащихся нарушителям порядка, бездельникам, хулиганам и добиться того, чтобы каждый юноша, каждая девушка боролись за честь училища и школы, как за свою собственную.

Существенным элементом воспитания молодежи является воспитание навыков культурной организации труда. Мастера и другие работники училищ и школ, естественно, знакомят своих питомцев с передовыми стахановскими методами социалистического производства, подсаживают наиболее рациональную организацию рабочего места, приучают бережно относиться к доверенным им станкам, машинам, стремятся равнять у учащихся технически сознательный подход к работе, вкус к рационализации.

Но, видимо, это делается не всегда и не везде, так как в ряде училищ и школ на рабочих местах, в организации труда все еще много неурядиц: грязь, инструмент разбросан где попало, шкафов, тумбочек нет, тиски разболтаны, верстаки не по росту учащимся. Любая «мелочь», поскольку она касается чистоты и порядка на рабочем месте, должна быть взята на учет в подготовке рабочих.

Училище, школа — начало большой жизни для юношества, преддверие цеха завода, фабрики. Если в школе не приучать молодежь к производственной дисциплине, то и рабочие из них выйдут плохие. Заводскому коллективу придется подтягивать людей, которым в училище безнаказанно сходили и неряшливость в работе, и опоздания, и невыполнение заданий.

В училищах и школах ФЗО не обходятся вопросы этики и морали. Здесь обучаются подростки четырнадцати-шестнадцати лет, т. е. того переходного возраста, когда перед юношей или девушкой встают вопросы поведения в социалистическом обществе. Нужно умело и неустанно воспитывать в учащихся правильное понимание дружбы, товарищества, воспитывать уважение к старшим, к женщине.

Отдельные факты неправильных поступков учащихся послужили кое-где поводом для «бывальцев к огульному охаиванию молодежи из ремесленных училищ и школ ФЗО. К худой славе о них как о хулиганах и нарушителях общественного порядка. Эту, по существу, антисоветскую болтовню надо пресекать в корне. Наша прекрасная советская молодежь добьется железной дисциплины в своей среде.

★

Прекрасным средством воспитания является социалистическое соревнование, широко распространенное в училищах и школах.

Получить в конце недели, месяца переходящее Красное знамя лучшей группы — это стремление большинства молодежи. Учащиеся высоко ценят и дорожат званием передовиков соревнования. При получении переходящего Красного знамени мастер лучшей слесарной группы ремесленного училища № 33 Горьковской области, Шиповников сказал: «Сорок лет тому назад я проводил массовку в Сормове вместе с П. А. Заломовым. У нас тоже было тогда Красное знамя, и мы высоко держали его. Я даю слово от всей нашей группы, что мы не только закрепим уже достигнутые нам результаты, но и добьемся дальнейшего улучшения работы».

Государственный Комитет Оборона учредил три переходящих Красных знамени для победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании училищ и школ ФЗО. Впервые — в июне 1942 года — эти почетные знамена были вручены ремесленному училищу № 3 Московской области, железнодорожному училищу № 2 Башкирской АССР и школе ФЗО № 7 Ленинграда. В течение 1942—44 гг. около 200 училищ и школ завоевали в социалистическом соревновании первые, вторые и третьи места. Более 5 тысяч учащихся и работников училищ и школ награждены значком «Отличник государственных трудовых резервов».

В ходе соревнования выдвинулись сотни и тысячи новых отличников учебы, новых двухсотников и трехсотников — стахановцев военного времени. Вот молодой токарь куйбышевского ремесленного училища № 5 Василий Дига. Еще в начале 1942 года стены коридора в училище были увешаны плакатами, в которых упоминалось его имя: «Работайте так, как стахановец Дига!» Призыв не остался без ответа. Вскоре в училище были уже десятки юношей и девушек, вступивших в соревнование с Василием Дигой и перевыполнивших задания по выпуску продукции для фронта. Президиум наградило вожака молодежи Дига медалью «За трудовое отличие». А училище охватило большой производственный подъем.

Через год, накануне выпуска, Василий Дига сказал:

— Я скоро заканчиваю учебу, сейчас выполняю работу пятого разряда, много нужных вещей сделал для фронта. А все же и меня обогнали! Смотрите, — добавляет он, показывая на список фамилий, — вот Черемин Виктор — это из нашей группы. Он большие способности проявил, выдвинут мастером. А как же иначе? Целый год мы с ним соревновались, друг друга тянули вперед!

Учащиеся знают, что они являются членами одной семьи советских людей, людьми с общими интересами. Поэтому в соревновании каждый из них, стремясь добиться наилучших успехов, в то же время радуется, когда рядом идут его товарищи.

Огромный энтузиазм вызывает у молодежи победное наступление Красной Армии. В десятках и сотнях училищ и школ учащиеся встают на стахановские вахты в честь знаменых боевых дивизий, несущих на своих знаменах названия советских городов, отвоеванных у врага. И всякий раз, когда в Москве грохочут пушки, салютующие победителям фрон-

та, молодежь тыла отвечает салютам своими юбедами у станков.

Успехи, достигнутые в ходе всесоюзного социалистического соревнования, еще значительно возрастут, когда будут устранены недочеты в руководстве соревнованием. Соревнование на количество высоких отметок по успеваемости в теоретических предметах уже прекращено, но в ряде училищ и школ все еще не изжит формализм, погоня за «стоцентными показателями», боязнь показать плохую сторону дела. Не прикрашивать действительность, а с помощью социалистического соревнования поднять всю учебно-производственную и воспитательную работу на более высокую ступень, подтянуть отсталые училища и школы — вот основная задача.

Производственное и политическое воспитание молодых рабочих — это единая, важная задача. Вся советская молодежь и, конечно, учащиеся училищ и школ трудовых резервов стремятся познать великое учение Ленина — Сталина о построении и защите нового социалистического общества в нашей стране, живо интересуются международным положением, политической и хозяйственной жизнью страны, хотят быть в курсе всех событий на фронте, любят все, что помогает им глубже и подробнее узнать историю России, боевые традиции рабочего класса.

Испытанным средством политического воспитания является прежде всего большевистское слово. В училищах и школах проводятся лекции и доклады о текущем моменте, о ходе отечественной войны, о бесстрашных сынах советского народа, прославившихся в боях с фашизмом, о задачах советского тыла, о героических предках русского народа — Суворове, Кутузове, Александре Невском. Во многих учебно-производственных группах устраивается читка сообщений Совинформбюро, политические информации и беседы. Зачастую эту работу ведут среди своих же товарищей учащиеся-агитаторы.

Миллионы людей смотрели величественный кинофильм «Ленинград в борьбе». Учащиеся ремесленных училищ и школ города вместе со всеми ленинградцами с честью прошли сквозь все испытания. Из промерзших обжиганий, порой поврежденных вражеским артиллерийским обстрелом, юноши и девушки, одетые в потерянные шинели, пробирались в свои училища.

Им было трудно, труднее чем взрослым. Но у них доставало силы воли удержать мальчишескую слезу, когда уж очень дожимали недоедание и холод.

По вечерам около самодельной железной печки, растопленной с трудом добытыми дровами, завязывались беседы. Кто-нибудь негромко убеждал загрустившего товарища, горячо осуждал допущенную кем-то из них на улице копейную обменную операцию, поднимал на смех грязнулю. Читали газеты, которые, казалось, пахли порохом. Здесь задушевные или гневные слова глубоко заявляли в душу. А в день 24 годовщины Красной Армии руководители ленинградских училищ и школ устроили для молодежи праздничный вечер: учащиеся собрались в бывшем ресторане «Золотой якорь», где их встретила музыка, в официантах-

кля в белых передниках подавали обед особенно сладким.

В практике училищ и школ возникли новые интересные формы массовой политической работы. Прежде всего следует назвать организацию докладов и бесед о традициях русского рабочего класса, об истории возникновения старейших русских заводов. Инициатором этого прекрасного начинания явился свердловское ремесленное училище № 3.

Прошлым летом в большинстве промышленных городов состоялись конференции отличников училищ и школ трудовых резервов. Конференциям предшествовали общие собрания учащихся для выборов делегатов. Мандат на конференцию получали лучшие из лучших. В связи с этим молодежь всесторонне оценивала учебную, производственную и общественную работу каждого юноши, девушки.

На конференциях учащиеся-делегаты делились опытом работы, рассказали о своих достижениях. Обсудили деятельность училищ и школ, причем подметили многое, что ускользало до этого от внимания руководителей. Молодые ораторы выступали от души, показав глубокое понимание задач, поставленных перед ними родиной. По возвращении делегаты выступили в училищах и школах с отчетами. Все это превратило конференции в хорошую школу политического и производственного воспитания молодежи.

★

Не приходится скрывать, что во многих школах политико-воспитательная работа поставлена еще плохо. Военная обстановка требует усиленного внимания к политическому воспитанию. Эта работа не терпит кампанейщины и должна проводиться повседневно, охватывая всю массу учащихся. Есть еще училища, школы, где лекции, доклады, беседы — редкое явление. К тому же проводятся они бессистемно, строятся сухо и скучно, без учета особенностей и возраста аудитории. В одном из ремесленных училищ Чкаловской области заместитель директора училища по политчасти разясняла учащимся... основы философии Гегеля.

Не все работники трудовых резервов умеют нащупать основное в политической работе. На беседе в Кремле один из таких товарищей мельком упомянул, что во время вражеского авианалета у них пострадало крупное ремесленное училище, и что учащиеся, хотя и не пострадали, но разбежались из училища.

М. И. Калинин прервал его и попросил рассказать об этом инциденте поподробнее. Сказать, что сделали руководители училища в связи с таким поведением учащихся. Вот стенограмма этого интересного момента беседы:

«Тов. Буш у е в (работник управления трудовых резервов). Прежде всего мы рассказали, что эта бомбежка нужна Гитлеру, как и вся война. Подробно рассказали учащимся, что нужно своими силами восстановить училище, что мы обязаны готовить кадры для промышленности.

Тов. Калинин. Эх, вы! Да разве так делают? Надо было собрать ребят и сказать им: «Ах вы, трусые! Вы бежали, какие же вы защитники? Ваши отцы борются с фаши-

стами, а вы разбегаетесь по деревьям. Мы-то думали, что вы будете спасти училище, а вы убежали, какие же вы храбрцы?»

Вот с чего нужно было начинать.

Тов. Бушуев. Мы когда по деревьям послали работников училища, разъясняли об этом учащимся.

Тов. Калинин. В училище надо было разъяснять. Так и надо было сказать им: «Труссы вы опозорились на всю Россию, один самолет налетел, и вы разбежались».

Вель к ребятам надо подходить, как к ребятам. Если бы я был директором училища, то я им сказал бы: «Вот так ловко получается, что я один здесь остался, а вы все разбежались. Ведь мы думали, что вы храбрые парни, хотели вам винтовки, пулеметы дать, а вы в бегах. Я вот теперь и думаю, стоит ли училище для вас открывать, что же мне здесь трусов учить, которые при первой опасности убегают?»

Вот как нужно было пристыдить ребят, а потом уже сказать им: «Давите, чтобы нам безопасно было, построим щели, подготовим все на случай бомбежки».

Ребята испугались конечно, и разбежались, но ведь каждому из них хочется быть храбрым, ручаясь, что из сотни — девяносто девять хотят быть храбрыми.

Вам надо готовить ребят, а устыдить их легко. Вы могли бы это сделать, если бы сказали так, примерно, как я: «Вы убежали, а я один, старик, остался, вы меня не поддержали». Тогда бы это их устыдило и заставило подумывать над своим поступком. Вот какая должна быть агитация.

А если остались, скажем, три девушки, то их надо было выдвинуть, сказать: «Вот трое храбрых осталось, а остальные убежали». А вы разразились митинговой речью, общие слова говорили, а самый коренной факт упустили, а в нем-то и политика. И так в каждом деле!»

Год спустя учащимся этого же города вновь пришлось испытать последствия налета фашистских стервятников. Но указания М. И. Калинина не прошли для них даром, они вели себя уже иначе. После первого в тот год налета кое-кто из учащихся тоже начал было собирать мешки, решив уйти из училища. Но никто не ушел. Руководители управления трудовых резервов собрали военрук, замполитов училищ, секретарей комсомольских организаций определили каждому его место в создавшейся обстановке, продумали, что нужно сделать, чтобы остановить людей и навести порядок по училищам. Руководящие работники находились все время вместе с учениками. В результате сами учащиеся на своих собраниях осуждали тех, кто задумал бежать. По всем училищам была прочитана благодарность Главного управления трудовых резервов отличившимся во время вражеского авианалета. Жизнь и работа училищ продолжалась, несмотря на то, что налеты повторялись. Образцы стойкости и выдержки в эти тревожные дни показали учащиеся, эвакуированные из Ленинграда.

Исключительное влияние на ход и содержание всей воспитательной работы училищ и школ оказывают комсомольские организации. Комсомол сплачивает молодежь, формирует ее политическое мировоззрение, просвещает ее,

готовит в ряды партии. Комсомол в училищах и школах ФЗО стал большой силой.

По мосту через Москва-реку проходил взвод учащихся ремесленного училища. Завидов идущего навстречу майора Красной Армии, командир взвода Десяткин подает команду:

— Строевым шагом!

Группа подтягивается. Четкий, печатный шаг, энергичный взмах руки, строевая выправка.

— Смирно! Равнение налево,— командует Десяткин, когда майор, идущий по левой от группы стороне, сблизился с взводом.

Майор отдает честь группе и здоровается. — Здравствуйте!— как один, под левую ногу, громко отвечают на приветствие учащиеся.

— Молодцы ребята! Хорошо идете!— похвалил майор.

— Служим Советскому Союзу!— еще дружнее откликнулся взвод.

Похвала боевого офицера относилась к группе учащихся московского ремесленного училища № 40, возвращавшейся домой из десятикилометрового перехода.

Военно-физическая подготовка является одной из важнейших задач воспитания учащихся. В обстановке великой отечественной войны училища и школы готовят не просто молодых рабочих, но людей, способных защищать свою родину, умеющих драться с врагом и побеждать его.

Училищами и школами проведена большая работа по военному обучению учащихся. Уже не одна сотня тысяч юношей закончила Всевобуч и сдала положенные испытания, а многие получили более глубокие военные знания и изучили пулемет, миномет, автомат, саперное дело, научились водить танк, пользоваться парашютом.

Недавно председатель наградной комиссии Центрального Совета Осоавиахим и маршал Советского Союза товарищ С. М. Буденный вручил почетные грамоты учащимся московского ордена трудового Красного знамени ремесленного училища № 28 Гурину и Чумоватову, которые не только сами стали снайперами, но и обучали искусству сверхметкой стрельбы сто свих товарищей.

Придавая большое значение военному обучению и физической подготовке молодежи, правительство вело в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО начальную военную подготовку по специальным программам в объеме сокращенной подготовки одиночного бойца, а для девушек — по программе санитарных дружинниц. Кроме этого, организовано быстро приобретающее популярность добровольное спортивное общество «Трудовые резервы».

Помимо военных занятий, которые входят в учебный план, молодежь с большим интересом участвует в массовых возникнованных играх и походах. Например, ремесленное училище № 1 в городе Горьком провело военно-тактическую игру с высадкой «морского десанта».

Многогранный комплекс военно-физкультурных знаний и навыков помогает воспитанию физически закаленных и выносливых рабочих — граждан и бойцов. Училища и школы могут давать не только рабочих для предпри-

ятий, но и десятки новых дивизий для Красной Армии.

Закончив сталинградскую школу ФЗО, молодой рабочий Сергеев, как бы от лица всех тех тысяч юношей и девушек, что выходят из училищ и школ в жизнь, выразил благодарность отчизне за науку в следующем пламенном письме:

«Родина! Нет ничего выше, дороже тебя! Во имя отчизны на широких просторах от Черного моря до Ледовитого океана лучшие твои сыны ведут смертельный бой с ненавистным захватчиком.

Священная Отечественная война с варварами двадцатого века требует от каждого патриота: отдай все свои силы, знания, жизнь на разгром врага.

Сердце каждого молодого человека советской страны бьется в такт с сердцем тех, кто смертью своей завоевывает жизнь для нас и будущих поколений социализма.

Родина дала мне в руки станок. Она обучила меня грамоте, выковала из меня человека. Я — стахановец. Моя выработка — две нормы в смену. Этим я укрепляю фронт. Но, находясь в тылу, я серьезно готовлюсь к боям. 110-часовую программу Всевожуба сдал на отлично. Я знаю винтовку, пулемет, гранату, меня изучили технике боя. Мною прочитаны замечательные книги о русских полководцах. Я разбираю боевые эпизоды Отечественной войны и запоминаю в них то, что может пригодиться мне в будущем.

Мы растем среди бури, мы живем в грозную, но великую пору.

Мы дети Ленина, современники Сталина, должны быть достойными их и уметь служить отечеству, народу так, как служат наши вожди, наши отцы и старшие братья.

Мои товарищи по группе учились и работали, не считаясь со временем, они также отлично окончили школу: это надо для нашей победы.

Мы готовы к труду. Мы готовы в бой. Если родина позовет нас, мы с радостью ответим:

«Готовы грудью постоять за честь, свободу и счастье Советского Союза!»

Сегодня рабочий — завтра боец Красной Армии. Поэтому военная учеба должна стать святой обязанностью, законом для каждого молодого человека. Располагая станочным и иным оборудованием, училища и школы могут полностью обеспечить себя всем необходимым военным имуществом, в частности лыжами, оборудованием спортгородков и площадок. Учить надо только тому, что нужно на войне, вести занятия как правило на открытой местности в естественных условиях «боя». Надо провести молодежь через цикл испытаний и всесторонне подготовить ее к вооруженной защите своей страны.

★

Часть бывших учащихся, достигших восемнадцатилетнего возраста, ныне уже сражается на фронтах. Многие из них в бою, как и в учебе, показали образцы доблести и мужества, они награждены орденами и медалями, некоторые уже произведены в офицеры, некоторым присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

В условиях прифронтовой полосы учащиеся

приходилось порою применять военные знания еще до окончания учебы, до призыва в армию. Молодежь вместе со взрослыми участвовала в противовоздушной и наземной обороне от врага заводов, городов, проявляя находчивость, отвагу, мужество.

Участвовать в боях довелось, конечно, лишь незначительной части учащихся. Но у многих велик интерес ко всему, что связано с военным делом; настоящий советский юноша, советская девушка мечтают в годы войны о воинских подвигах. Поэтому с исключительным вниманием слушают учащиеся рассказы бывалых фронтовиков об их ратных делах.

Учащиеся крепко дружат с фронтом. Десятки училищ и школ, сотни и тысячи учащихся ведут групповую и индивидуальную переписку с бойцами и командирами. Задушевные письма сопровождают не только посылки с подарками, но и ящики со снарядами, изготовленными для фронта руками молодежи.

Самый горячий отклик нашли среди учащихся и работников трудовых резервов всенародное движение по сбору средств на вооружение для Красной Армии. В короткий срок из личных средств молодежи было собрано 20 миллионов рублей. Многие из учащихся вносили свой двух-трехмесячный заработок. Слесарь-паровозник ташкентского железнодорожного училища узбек Иргаш Сайдалиев внес на постройку танковой колонны все свои сбережения — 1 650 рублей — и получил приветственную телеграмму от товарища Сталина. Благодарность вождя получили также многие особенно отличившиеся в сборе средств училища и школы.

На средства, собранные молодежью, построены десятки тяжелых танков, три торпедных катера на Черном море и полк истребителей, все под названием «Трудовые резервы — фронту». Передавали подарок Красной Армии сами учащиеся. Надо было видеть, какое впечатление производила на молодежь процедура торжественной передачи боевых машин!

Связь с фронтом, всемерная помощь защитникам родины и их семьям увеличивает еще более любовь молодежи к Красной Армии, порождает благородное стремление быть в тылу достойными наших доблестных воинов.

★

Воспитание советского молодого человека предполагает его высокую культурность и разностороннюю образованность. Это необходимо и для молодой породы рабочего класса.

В ряде училищ и школ проводятся лекции, внешкольные занятия, экскурсии по вопросам истории развития человеческого общества и культуры, естествознания, географии.

В училищах и школах любят художественную литературу.

Доходчивым и гибким средством воспитания, повышения культуры учащихся является художественная самодеятельность. Проводимые время от времени смотры выявили в училищах и школах десятки замечательных самодеятельных коллективов, сотни одаренных певцов, рассказчиков, танцоров, музыкантов, художников, поэтов. В октябре — ноябре текущего года в Большом театре Союза ССР и других лучших театрах столицы с успехом прошел 2-й всесоюзный показ самодеятельного твор-

чества учащихся школ и училищ трудовых резервов.

Самодетельность наполняет интересным содержанием досуг учащихся. М. И. Калинин спросил у работника Тульского управления трудовых резервов:

— Скажите, вечеринки, танцы у вас бывают?

Ему ответили, что устраиваются вечера отдыха.

— А просто вечеринки?— повторил Михаил Иванович и разъяснил:

— Почему я спросил у вас о танцах? Я... не хочу, чтобы вы из ребят искусственно делали стариков... Не надо избегать танцев, потому что они учат людей пластике движений. Человек, умеющий танцевать, и в комнату войдет как следует, и повернется ловко. Наша молодежь любит танцы. Я это чувствую по той молодежи, которую встречаю, а раз люди любят, то нет необходимости искусственно тормозить. Нужно только следить, чтобы это не превращалось в постоянное времяпрепровождение, а чтобы пляска была отдыхом».

Молодежь училищ и школ трудовых резервов предъявляет большой счет писателям, артистам, художникам, композиторам, работникам кинематографии. Со всей непосредственностью, свойственной юности, молодежь воспринимает жизнь. Дело творческих работников — помочь ей средствами искусства научиться правильно разбираться в жизненных явлениях, ярче чувствовать красоту жизни, величие дела, творимого советским народом.

Молодежь училищ и школ хочет, конечно, чтобы о них написали хорошие повести, очерки, пьесы, кинофильмы, песни.

Сами работники многих училищ и школ еще крайне недостаточно заботятся о том, чтобы культурно-просветительная работа среди учащихся протекала интересно, разнообразно. На эту сторону дела необходимо им обратить самое серьезное внимание. Ведь помимо большого образовательного значения, библиотеки, клубы, кружки художественной самодеятельности, театр скажут серьезную помощь в производственной учебе, в отвлечении учащихся от улицы. Молодежь сильнее привяжется к училищу, школе, если там она получит не только знания ремесла, но будет расти культурно.

★

Руководителям училищ и школ надо серьезно позаботиться о том, чтобы привить учащимся навыки самообслуживания. Во время пребывания в училище и школе молодежь на-

ходится на государственном обеспечении, но это не значит, что ее следует отстранять от всякой заботы в общежитии. Наоборот, надо воспитывать людей, которые умеют делать все сами, людей, умеющих владеть вещами и командовать ими. Молодежь сама видит, какое жалкое чувство вызывает человек, который перед каждым пустяком становится в тупик, не умеет обойтись в личном быту без посторонней помощи и живет неуютно, неряшливо и растерянно.

Вот характерный штрих: в коридорах общежития ярославского училища энергетиков непроглядная темень, не было света. А в красном уголке день и ночь горели две электролампы. Выключить их нельзя: испорчен выключатель. И это в училище энергетиков. На производстве учащиеся выполняют куда более сложные работы, а у себя дома их никто не натолкнул, что исправить выключатель можно самим.

Наряду с этим больше внимания надо уделять и организации бытового устройства учащихся. В одних училищах и школах в общежитиях уютно и чисто, в столовых учащихся ждет сытный обед, есть где починить ботинки, но немало и таких училищ, где директора и их заместители по политчасти считают зазорным для себя заниматься банями, сушилкой, починкой белья и т. п. В грязном, растрепанном учащемся, как в кривом зеркале, отражаются деловые и политические качества руководителя училища, школы.

Уже прошедшие через училища и школы миллионы юношей и девушек показали на деле, что советская молодежь ловка и способна в труде, как и во всем, за что берется наша замечательная смена. Но задачи, поставленные перед системой государственных трудовых резервов, ответственны и разнообразны. Необходимо, чтобы все лучшее, полезное, что рождается на практической работе отдельных школ и училищ, распространялось повсеместно. Надо так поставить дело, чтобы о каждом ремесленном училище и школе ФЗО окончившие учебу юноши и девушки с благодарностью вспоминали всю жизнь.

— Товарищ Сталин — говорит М. И. Калинин, — неоднократно подчеркивал, что мы не можем относиться безразлично к тому, как у нас пополняется рабочий класс. Мы хотим, чтобы туда шла лучшая часть нашего населения, чтобы в политическом и интеллектуальном отношении рабочий класс в советском обществе стоял высоко.

Забота о профессиональном, политическом и моральном облике нового поколения рабочего класса — большая государственная задача. Ей обеспечена помощь партии, правительства, всего советского народа.

Джон Б. Пристли и война¹

Нетрудно понять причины успеха новых романов Пристли у нашего читателя

Джон Б. Пристли — один из немногих действительно крупных романистов Запада, живо откликнувшихся на события войны. В то время как Олдос Хаксли, Ричард Олдингтон, У. Оден и ряд других видных английских литераторов в дни величайших исторических потрясений так и не нашли, что сказать читателю, Пристли ощутил войну, против гитлеровской Германии, как свое кровное дело, и поставил на службу этому делу свой выдающийся дар художника и публициста.

Оба последних романа Пристли интересны не только реалистическим изображением быта современной Англии, но и острой постановкой проблем, волнующих народы Европы.

Книги Пристли существенно отличаются от некоторых зарубежных романов военного времени, уже ставших известными у нас. Говоря о силах, способных противостоять фашизму и уничтожить его, Пристли не оперирует одним только абстрактным, нерасчлененным понятием «народ». Он стремится показать реальное соотношение и взаимодействие тех различных слоев, из которых этот народ состоит.

Само собой понятно, что романы Пристли проникнуты ненавистью к гитлеровской Германии. Но ненависть эта, иного качества, иначе мотивирована, чем, например, ненависть мистера Бантинга из популярного романа Роберта Гринвуда.

Для мистера Бантинга смысл войны укладывается в формулу «империя против гуннов». Он не желает перемен в существующем порядке: по его мнению, «и старый порядок был неплох».

По мысли самого Гринвуда, источник стойкости и мужества многих и многих Бантингов перед лицом войны именно в их приверженности к «старому порядку».

Гемфри Нейленд, герой романа Пристли «Затемнение в Гретли», иначе понимает происходящее. Он убежден, что «нельзя превращать нынешнюю войну допущу в новое издание прошлой войны, ибо она не лезет в эти рамки». По его мнению, «настоящая война ведется между теми, кто верит в простого человека и любит его, и теми, кто верит только в фашистские идеи». Он сознает, что фашизм во всех его разновидностях органически враждебен «простому человеку». Война ведется во имя разгрома фашизма и в то же время во имя того, «чтобы простой народ имел шанс в жизни».

По мысли Пристли, источник стойкости и мужества многих и многих Нейлендов перед лицом войны — именно в их стремлении к лучшему, более справедливому устройству

жизни, именно в их надежде, что разгром фашистской Германии улучшит положение «простого народа».

Интерес и симпатии к низам, к трудовому люду были присущи Пристли и до войны. Об этом свидетельствует хотя бы его известный у нас роман «Они бродят по городу», — бесхитростное и трогательное повествование о судьбе двух молодых провинциалов, тщатно ищущих счастья в неприветливой столице. Но в годы войны, когда столь усилилась гражданская, патриотическая струя в творчестве Пристли, — окрепли в то же время и его демократические устремления. Защита «простого народа», ненависть к социальному злу звучат в его последних романах яснее, решительнее, чем в его довоенном творчестве.

В «Затемнении в Гретли» конкретным носителем зла выступает полковник Тарлингтон, крупный промышленный делец и консервативный политический деятель, постоянный оратор патриотических митингов и тайный гитлеровский агент. Пристли с большим тактом, исподволь, подготавливает нас к разоблачению Тарлингтона, заставляя читателя убеждаться, что именно антипатия Тарлингтона к рабочему движению и левым партиям в конечном счете привела его в лагерь не только врагов демократии, но и врагов Англии. Профашистская, предагельская деятельность Тарлингтона — естественное следствие его антидемократических убеждений.

Большая заслуга Пристли, что он первый в западной художественной литературе сделал попытку показать социально-политическое лицо «квислингов», ставящихся подорвать изнутри дело Объединенных наций.

Пристли уложил свое «повествование о военном времени» в традиционную сюжетную схему детективного романа. Преследовались ли им при этом художественно-экспериментальные цели? Диктовался ли выбор жанра желанием сделать роман наиболее доходчивым для массового читателя? Второе предположение вероятнее. Так или иначе, стремление художника поставить актуальные жизненные проблемы в рамках романа-детектива обусловило собою не только многие достоинства «Затемнения в Гретли», но и слабые его стороны.

Повествуя о том, как инженер Нейленд по поручению английской контрразведки ищет шпиона, выдающего противнику секреты военного производства в Гретли, — Пристли обнаруживает большое мастерство ведения интриги, удачно сочетает занимательность и правдоподобие, непрерывно держит читателя в напряжении, заставляя и его вместе с Нейлендом ломать голову над вопросом: «Кто шпион?» Тем самым он достигает большого художественного эффекта, когда, поведав повествование через ряд искусно подготовленных неожиданностей, срывает маску с Тар-

¹ Джон Б. Пристли, Затемнение в Гретли. М. Гослитиздат. 1944.

Дневной свет в субботу. М. Гослитиздат. 1944. №№ 1—2 и 3.

лиштона в момент, когда читатель еще не догадается, но уже готов убедиться в естественности именно такой развязки.

Однако читатель «Затемнения в Гретли» больше заинтересовывается внешним ходом событий, нежели внутренним его смыслом. В романе много персонажей; они очерчены с немалым ослороумием, но все-таки очень бегло. Эта беглость рисунка присуща даже центральным героям книги.

Мы не очень много узнаем о самом Гемфри Нейленде, чья находчивость и присутствие духа неоднократно восхищает нас. Да и полковник Тарлингтон предстает перед нами в несколько схематичном, неполном изображении. Автор словно торопится расстаться с ним, как раз в момент, когда его личность начинает по-настоящему приковывать к себе интерес читателя. Самоубийством Тарлингтона кладется конец миссии Нейленда. Шпион найден — и обезвредил сам себя. Но ведь Тарлингтон не одинок. Будут ли найдены, будут ли обезврежены не только его подручные, но и — что гораздо труднее — и его покровители? Автор, развязав фабульные узлы, оставляет этот вопрос без ответа. Он ограничивает свою задачу разоблачением одного шпиона, правда, крупного и по-своему типичного. И после того, как эта задача разрешена, обличительный пафос романа заметно ослабевает.

Гораздо выше по своему идейному и художественному уровню роман «Дневной свет в субботу». Здесь речь идет не столько о событиях, сколько о людях. До сих пор мастерство Пристли-романиста и драматурга обнаруживалось больше всего в его умении строить фабулу; на этот раз художник проявил большое искусство в воплощении разнообразных человеческих характеров. Рабочие, инженеры, руководители крупного авиационного завода предстают перед нами, как живые, со своими мыслями, чувствами, причудами, заботами, надеждами. Художник сочетает показ людей в действии, в процессе труда — с раскрытием их внутренней, интимной жизни.

«Дневной свет в субботу» и «Затемнение в Гретли» весьма различны по своей художественной структуре — но между обоими романами существует тесная идейно-тематическая связь. Образ затемненного города, дрожащий через первый роман, имеет несомненное символическое значение. Борьба Нейленда против гитлеровской агентуры в Гретли — это борьба против сил реакции, повергших Европу в потемки войны. Отсюда естественный переход к теме второго романа. Работники Элмдаунского авиационного завода начинают свой трудовой день, когда еще темно, и возвращаются домой поздно вечером. Только в последний день недели, когда работа кончается раньше, видят они дневной свет по которому так стосковались. Надеждой на «дневной свет в субботу» оправдано напряжение рабочей недели; надеждой на лучшую жизнь в будущем оправдано напряжение войны. В сознании трудящихся военного завода смутно шевелится мысль, что их тяжелая работа столь действительно необходимая стране в тревожные дни войны, даст им право на более радостную жизнь, чем та, какой они пользовались в довоенное время.

«Это — силовая станция страны, — говорят

автор от имени своих героев. — Отнимите у нее эти чертежные, эти инструментальные цехи, длинные ряды машин, этих рабочих, занятых сборкой самолетов, — и через какие-нибудь десять дней по вашим спинам будет гулять кнут. Никакие армии храбрых, хорошо обученных солдат, готовых ринуться на встречу смерти, никакие знамена, национальные гимны и патриотические речи не могут спасти сейчас ни один народ в мире. Без таких заводов он обречен на гибель или порабощение. А эти заводы — сила. Не будь их, мы бы не выжили в нынешней войне, да и после войны вряд ли сможем без них существовать. Но нам еще неизвестно, на кого будет работать эта сила! Мы можем только надеяться, ждать дневного света в субботу».

Какое будущее ждет трудящихся Англии после войны? Терон Пристли много размышляют об этом. Два старика при виде новичка-подростка спрашивают себя:

«Что-то он увидит в жизни, когда вырастет?»

— «Одного, во всяком случае, он не увидит, — сказал Томас мрачно. — Никакие Чемберлены тогда не будут ездить в гости ни к каким Гитлерам...»

Далеко не у всех рабочих Элмдаунского завода ненависть к гитлеризму и его союзникам в разных странах Европы принимает столь ясные и сознательные очертания, как у старого пролетария Томаса. Но во всем коллективе и в каждом из его членов поразному живет большая тоска по радостному, выпрямленному существованию, свободному от гнета и нужды. Это чувство, живущее в массах, прекрасно раскрывается, например, в следующем эпизоде романа.

Происходит концерт в рабочей столовой, во время обеденного перерыва. Артисты-команда Долли и Дан, немолодые и не очень талантливые, вначале смущены при встрече с непривычной для них аудиторией. Но собравшаяся в столовой масса утомленных людей, стосковавшихся по веселью, влжжняет их. Народ здесь славный. Отличный народ. Они заслуживают, чтобы мы для них старались изо всех сил... Между артистами и публикой быстро устанавливается контакт. И Пристли следующим образом передает коллективные эмоции собравшихся: «Люди становились как-то добрее. Казалось, здесь встала какая-то ганиственная надежда, о которой не говорилось, о которой не думали, в которой даже не отдавали себе отчета, но которая постоянно жила где-то в глубине сознания, — вера в окончательное освобождение человека. Никто в огромном зале не создавал этого, но где-то под той поверхностью мозга, из которой исходили эти шутки над нелепостью нашей жизни, где-то в глубоких тайниках души почти все чувствовали это — и оно подкрепляло, обновляло силы...»

«Вера в окончательное освобождение человека», стремление к большому, настоящему счастью — эти чувства хорошо знакомы нам, советским людям.

«И ради этого счастья и чудесной нашей жизни, которую мы создавали, мы выдержим все чудовищные муки и будем биться до конца беспощадно» — Так пишет в повести Ф. Гладкова «Клятва» Лиза Шаронова, работающая на одном из ленинградских заводов

в тяжкие дни блокады. Такое понимание своего долга типично для советского человека, у которого стремление к тому, чтобы вернуть отнятое войной счастье, претворяется в высокий боевой или трудовой героизм, помогающий преодолевать опасности и лишения.

У большинства героев Пристли мы не найдем такого отношения к труду.

Мне пришлось слышать разговор о романе Пристли в одной из московских библиотек. Молодая читательница, возвращая роман библиотекарю, отозвалась о нем так: «Очень хорошо, интересно написано. Только мне кажется, что не все тут правдоподобно. Например: девушка работала продавщицей в модном магазине, потом пошла на завод, получила квалификацию. Ей хочется вернуться с завода в магазин. И это — в военное время! Ну, разве может так быть...»

Советская читательница, исходя из привычных для нее критериев и норм поведения, не поверила в жизненную убедительность Джойс Дирхерст — девушки из модного магазина, тяготящейся своей работой на авиационном заводе. А, однако, это — один из наиболее удачных образов романа Пристли. Художник вполне правдиво показывает, как милая, скромная Джойс добросовестно выполняет порученные ей несложные операции у сложного станка, все время чувствует себя не по себе, не на месте. Работа на заводе лишена для нее внутреннего смысла. Она относится к этой работе, как к неизбежному и тягостному бременю — не иначе.

В романе дано понять, что известный холодок, безразличие в отношении Джойс к заводу вытекает не только из ее личных свойств, не только из ее душевной хрупкости, тяготения к уюту и «князьской» жизни. Подобный же холодок проскальзывает и в речах и поступках других рабочих.

Одна из работниц завода говорит о своих коллегах: «Беда в том, что никто не старается воодушевить их по-настоящему. У большинства жизнь очень унылая и, естественно, что они пали духом». Так же оценивает настроение рабочих и главный инженер Эрлик: «То они нездоровы, то несчастные случаи. Почему? Потому, что им тошно, вот почему».

В чем тут дело? В трудностях военного времени? Это не так. Знакомая с повседневным бытом английских рабочих, тщательно и задумчиво воспроизведенным в романе Пристли, мы убеждаемся, что Джойс Дирхерст и Нелли Диттон иногда склонны вздыхать по поводу шума в цехе или неудобного маршрута автобуса им и не снились те весьма реальные жизненные трудности, которые хорошо известны Лизе Шароной и ее подругам.

Действие «Дневного света в субботу» происходит в момент затишья на фронтах войны в Европе. По репликам Эрлика и других персонажей можно судить, что и это обстоятельство влияет на настроение заводского коллектива. «Когда на фронте все ни с места, — говорит Эрлик, — и людям кажется, что война никогда не кончится, они невольно расхлябываются...» Эрлик предсказывает, что возобновление активных военных действий вызовет трудовой подъем на заводе. И предсказание его оправдывается при первых же успехах Восьмой армии в Африке.

Очень интересен и показателен эпизод романа, где на собрании рабочих оратор упомина-

ет о стойкости защитников Сталинграда. «Тут ему помешал продолжать бурный взрыв аплодисментов. Огмор стучал кулаками по столу и тепал ногами, у него даже выступили на глазах слезы при упоминании о любимой России. Да и громадное большинство остальных рабочих в первый и единственный раз во время этой речи дрябляли истинное воодушевление. Упоминание о непобедимой рабочей республике, видно, затронуло в них струну, которой не затрагивали никакие другие ссылки оратора, и вызвало мощный взрыв чувств, слишком редко находивших себе выход...»

Но если большинство рабочих Эймдаунского завода лишь изредка и на время способно испытывать «истинное воодушевление», то на заводе есть и отдельные люди, в которых постоянно горит творческий огонек, которые отдают работе не только свои физические, но и свои душевные силы. Таков прежде всего коммунист Берг Огмор.

Пристли отнюдь не склонен идеализировать Огмора. Напротив, он весьма резко акцентирует его недостатки: отсутствие такта и гибкости в подходе к товарищам, грубоватую прямолинейность мышления. Больше того: характеризует Огмора чаще всего через восприятие работающей с ним простодушной девушки Нелли, писатель бывает несправедлив к нему, выдавая представление малоразвитой молодой работницы о коммунисте — за полновесное лицо этого коммуниста. Например, Нелли кажется, что его трудовой энтузиазм обусловлен только желанием, чтобы завод выпускал больше самолетов в помощь России». Девушка даже тайне думает, что Огмор и дома с женой «говорит только о России». И это представление Нелли создает некоторую отчужденность между ней и Огмором: он кажется ей человеком, живущим в кругу совершенно иных традиций и интересов, чем все его товарищи. Ей, да и, пожалуй, самому Пристли, не очень ясно, что, будучи идейным, преданным коммунистом, Огмор не может не быть патриотом своей страны, — не только верным другом СССР, но и верным сыном Англии. Эта сторона мировоззрения английского коммуниста в романе мало освещена, и это делает его характеристику, по меньшей мере, неполной.

Но характеристика Огмора, поскольку она дана через его поступки, верна в основном и решающем. Он образцовый производственник, работающий со вкусом, с душой, не жалея сил. И такое отношение к труду вытекает именно из его политических взглядов. Недаром заместитель директора Блэндфорд, весьма далекий от того, чтобы симпатизировать коммунистам, уважает деловые качества Огмора и признает, что он, как и его товарищи по партии, принадлежит к числу лучших людей на заводе.

Если Огмор, несмотря на свою трудовую доблесть, все же отпугивает читателя своим суровым характером, то его друг, Гвен Оклей, обязательна и как человек. В ней много тепла, чуткости, бодрости, внутренней силы. Подобно Огмору, она живет интересами завода, работает, не щадя себя. Но характерно, что Пристли несколько раз подчеркивает ее несходство с большинством женщин на заводе. «Такая, как Гвен, чувствовала бы себя в России, как рыба в воде... Гвен была именно такая, какой казалась: настоящий дельный механик и хороший товарищ». Умная, энер-

гичная работница, хороший товарищ — все это, по мысли английского писателя, более обычно в русской женщине, чем в западной...

Так или иначе, Огмор и Гвен — не правила, а исключение. Как правило, у рабочих Элмдаунского завода любовное и творческое отношение к труду возникает лишь вспышками, не надолго. Более часты и продолжительны периоды, когда им «тошно» и плач не выполняется. Это обстоятельство сильно беспокоит руководителей завода и вызывает у них разногласия. Отсюда вырастает конфликт, лежащий в основе сюжета романа.

Два ведущих инженера завода, Элрик и Блэндфорд, враждуют между собой. Тут нечто большее, чем просто личная антипатия: валицо непримиримая противоположность убеждений.

Эта противоположность сказывается уже в их методах работы. «Элрик, бывший рабочий от станка, выдвинувшийся благодаря кипучей энергии, умел подойти к рабочим; он понимал их, так как в глубине души оставался человеком их среды». Иное дело Блэндфорд, имеющий близких родственников в обеих палатах парламента. «Работал он великолепно — в тех случаях, когда ему приходилось разрешать проблемы на бумаге и иметь дело с машинами, а не с живыми людьми».

Для Блэндфорда руководство заводом — это, прежде всего, техническая проблема. Элрик же подходит к своему делу, прежде всего, со стороны морально-политической.

Элрику ясны причины невысокой производительности труда, причины усталости и апатии, нередко овладевающих рабочими. Он знает: рабочие подчас сомневаются в том, что окончание войны принесет реальное улучшение их жизни.

Элрик беслощадно строг к прогульщикам, к недобросовестным работникам. Он сам не бережет своих сил и требует того же от других. Но его строгость продиктована, прежде всего, его преданностью народу. Он согласен с массой рабочих в одном, в главном: настоящая цель и смысл войны — в завоевании счастья для «простых людей». Следовательно, — думает он, — надо прежде всего выиграть войну.

Иначе настроен Блэндфорд. Ему нет дела до судьбы «простых людей». Правда, и он по-своему хочет победы Англии над гитлеровской Германией. Но главным результатом этой победы представляется ему укрепление «социальной иерархии», создание новой сильной касты власть имущих. «В нашей промышленности уже образовалась своя аристократия... Когда она объединится с более старыми, более резко определившимися группами, и в том числе, конечно, с победителями, увенчанными медалями, у нас будет такой правящий класс, какого мы не видели со времени Ватерлоо. И тогда чернь признает его настоящим, и прекратится эта дурацкая болтовня о демократии».

Один из рабочих завода говорит о Блэндфорде: «он без пяти минут фашист». Политическое кредо Блэндфорда, сформулированное им в минуту откровенности, подтверждает верность этого определения. Перед нами — воинствующий реакционер, принципиальный враг демократии, враг тем более опасный, что выступает в обличье патриота.

Искренен ли Блэндфорд в своем патриотизме, в своем желании содействовать победе?

Истинная сущность Блэндфорда удачно оттенена в романе эпизодической фигурой его друга и родственника лорда Бриксена. Лорд выступает на заводе перед рабочими. Он и есть тот оратор, чье упоминание о Сталинграде вызвало взрыв восторга у слушателей. «Лорд Бриксен не замедлил отнести этот энтузиазм на свой счет и следующие несколько минут ораторствовал в таком духе, что можно было подумать, будто он в свое время брел по снегу с противотанковым ружьем... На самом же деле он в течение нескольких лет делал все, чтобы помешать правдивым сведениям о России дойти до английского народа; он ежился при одной мысли о возможности соглашения с Советским Союзом, поощряя фашистов, рассчитывая, что они восстанут между ним и страшным большевизмом, и в конце июня 1941 года один из первых заявил, что Красная Армия продержится каких-нибудь полтора месяца, не больше... Возможно, что его милость искренно переменял мнение под влиянием последних событий, но он ни словом не упомянул об этом в своей речи».

У читателя, естественно, создается впечатление, что искренность Блэндфорда не более высокого качества, чем искренность лорда Бриксена. Оба они схожи и по политическим взглядам, и по моральному облику.

Бесспорно и другое сходство: Блэндфорд некоторыми существенными чертами напоминает полковника Гарлингтона из «Затемнения в Гретгли». Та же внешняя корректность и респектабельность, та же презрение к «черни», та же активная неприязнь к левым партиям, та же деспотическое высокомерие в обращении с низшими, та же склонность ставить интересы касты выше интересов народа.

Правда, Блэндфорд в момент действия романа не является предателем. Но у читателя нет уверенности, что он при подходящих условиях не станет им...

Если Пристли в «Затемнении в Гретгли» раскрыл социальное лицо шпiona-профачиста, то в «Дневном свете в субботу» он в лице Блэндфорда и Бриксена показал те новые, сложные и гибкие формы, которые принимает реакция в условиях войны, показал ту среду, в недрах которой могут вырасти новые разновидности фашизма.

Однако сам Пристли не делает такого вывода. Напротив, к концу романа конфликт Элрик — Блэндфорд разветвляется и разрешается в совершенно неожиданном направлении.

На протяжении всего романа Элрик — искренний в словах и поступках, самоотверженный в труде, до конца преданный своему делу — вызывает к себе живейшие симпатии читателя. Мы на стороне Элрика, когда он, волнуясь и горячась, спорит с Блэндфордом о методах организации труда и подхода к рабочим. Мы на стороне Элрика, когда он с обычной своей резкостью высказывает неприятные истины приехавшим на завод чиновникам из министерства. И мы тем более на его стороне, когда он, содрогаясь от трудно скрываемого возмущения, демонстративно уходит с собрания во время речи лорда Бриксена. Глубоко привлекательно в Элрике его прямоту, его постоянное внутреннее горе-

ние, — столь резко контрастирующие с аристократической холодностью чопорного Блэндфорда.

Читатель не вправе сетовать, что Блэндфорд в заключение одерживает верх, становится директором завода и добивается через своих друзей из министерства увольнения Элрика: такая ситуация вполне правдоподобна. Мы не можем требовать от романиста, чтобы добродетель в конце обязательно торжествовала. Но мы могли бы ждать, что за Элриком останется, по крайней мере, моральная победа. Однако события оборачиваются не так.

Мы видели выше, что Пристли успешно сочетает характеристику людей в действии — с показом их личной внутренней жизни. Так поступает он и по отношению к Элрику. Но здесь романисту отчасти изменяет чувство меры. Он чересчур увлекается характеристикой «изнутри», привносит в мотивировку поступков Элрика значительный элемент сексуальной латентности.

Он пространно, многократно рассказывает читателю об интимных невзгодах своего героя, его семейной драме, о его мучительном чувстве одиночества и связанной с ним неразборчивости в увлечениях. Все это до поры до времени не нарушает цельности образа Элрика. Но когда автор в одной из заключительных глав заставляя Элрика в припадке пьяного отчаяния грубо приставать к поправившейся ему работнице Джойс Дирхерст, тут уже пропорция света и тени резко меняются. Авторитет Элрика на заводе серьезно поколеблен; мнение Блэндфорда о нем, как человеке неуравновешенном и ненадежном, получило наглядное подкрепление. Даже друзья Элрика не могут теперь оспаривать правильности решения министерства о его снятии с работы. Так Пристли обрекает своего героя, на моральное поражение.

Автор, повидимому, сам не очень удовлетворен таким концом. Вслед за одной мелодраматической неожиданностью он вводит другую: Элрик заступает за молодую девушку, на которую напал помешанный рабочий Огоньер, он вступает в драку со Стоуньером в цехе, около сложной машины, пушенной в ход, и погибает от увечий, нанесенных ему этой машиной. Если оскорбление, которое Элрик нанеся Джойс, восстановило против него даже его сторонников, его смерть мирит с ним даже его врагов. Но у читателя остается некоторое чувство досады от искусственности всей этой развязки и от того, что Блэндфорд все-таки одержал победу, и при том легкую.

Почему же Пристли, столь мастерски раскрывший лицо Блэндфорда, в конце романа

все же так щадит его. Мы кое-что узнаем о этом из размышлений мистера Чевнота — директора завода, который впоследствии, получив повышение, уступает свое место Блэндфорду. Чевнот в известной мере выступает посетителем взглядов самого автора.

В лице Чевнота изображен честный английский промышленник, которого война заставила по-новому взглянуть на многое. Он сознает себя кровно связанным с армией не только потому, что у него сын на фронте, но и потому, что он ощущает войну, как общенародное дело, чувствует на себе долю вины за события последних лет. «Что мы делали, как могли допустить то, что сейчас творится! Наши дети были еще школьниками, когда мы уверяли друг друга, что Гитлер не замышляет ничего дурного, а теперь они вынуждены отдавать жизнь за нас:.. Есть машины, которые я сам лично купил в Германии за какие-нибудь полгода до войны. А мы продавали немцам паровозы и готовы были продать все то, что у нас имелось. Выгодная торговля! Хорошие сделки!.. Почему я не предвидел всего того, что надвигалось, почему не всгал на дыбы, не завыл!..»

Чевнот со всей искренностью ставит благо Англии и ее народа выше выгодной торговли и хороших сделок. В этом смысле он легко находит общий язык с Элриком. Но он в то же время уважает Блэндфорда, как энергичного инженера, который по-своему поделен для «военных усилий». И, передавая дела своему преемнику, он выражает надежду, что Блэндфорд на посту директора изменит некоторые свои привычки, научится проще и теплее относиться к людям. Чевнот думает, что именно в этом дело. Он не видит той потенциальной опасности, которая заложена в деяниях типа Блэндфорда. Видит ли ее Пристли?

Чевнот рисует неясный, но привлекательный образ послевоенной Англии. Он решает, что он никогда не даст себя подкупить «Тем, кто наверху», что он всегда будет душой со своими рабочими, что он постарается «помочь народу выбраться» к лучшей жизни. Действительность, однако, сложнее, чем она выглядит в мечтах мистера Чевнота.

Оба романа Пристли сильнее и значительнее по своему материалу, чем по своим выводам. В обоих романах художник ставит больше вопросов, чем он в состоянии разрешить. Но он раскрыл перед нами новые стороны английской действительности военного времени; он заставил нас задуматься над насущными вопросами не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

А это уже очень много.

I. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СИМОНОВ К. От Черного до Баренцова моря. Записки военного корреспондента. Книга третья. М. «Советский писатель». 1944. 308 стр. Цена 5 р. 25 к.

Тема наиболее значительных рассказов и очерков книги («Второй вариант», «Третье лето», «Зрелость», «Сын Аксины Ивановны» и «Трое суток») — воспитание в огне войны мастеров советского офицера. Герои — офицеры, воюющие с первых дней войны. Они прошли все ее испытания, достигли командирской зрелости и стали подлинными мастерами вождения войск.

Примыкает по теме к основным вещам книги и рассказ «Восьмое ранение» — о бывалом артиллеристе, для которого «жизнь без армии уже давно незаметно перестала существовать» и очерк «Парамон Самсонович», дающий живописный образ старого казака, ветерана трех войн.

Место действия третьей книги военных очерков и рассказов К. Симонова: Северо-Кавказский, Южный, Центральный, Западный и Карельский фронты, время действия: январь — август 1943 года.

* * *

КОСТЫЛЕВ В. Иван Грозный. (Москва в походе.) Роман. М. Гослитиздат, 1944. 375 стр. Цена 12 р.

В романе изображается русское государство в тот, наиболее блестящий период царствования Ивана IV, когда он, после покорения Казани и Астрахани начал ливонскую войну против прибалтийских немцев, продолжавшуюся почти до последних дней его жизни. Перед читателем проходят виднейшие деятели того времени: сам грозный царь; его первая жена Анастасия Романовна; члены Избранной рады — князь Курбский, протопоп Сильвестр и Алексей Адашев, совместно с которыми Иван до 1560 года правил государством; двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич, и его мать, княгиня Евфросиния, вокруг которых группировалось реакционное боярство и княжата; приближенные Ивана: Василий Грязной, Басманов и другие. Основными героями романа, наряду с историческими лицами, являются беглые холопы Герасим и Андрейка и мордовская девушка Охима, приходящие к царю с жалобой на боярина Колычева и на няжегородского воеводу. Исторически правдиво обрисовано автором отношение Ивана к жалобщикам: он внимательно их выслушивает, разговаривает с ними ласково, но все же за побег из вотчины велит смердов наказывать ба-

тежом, «чтоб не бегали самовольно из поместьев, не чинили непослушание господам».

Андрея царь посылает работать на Пушечный двор, Охиму — на Печатный двор к Ивану Федорову, Герасима — в порубежную стражу у ливонской границы. Такое построение сюжета позволило В. Костылеву много-сторонне обрисовать те мероприятия, которые Иван Грозный предпринимал для укрепления своей державы. С особым интересом читаются сценарии, посвященные Пушечному двору, где русские мастера создавали собственную артиллерию, уже тогда отличавшуюся своими высокими качествами.

Возникновение ливонской войны и первые этапы борьбы Московского государства против ливонских рыцарей широко и выпукло показаны в романе. Четко выявлены причины войны, вызванной наглой и высокомерной политикой немцев, беззастенчиво нарушавших свои договоры с Москвой. В ряде эпизодов показаны разгром Ливонского ордена войсками Ивана, занятие Нарвы и Дерпта, получившего вновь свое прежнее русское название — Юрьев.

В изображаемый в романе период борьба Ивана с княжатами и боярством все более и более разгоралась. Костылев описывает, как враги царя доходят до прямой измены Москве. Роман заканчивается смертью царицы Анастасии и разрывом Ивана с Избранной радой.

Советские писатели за последние годы дали ряд произведений об Иване Грозном. Роман В. Костылева занимает среди них заметное место.

* * *

СКОСЫРЕВ П. Фархад. М. «Советский писатель». 1944. 154 стр. Цена 3 р.

В своей повести Скосырев довольно строго следует сюжету поэмы великого узбекского писателя XV века Алишера Навои «Фархад и Ширин».

Рассказ о любви Фархада к прекрасной армянской царевне Ширин мы встречаем еще в поэме «Хосров и Ширин» Низами и в поэмах его подражателей. Но в поэме Навои Фархад приобрел совершенно новые, а главное не обычные для литературного героя XV века черты. У Навои царевич Фархад не только идеальный образ любящего, не только мученик любви. Сам чудесный строитель и мастер, он выше всего почитает в других людях знание, умение. С глубоким уважением и любовью обращается он к человеку тяжелого труда. «Едва ли можно сомневаться в том, что в образ Фархада Навои вложил целый ряд своих собственных черт — и свой величайший гуманизм, и ненависть к насильно и гнету, и любовь к искусству и ремеслам, и неутолимую жажду знания» (Е. Бертельс).

Книга Скосьерева знакомит советского читателя с одним из благороднейших образов мировой литературы.

Досадно только, что ни автор, ни редактор не снабдили книгу предисловием, не сказали ничего ни о Навои, ни о его поэме, еще не достаточно известной русскому читателю.

* * *

Дважды Герой Советского Союза генерал-майор КОВПАК С. А. Поход в Карпаты. М. Воениздат. 1944. 36 стр.

На VI сессии Верховного Совета УССР глава правительства Советской Украины Н. С. Хрущев, говоря о героической борьбе украинского народа с немецко-фашистскими захватчиками, особенно отметил походы и рейды партизанского соединения под командованием дважды Героя Советского Союза товарища Ковпака.

«Партизаны этого соединения,— сказал товарищ Хрущев,— прошли свыше десяти тысяч километров и разгромили гарнизоны противника в тридцати девяти районных центрах... Одно имя «Ковпак» наводило страх и трепет на немецких захватчиков. Они делали все для того, чтобы захватить и уничтожить этого выдающегося командира-партизана. Они даже объявили большую награду за его голову. Но Сидор Артемович Ковпак живет и здравствует и продолжает замечательное дело, дело украинского народа, дело борьбы с немецкими оккупантами».

В своей брошюре дважды Герой Советского Союза генерал-майор Ковпак рассказывает об одной из самых замечательных операций своего партизанского соединения: о проведенном под его командованием летом 1943 года рейде на Карпаты.

В рейд двинулось мощное партизанское соединение с артиллерийскими батареями, минометами, радиостанциями. Предстояло пройти незамеченными в глубокий тыл врага и нанести ему удар в самое болючее место,— взорвать и разрушить нефтяные промыслы и важные коммуникации. Эта исключительная по трудности задача была выполнена с блестящим мастерством и отвагой.

Сделав свое дело, партизаны разбллись на отдельные отряды и группы. Не имея между собой никакой связи, они прошли с боями по гемьсот — восемьсот километров и вновь соединились.

Обо всем этом тов. Ковпак и рассказывает в своем коротком, но очень содержательном, интересном очерке.

2. ПОЭМЫ, СТИХИ, ПЕСНИ.

РЫЛЬСКИЙ МАКСИМ. Лирика. М. «Советский писатель». 1944. 193 стр. Цена 7 р. 90 к.

Русскому читателю хорошо знакомо имя Максима Рыльского. Его стихи в русских переводах печатались и в периодических изданиях и отдельных сборниках. Особенно глубокая связь с поэтом установилась у широкого читателя в годы войны, когда страстный голос поэта, патриота и гуманиста, зазвучал с особенной силой.

Максим Рыльский выступает как поэт, для которого всеопределяющей идеей, всеобъемлющим чувством является любовь к своей

родине — Украине. И в то же время Рыльский воспекает нерушимую дружбу и единство народов Советского Союза.

Стихи «Лирики» подобраны по книгам Рыльского, выходявшим на его родном языке. Здесь стихи из книг: «Под осенними звездами», «Синяя даль», «Сквозь бурю и снега», «Украина», «Великий час» и другие.

Переводы стихов на русский язык выполнены поэтами Б. Тургановым, Н. Ушаковым, М. Зенкевичем, Н. Брауном, Л. Длингачем, Е. Благининой, А. Глобой и другими.

* * *

ДЖАМБУЛ. Песни войны. Перевод с казахского. М. Гослитиздат. 1944. 84 стр. Цена 3 р.

Каждая страница этой книги имеет свою историю.

Первая военная песня («В час, когда зовут Сталин») была сложена Джамбулом в день исторического обращения товарища Сталина по радио ко всем народам Советского Союза 3 июля 1941 года.

Когда враг рвался к столице Советского Союза, Джамбул написал песню «Москва». Песня «Ленинградцы, дети мои» сложена в первые дни героической защиты Ленинграда.

Джамбул откликнулся своим полновесным словом на все великие события наших дней. Он призывал сограждан к мужеству и подвигам, вселял в них бодрость и веру в победу и взывал к месту за погибших и замученных. И потому так сильна связь Джамбула с его читателями и слушателями. Не случайно многие его песни являются ответом на получаемые им бесчисленные письма читателей.

Собранные в книгу, песни эти дают замечательный образ великого акына-патриота.

Большая часть вошедших в сборник песен переведена М. Тарловским. Отдельные песни даны в переводах П. Кузнецова, А. Адалис, Л. Руст.

Сборнику предпослано предисловие казахского писателя Сабита Муканова.

* * *

ДОРОГА В ЛИТВУ. Сборник стихов. Составитель С. Мар. М. «Молодая гвардия», 1944. 128 стр. Цена 5 р.

В сборник включены стихи литовских поэтов: Антанаса Венцлова, Людаса Гира, Костаса Корсакаса, Эдуардаса Межелайтиса, Владаса Мазуриюнаса, Саломеи Нерис и Вациса Реймерса.

Наряду с лучшими из печатавшихся ранее стихов Антанаса Венцлова («Родина», «Неман и ты», «Родине и любимой») здесь помещены и его новые произведения: «Ничего не желал бы другого», «Голос родины», «От Смоленска путь на запад» и другие.

Стихи эти проникнуты глубокой уверенностью в победе. В стихотворении «Литовец» образ векового дуба дан как символ непокоренной, несломленной Литвы, сыны которой борются за ее освобождение. В стихотворении «От Смоленска путь на запад» Венцлов пишет о скорой встрече красных долгов с партизанами в столице Литвы — Каунасе.

Свое дальнейшее развитие получила песенная фольклорная традиция в поэме Людаса Гиры «Верхне». Близость к народной поэзии — сильная сторона творчества Гиры — благотворно сказалась и на его стихах. «Дуют ветры от Урала» — одна из любимых песен бойцов литовских частей Красной Армии.

В сборнике помещена поэма Саломеи Нерис, посвященная Марии Мельникате, отважной партизанке — Герою Советского Союза, и ряд других стихов, которые знакомят читателя с самобытным талантом литовской поэтессы.

В ряде новых стихов Саломеи Нерис снова и снова раскрывается своеобразие ее лирического дарования. В стихотворении «Пой сердце» она обращается к своей песне-птице:

О яростной грозе войны
Пропой, непойманная птица,
О боли и беде страны,
Где головнею жизнь дымится.

Припомни все свои мечты,
Пой в несмолкаемой тревоге,
А смолкнешь — станешь камнем ты,
Тебя затопчут при дороге.

(Пер. В. Звягинцевой.)

Основной мотив стихов Корсакаса родина и литовский народ на войне.

* * *

ВЕНЦЛОВА АНТАНАС. Родное небо. Стихи. Перевод с литовского. М. Гослитиздат. 1944. 48 стр. Цена 1 р.

Автор сборника — известный литовский поэт и прозаик, сыгравший большую роль в формировании литовской левой литературы. Он неоднократно подвергался репрессиям фашистского правительства в годы, предшествовавшие установлению в Литве советской власти.

В книгу вошли стихи о родине, о ненависти к извечным врагам Литвы — немецким захватчикам, о героической борьбе с ними.

Большинство стихов были написаны в годы отечественной войны и включены автором в выпущенную на литовском языке книгу «Призыв родины».

Предпосланное сборнику предисловие написано в очень общей форме и не дает читателю сколько-нибудь отчетливого представления ни о творческом пути поэта, ни об особенностях его поэтического дарования, ни о месте, занимаемом им в современной литовской литературе.

Переводы стихов Антанаса Венцлова выполнены В. Казиным, С. Мар, В. Звягинцевой, Д. Кедриним, М. Замаховской, К. Арсеновой, О. Румером.

II. КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

КОНОПНИЦКАЯ МАРИЯ. Избранное. М. Гослитиздат. 1944. 116 стр. Цена 4 р.

Мария Конопницкая — выдающаяся польская поэтесса конца XIX и начала XX вв. Гослитиздат весьма своевременно знакомит современного русского читателя с ее избранными произведениями в переводе А. Коваленского.

Книжка дает представление и о лирических стихах Конопницкой и о ее большой поэме «Пав Банкуэр в Бразилии». Четыре прекрасных отрывка из последней завершают сборник.

М. Конопницкая очень близка по всему содержанию своей поэзии к русской литературе, в особенности нашей революционно-демократической лирике. Многие из ее стихов напоминают Некрасова. Та же глубокая народность, острое ощущение горя народного, активная скорбь о страданиях крестьянских масс, непримиримое отношение к их врагам. Ее песни пошли в народ, и недаром стихотворение Конопницкой «Присяга» стало уже в наши дни боевым гимном польских воинов, освобождающих свою родину от немецко-фашистских поработителей.

Такие стихи Конопницкой, как «Битва при Грюнвальде», «Непродажное» с их сильно выраженной антигитлеровской темой чрезвычайно созвучны нашей современности.

Произведения польской поэтессы привлекают

сочетанием напряженной эмоциональности и мужественной зрелой мысли. Если, говоря словами Тетмайера, ее рука «опирается на плуг, которым польские мужики пахут землю», то интеллект поэтессы настолько широк, что крестьянская тема не является у нее изолированной от общенациональных и общечеловеческих проблем. Это делает поэзию Конопницкой особенно значительной.

И вместе с тем Конопницкая не впадает в абстрактность, не отрывается, куда бы ни занесла ее мысль, от родной народной почвы. При всей широте кругозора, при разносторонности своих духовных интересов, она пишет красками родного сельского пейзажа, говорит словами крестьянской речи.

Если Конопницкая рассказывает о плавании корабля, увозящего польских переселенцев, гонимых нуждой в далекую Бразилию, в лапы эксплуататоров-немцев, — то тут же отмечает, что за пароходом «Как будто по вспаханной плугом родимой пашне, Борозда гянулась», а о гибели их детей скажет также по-крестьянски: «Склонив смиренные голозки под косы, гибли, как цветики, во время покоса».

В сборнике читатель найдет такие шедевры, как «Юнгфрау» «Сватовство», «А волны плачут», «Конец века» и многие другие.

Надо пожелать, чтобы Гослитиздат ознакомил читателя и с прозой высокогалантливой польской писательницы.

III. ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДРАЙЗЕР Т. Финансист. Перевод с английского Марка Волосова. М. Гослитиздат. 1944. 472 стр. Цена 16 р.

«Финансист» (1912) — первый роман из «Трилогии желаний», крупнейшего произведения Т. Драйзера. В основу романа положена подлинная история обогащения и разорения одного американского миллионера. Время действия — конец 60-х и начало 70-х годов прошлого столетия.

Судьба героя романа, талантливого финансового дельца Френка Каупервуда изображена не как случайная, но как типическая для его среды.

В романе дана яркая картина быта и нравов финансовой плутократии, у которой страсть к обогащению поглощает все иные человеческие проявления.

* * *

БЛОК ЖАН-РИШАР. Тулон. М.—Л. «Искусство». 1944. 192 стр. Цена 5 р.

Драма «Тулон» была написана в начале 1943 года под непосредственным впечатлением великого события 27 ноября 1942 года.

Для Жан-Ришар Блока, страстного патриота своей родины, тулонская трагедия была прежде всего свидетельством живых сил его страны и народа.

В центре драмы — командующий французской эскадрой, вице-адмирал Фромануар. Этот храбрый моряк до последнего момента верит легенде о Петэне и не видит, что Петэн — прожженный капитулянт, один из подлейших организаторов международной пятой колонны, огьвяленный враг демократической Франции и сознательный предатель.

Фромануар, как и многие другие, начинает понимать настоящий смысл событий и людей лишь тогда, когда убеждается, что Петэн и Лаваль решили отдать врагу последнюю надежду Франции — ее флот. В этот решающий момент Фромануар обнаруживает не только большое личное мужество, но и находчивость: в несколько минут он расстраивает весь тщательно подготовленный Лавалем план предательства.

Главные герои драмы — будущие герои Тулона — рядовые французские матросы и рабочие-арсенальцы.

Жан-Ришар Блок дает яркие зарисовки персонажей вражеского лагеря: здесь те, кто находился на сотрудничестве с немцами и поддерживал Петэна — Лавала по «коммерческим и национальным» соображениям, поскольку «французская коммерция, это и есть Франция» (Мадам Тулемонз и ее супруг); здесь ренегаты

всякого рода, из которых иные — ренегаты «принципиальные», и, наконец, здесь образы немецких захватчиков.

В последних сценах мы видим героев драмы партизанами, первыми борцами той французской освободительной армии, которая сегодня уже ведет открытую и решительную борьбу с оккупантами.

* * *

АЛЕГРИЯ СИРО. В большом чуждом мире. Перевод с английского М. Богословской и Т. Озерской. М. Гослитиздат. 1944. 452 стр. Цена 12 р.

Герои романа — перуанские индейцы, потомки старинного туземного населения, сохранившегося ныне в виде крестьянских общин, занимающих наиболее плохие земли, куда их отгеснили владельцы латифундий.

В романе рассказывается о жизни и гибели одной из таких общин. Он начинается идиллическими картинками быта индейской общины, где нет праздных людей, где все дружно работают и где урожай делится между всеми по потребностям каждого.

Неторопливый ритм начальных глав сменяется более динамичным повествованием. Автор рисует драматические картины социальной борьбы. Крупный помещик дон Альваро жезает захватить землю общины. Мошенничество, подлоги, подкупы — все пущено им в ход. Тщетно сопротивляется община, тщетно верует она в правду, напрасны усилия романтического разбойника Фьеро, врага богачей, пытающегося защитить общину. Мыслимо ли противиться богачу? Суд решает в его пользу, и община покорно бросает свои земли и переселяется дальше в горы.

Для общины наступают тревожные дни. Одни из ее членов уходят на заработки в джунгли, другие умирают от болезней, третьи бегут к Фьеро. Наконец, по прощам дона Альваро арестован старый уважаемый старшина общины. Роман завершается описанием восстания общины, доведенной до отчаяния бесконечными посяательствами на ее жизнь и благосостояние.

В романе множество характерных, запоминающихся персонажей. Особенно удачен образ старшины общины, Россевдо, — патриархального мудреца, человека высокой морали и духовной красоты. Но фаталистическому непротивленству Росендо противопоставлен образ его сына, Бенито, человека, убежденного в необходимости активно бороться против насилия и гнета.

Содержание

	Стр.
Максим Рыльский — Ирландия, стихи	1
Иван Попов. — Жар-птица, повесть	4
Эдуардас Межелайтис — Дремлет лес литовский... стихи	38
Ю. Слезкин — Брусилло, роман (продолжение)	39
Августий Софронов — Три стихотворения	45

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

В. Кружков — Основные черты классической русской философии	105
А. Логинов — Молодое поколение рабочего класса	111
Г. Мотылева — Джон Б. Пресли и война	128
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	153

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ШАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский пер., 2, 10, телефон К 3-14-22

19-й год издания Тираж 25 000 экз. Подписано к печати 26.XII—1944 г.
A13022 Неч. листов 8,5. Уч.-авт. л. 17,1. В печ. л. 80540 экз. Цена 5 руб. Зак. 1204

18 типография треста «Полиграфкинига» ОГИЗа при СНК РСФСР, Москва,
Шубинский пер., 10.

